

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ
ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

МИФОГЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАСТ



18+

Альпина. Проза

Павел Пепперштейн

Мифогенная любовь каст

«Альпина Диджитал»

2002

Пепперштейн П. В.

Мифогенная любовь каст / П. В. Пепперштейн — «Альпина Диджитал», 2002 — (Альпина. Проза)

ISBN 978-5-00-139683-3

Можно без всякого преувеличения утверждать, что роман «Мифогенная любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна, вышедший в свет на границе девяностых и нулевых годов, произвел революцию в русскоязычной прозе и сделался культовым (если не сказать «культовейшим») текстом нескольких поколений. Роман вызвал буквально шквал различных рецензий и печатных отзывов, от максимально восторженных и вплоть до крайне гневных и пренебрежительных. Авторы называли и «русскими Толкиенами», и «русскими Берроузами». Одни критики утверждали, что этот роман – массив неконтролируемого бреда, другие – что это величайшее произведение, являющее собой новую «Войну и мир» на границе двух тысячелетий. Роману действительно удалось стать образцом «мифогенности» – не счесть тех слухов и легенд, которые бродят вокруг этого эпоса. О романе написаны сотни текстов от комических скетчей до глубоких философских трактатов. Сейчас, по прошествии более двадцати лет с момента его появления на свет, роман, с одной стороны, давно является классикой, с другой – продолжает провоцировать ожесточенные споры и дискуссии. Но большинство сходится во мнении: если в России когда-нибудь появится свой Голливуд, «Мифогенная любовь каст» сделается аналогом таких вселенных, как вселенная «DC», «Marvel» и «Game of Thrones».

ISBN 978-5-00-139683-3

© Пепперштейн П. В., 2002

© Альпина Диджитал, 2002

Содержание

Том первый	8
Часть первая. Востряков и Тарковский	9
Часть вторая. Ортодоксальная избушка	27
Глава 1	29
Глава 2	32
Глава 3	33
Глава 4	35
Глава 5	36
Глава 6	38
Глава 7	42
Глава 8	45
Глава 9	46
Глава 10	48
Глава 11	52
Глава 12	56
Глава 13	63
Глава 14	66
Глава 15	69
Глава 16	71
Глава 17	76
Глава 18	81
Глава 19	85
Глава 20	91
Глава 21	100
Глава 22	109
Глава 23	126
Глава 24	134
Глава 25	139
Глава 26	146
Глава 27	152
Конец ознакомительного фрагмента.	160

Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн

Мифогенная любовь каст

Дизайн обложки группа ППСС

В оформлении обложки и форзацев использованы работы *Рината Волигамси*

Издатель *П. Подкосов*

Продюсер *Т. Соловьёва*

Руководитель проекта *М. Ведюшкина*

Арт-директор *Ю. Буга*

Корректор *Е. Воеводина*

Компьютерная верстка *А. Ларионов*

© П. Пепперштейн, 1999

© С. Ануфриев, 1999

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2022

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

МИФОГЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАСТ

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2022

альпина
ПРОЗА

Том первый

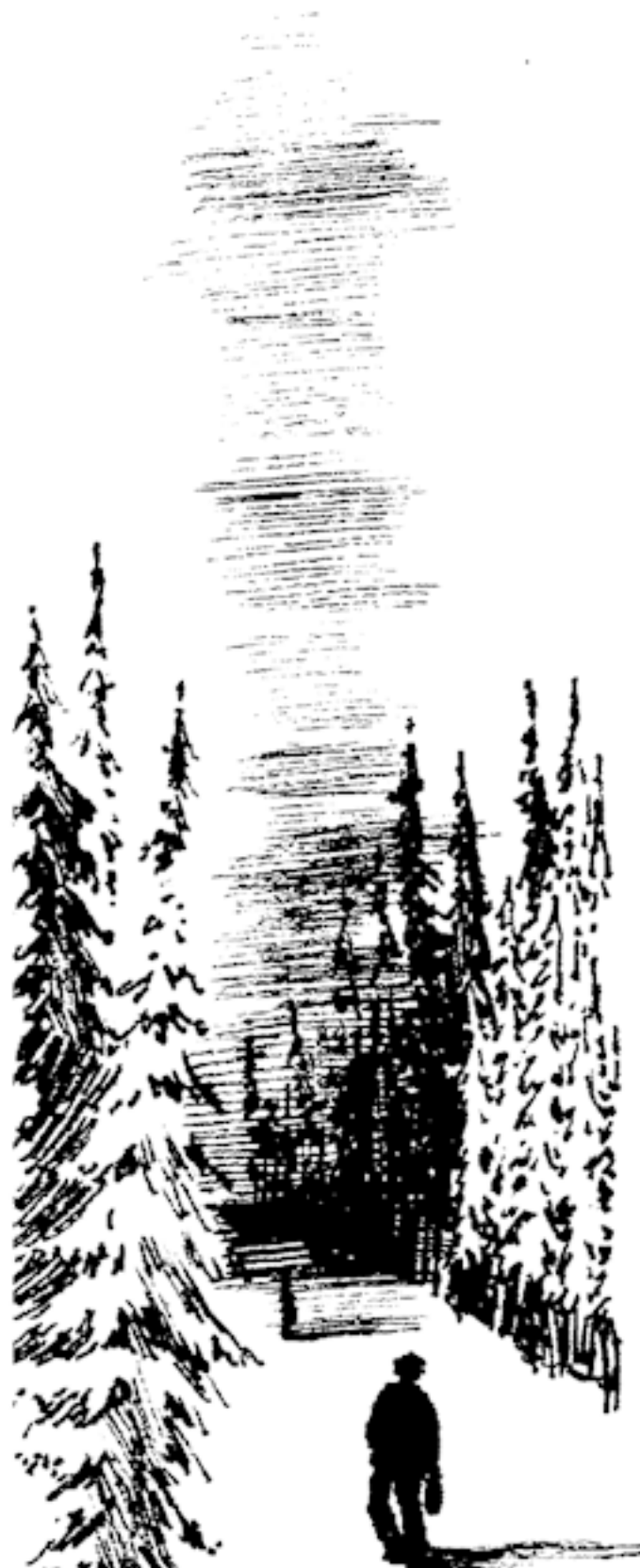
*Непобедимой силой
Привязан я к милой,
господи, помилуй
Ее и меня,
Ее и меня,
Ее и меня.*

Достоевский. «Братья Карамазовы»

*Если бы я была бессмертная, то что бы я делала?
Я издевалась бы над кукушками. Прихожу в лес и спрашиваю:
«Кукушка, кукушка, сколько мне годков жить-то осталось?»
Из словоблудия одной девочки*

Часть первая. Востряков и Тарковский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





Конечно, встречаясь на лесных дорогах, они не могли отводить глаза, делать вид, что не замечают друг друга. Им приходилось награждать друг друга неуловимыми, как бы скользящими взглядами, иногда они кивали друг другу или даже обменивались краткими, ничего не значащими словами, которые, впрочем, мало походили на приветствия. Что крылось за этими фразами, произносимыми обычно, как и принято в здешних краях, громким, но лишенным всякого выражения голосом? Скорее всего, нежелание вступать в более продолжительную беседу. Слова, которыми они обменивались, их длина, содержание, сам способ их произношения – все было рассчитано на то, чтобы можно было пройти мимо, не замедляя шага, сохраняя на лице ясное и приветливое выражение, а губы сложив таким образом, чтобы они выражали сдержанную симпатию и как бы обещали вот-вот улыбнуться, но так и не исполняли этого обещания, оставались все так же плотно сомкнутыми. Как только встречный пешеход удалялся на несколько шагов, точнее два пешехода начинали с равной скоростью удаляться друг от друга, это выражение исчезало с их лиц. Не сразу, но постепенно, как медленно гаснет тлеющий окурок, их лица принимали обычное для них, суровое и замкнутое выражение. У одного из них эта замкнутость немного смягчалась молодостью и рассеянностью. У другого, напротив, усугублялась старостью, которая хотя и не воцарилась еще на этом лице, но уже наложила на него печать своего неумолимого приближения.

И в деревне, и в лаборатории все знали, что Тарковский и Востряков не любят друг друга. Непонятно, откуда могло просочиться это знание. Непонятно, на чем основывались эти предположения, переросшие затем в полную уверенность. Тарковский и Востряков никогда не отзывались друг о друге плохо, никогда не ссорились и вообще никогда не разговаривали друг с другом. В лаборатории они никогда не встречались, так как Востряков работал в отдельном сарайчике, который он сам целиком оборудовал и приспособил к своим нуждам. В центральном корпусе шутили, что Востряков создал себе «избушку на курьих ножках», настолько его уютный с виду сарайчик был набит самой что ни на есть современной аппаратурой. Что же касается Тарковского, то он, приходя в лабораторию, поворачивал направо, к главному подъезду, поднимался по скрипучей деревянной лестнице центрального корпуса на второй этаж, проходил несколько шагов по застекленной галерее, затем толкал плечом старую, грубую дверь седьмой комнаты, где размещался его рабочий стол, заваленный незаполненными бланками, папками, помеченными крупным, отчетливым почерком: «Ежедневные измерения», «Данные по наблюдениям за неделю» и так далее.

Так что встречаться они могли только изредка, да и то рано утром, на просеке, когда Тарковский после ночного дежурства возвращался домой, в деревню, а педантичный Востряков – как всегда, точно вовремя – шел ему навстречу, направляясь в свой рабочий сарайчик, чтобы уединиться там на целый день.

И тем не менее возникшая между ними и тщательно скрываемая антипатия была замечена окружающими. Они не знали, чему приписать ее, поэтому предпочитали думать, что это не что иное, как органическая неприязнь, которая охватывает представителей каких-то определенных, несовместимых друг с другом типов людей при первом же, пусть даже самом поверхностном, знакомстве, точно так же как случается, что мгновенно возникает между людьми дружба или даже любовь.

Действительно, они в чем-то составляли полную противоположность друг другу, что выражалось и во внешности их, и в манере одеваться, двигаться, разговаривать. Тарковскому шел двадцать седьмой год. Это был довольно высокий, полный молодой человек, с белокурыми, коротко подстриженными волосами. Когда-то в юности он много занимался спортом, греблей, теннисом, спортивной ходьбой и поэтому с первого взгляда производил впечатление сильного, атлетически сложенного и физически развитого человека. На самом деле это впечатление было обманчивым – с тех пор Тарковский много болел, у него открылся запущенный туберкулез, который с трудом удалось ликвидировать. Он не тренировался много лет, растолстел, стал рыхлым и привык к малоподвижному образу жизни. У него было большое белое лицо с бледными коричневатыми пятнышками, проступающими под тонкой кожей. Глаза у него были светло-серые, спокойные и довольно холодные; редко улыбающийся рот был тонкий и небольшой. Чересчур высокий лоб с родинкой на виске выдавал склонность к раннему облысению – действительно, волосы на макушке уже начали редеть. Тарковский не боялся этого – у него был большой, хорошо сформированный череп. «Его не грех показывать без покрова», – иногда спокойно говорил он своей жене, причесываясь перед зеркалом. Дворянское происхождение Тарковского давало о себе знать в его изящных, плотно прижатых к голове ушах, в его длинных пальцах, многочисленных родинках, покрывавших его лицо и тело. Мать Тарковского в девичестве носила громкую фамилию – она принадлежала к известному и старинному княжескому роду. К чести Тарковского надо сказать, что он никогда не кичился своим знатным происхождением, он даже не думал о нем. Его интересовало другое. С тех пор как он в возрасте девятнадцати лет заболел туберкулезом, главной его страстью стали женщины. До этого он мало интересовался ими; сначала был тихим и сосредоточенным ребенком, увлекавшимся собиранием почтовых марок и монтажом различных сооружений из продаваемых конструкторов (родители думали, что он станет инженером), потом стал угрюмым и молчаливым спортивным подростком и – наконец – старательным юношей, отдававшим все свои силы учению. Долгое пребывание в больнице, а затем в туберкулезном санатории очень изменило его. Он совершенно охладел к занятиям, кое-как закончил университет и работал младшим научным сотрудником в различных лабораториях. Собственно говоря, может быть, он был просто лаборантом, а ведь когда-то на его способности обращали внимание школьные учителя и университетские преподаватели; теперь же все изменилось. Он никогда не знакомился с женщинами в компании или в гостях; с мужчинами он был чрезвычайно замкнут, и у него почти не было друзей. Обычно он или подходил к понравившейся ему женщине на улице, или заговаривал в очереди, или подсаживался на лавочке в сквере. Он легко начинал разговор, произнося простые, отчетливые и совершенно ясные фразы, в которых не было ничего игривого, ничего остроумного, в которых не было никаких намеков, ничего дерзкого или грубого, но также ничего поэтического или интересного. Ничего, кроме благожелательных, прозрачных, поверхностных словосочетаний. В холодную, ветреную погоду Тарковский, увидев молодую женщину без перчаток, часто подходил и предлагал, спокойно и вежливо, согреть ее руки в своих руках. У него действительно были большие, очень горячие руки с длинными аристократическими пальцами, ногти на которых были всегда тщательно подстрижены. Чаще всего женщины отворачивались или прогоняли Тарковского, но иногда соглашались на это предложение. У Тарковского был вид тихого, интеллигентного человека, внушающего доверие, – собственно, таким он и был на самом деле. Движения его отличались мягкостью и были не то чтобы неловкими, но как

бы не совсем точными, они впечатляли своей непреднамеренностью и при этом производили обволакивающее впечатление. Тарковский редко улыбался и почти никогда не смеялся, шутки его были несколько блеклыми и не смешили даже его самого; тем не менее нельзя сказать, что он совершенно не обладал чувством юмора, просто многое из того, что вызывало смех у других людей, многое из того, что вызывало смех, основанный на глубоко гнездящемся ужасе или на характере существенных двойников, многое, наконец, из той части юмористического, которая основывается на измученном сострадании, многое из этого казалось ему никаким, ни смешным, ни печальным, ни даже скучным, – он свободно и равнодушно скользил сквозь эти области юмора, сквозь шутки и остроумные замечания, если они произносились при нем. Из вежливости он слегка улыбался, а иногда делал вид, что смеется, а иногда и действительно смеялся – в таких случаях он поднимал свое большое белое лицо вверх, внимательно прищуривался и слегка закрывал смеющийся рот ладонью, так как немного стеснялся своих неровных мелких зубов. Он был всегда элегантно одет, каждый день менял рубашки светлых оттенков, предпочитал тяжелые вельветовые пиджаки с набивными плечами, которые увеличивали его и без того массивную фигуру. Он носил мягкие свитера из натуральной шерсти с какими-то серыми или коричневыми разводами или перемежающимися черными, белыми и серыми ромбами, носил темно-синие вельветовые джинсы и красивые карманные часы на цепочке – на крышке этих часов был выгравирован еловый лес и два волка, сидящих на поляне, заросшей низкой травой. Женщины любили его; его присутствие производило на них впечатление спокойствия и надежности, однако последнее было скорее всего иллюзией. Тарковский в своих отношениях с женщинами был ровен, мягок, терпелив и ласков. У него были любовницы во всех классах общества, их возраст колебался от семнадцати до тридцати пяти лет. Он никогда не обижался на них, никогда не раздражался, не предъявлял к ним никаких претензий, позволял, сохраняя обычное благожелательное спокойствие, унижать себя или даже издеваться над собой. Он позволял женщинам многое, часто исполнял их самые абсурдные и сумасбродные пожелания. Однажды он по просьбе одной барышни перелез в ночное время стену зоопарка и забрался в загон с какими-то крупными животными, кажется зубрами. Он старался не принимать от женщин дорогих подарков (это казалось ему непорядочным), но и сам почти ничего не дарил им, а если дарил, то какие-то пустые раковины, тяжелые стеклянные расчески 50-х годов, цветные фотографии экзотических пейзажей или сиамских близнецов, авторучки, имеющие вид игрушечных зонтиков или сигарет, и тому подобные мелочи. Если не считать предметов одежды, которым он уделял некоторое внимание, он проявлял полное равнодушие к вещам, и если они пропадали куда-то или терялись, то он редко замечал их исчезновение. Вообще он был несколько рассеян. Его вторая по счету жена, которую звали Лиза, будучи на четыре года моложе его, сначала очень переживала постоянные измены мужа, но потом привыкла и несколько успокоилась, тем более что Тарковский был к ней неизменно внимателен. Если она плакала и упрекала его в том, что он опять провел ночь у другой женщины, он обычно готовил ей ее любимую еду – салат из мелко накрошенной капусты и моркови с лимоном и ванилью. Свою бывшую жену Катю, бросившую его три года назад и вышедшую замуж за другого человека, Тарковский тоже не забывал, он часто заходил к ним в их небольшую, уютную квартиру в Плетешковском переулке; они сидели втроем, курили сигареты, стряхивая пепел в массивную граненую пепельницу из зеленого стекла.

Новый муж Кати, ровесник Тарковского, был внешне очень похож на него – это отмечали все, кто знал их обоих. Тарковскому иногда казалось, что он сидит рядом со своим родным братом, которого у него на самом деле никогда не было. Правда, муж Кати был несколько ниже ростом и уже в плечах.

Примерно год назад Тарковскому предложили место в лесной лаборатории. И он сам, и его жена Лиза охотно согласились на это предложение, так как им обоим давно хотелось пожить на природе. Им предоставили небольшой отдельный коттедж со всеми удобствами, располо-

женный среди других подобных коттеджей в деревне, где жили многочисленные сотрудники лаборатории. Лиза устроилась работать в детский сад, размещенный в той же деревне и предназначенный для детей ученых.

Тарковский дежурил в лаборатории целые сутки, оставаясь там на ночь, и возвращался только к середине следующего дня. Зато потом он три дня бывал свободен: спал, гулял по лесу и много читал. Он любил старокитайскую литературу; толстые книги лежали на его небольшом письменном столе, покрытом гладкой белой бумагой и придвинутом к окну, за которым расстилались заросшие густым кустарником лужайки; сразу за ними начинался густой сосновый лес, где летом было приятно гулять, рассеянно рассматривая осыпанный ягодами кустик брусники, или, точнее, ежевики, или нагретый солнцем малинник; осенью можно было часами бродить в поисках грибов, поскрипывая постепенно наполняющейся корзинкой, а зимой скользить на быстрых лыжах по накатанной, словно бы отполированной лыжне.

Тарковскому нравилось работать в лаборатории, где от него не требовалось почти ничего, кроме аккуратного отбывания положенных ему часов. К тому же там работало много молодых, приятных женщин; Тарковский ухаживал за ними, и нередко в часы ночных дежурств молоденькие лаборантки, дежурившие в соседних корпусах, навещали его, скрашивая ему часы долгого ночного одиночества. Если же никто не приходил, он проводил ночные часы за чтением: Пу Сунлин, «Троецарствие», «Речные заводи», «Песни воина, заблудившегося среди лотосов», «Записки из хижины Великое в Малом», «Развратный монах наслаждается в обители Плывающей Бирюзы», «Чайная, где не видывали золотого» и другие произведения старокитайской классики доставляли ему подлинное наслаждение. Утром он передавал дежурство другому сотруднику, неторопливо собирал свои вещи, укладывал книги в небольшой потертый портфель и пешком, по освещенной утренним солнцем дороге, пускался в обратный путь.

Слова «мир», «свобода», «совокупность», «совокупление» и другие начинали с особой силой жить в его душе, наполняться особым смыслом; они представлялись ему незакрепленно парящими, предельно открытыми для понимания точками. Именно в этот момент, когда Тарковский после бессонной ночи был, как ему казалось, невероятно мягок и слаб, когда в тишине и шорохе леса, в утренних бликах солнца, пробивающихся сквозь свежую листву и устилающих слегка влажную дорогу ковром теплых, косых, чуть дрожащих светящихся пятен, когда в запахе травы и хвои, в пререканиях птиц, в просветах синего неба он начинал находить источники приятного, ясного забвения, именно тогда впереди, размытый и неясный, распадающийся на кусочки тени и света, появлялся силуэт приближающегося Вострякова.

Вострякову было шестьдесят четыре года. Судьба у него была сложная, он много пережил на своем веку. Родился в рабочей семье, много и упорно учился, стал комсомольцем. Работал на заводе, а потом был переведен на другой завод, работавший на оборону, – это было крупное, засекреченное предприятие. Там Востряков стал комсомольским руководителем и председателем заводского Дома культуры. Он очень много сил отдавал этому Дому культуры, проводил там все свободное время, которое оставалось у него от работы на заводе, где он был учеником и помощником одного известного специалиста по вулканической резине. В Доме культуры он дни и ночи красил декорации для самодеятельных спектаклей, сочинял тексты для раёшников (проявляя в этом определенные литературные способности), сам же читал их со сцены, вызывая аплодисменты в зале. Он даже раздобыл отличный белый рояль, когда-то реквизированный в соседней барской усадьбе. В те времена это был худой, невысокий юноша, которому еще не стукнуло и двадцати лет, – подвижный, серьезный и деятельный. На заводе его все любили, он был на отличном счету у начальства. Вскоре он подал заявление в партию и был принят. Однако грянула война. Руководство завода получило приказ «ввиду резкого продвижения неприятеля» срочно ликвидировать завод, оборудование и спецперсонал эвакуировать на Урал. Вострякову, как и другим, было больно и тяжело участвовать в ликвидации

завода, который создавался почти у него на глазах и в который все они вкладывали столько надежд. Однако особенно мучительной была для него мысль о гибели Дома культуры, который был любимым детищем его самого и его товарищей. В последние часы существования завода он вошел в здание Дома культуры и остановился посреди разоренного зала. Тщательно развешенные плакаты и стенды были сорваны со стен и небрежно брошены на пол; кумачовый плакат, ранее висевший над сценой, на котором собственной рукой Вострякова был старательно выведен лозунг «Искусство – пролетариату, искусство – строителям коммунизма», валялся в углу, смятый и посыпанный кусками отбитой штукатурки; декорации, оставшиеся от недавно прошедшей премьеры спектакля «Аленький цветочек», были разорваны и опрокинуты: на изображении волшебного зачарованного сада, над которым они немало потрудились несколько дней назад, отчетливо виднелись белые известковые следы чьих-то сапог. Все стулья были разбиты и свалены в углу огромной, бесформенной кучей, оцетинившейся торчащими в разные стороны ножками. Какие-то люди, быстро передвигаясь на корточках, протягивали вдоль стен проволоку.

– Отойдите, товарищ, идет минирование, – строго сказал Вострякову незнакомый человек в униформе. Востряков последний раз окинул взглядом зал и заметил, что из знакомых предметов отсутствуют два – белый рояль и гипсовый бюст Сталина. Он вышел из этого помещения, прошел по опустевшим цехам. Всюду работали минеры. Во дворе почти никого не было, все работники завода уже находились в вагонах специального состава, который стоял у платформы особой железнодорожной ветки. Состав должен был отойти через двадцать минут. Востряков ускорил шаги, направился в сторону железной дороги, но, не доходя платформы, увидел свой белый рояль и стоящий на нем бюст Сталина. Среди потемневшего, как бы насупившегося в предсмертном оцепенении завода, среди гор черной, непонятно откуда взявшейся земли оба этих предмета выделялись светлым пятном, сливаясь в один странный белоснежный силуэт, издали напомилавший всадника или, скорее, кентавра. Но тут один из рабочих, которые спешно грузили кое-как упакованные остатки оборудования в последний вагон, подбежал, схватил бюст и унес его в сторону поезда.

– А рояль?! – крикнул ему вслед Востряков. – Возьмите рояль!

– Рояль взять никак не сможем, – отозвался за его спиной знакомый голос. – У нас вон станки еле-еле поместились.

Востряков обернулся и увидел председателя партийной организации завода Дунаева. Несмотря на то что Дунаев был лет на двадцать с лишним старше Вострякова и занимал видный общественный пост, они дружили.

С первых своих шагов на заводе Востряков ощущал на себе пристальный и доброжелательный взгляд прищуренных глаз парторга. На первый взгляд парторг выглядел угрюмым, малообщительным человеком – небольшого роста, широкоплечий, с темным задубевшим лицом и густыми клочковатыми бровями, всегда резко сдвинутыми к переносице, он говорил громко и грубо, двигался рывками и, казалось, не обращал ни на кого внимания. Однако за напускной суровостью скрывалась его отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь; из-под густых бровей поблескивали внимательные глаза, он вникал во все и, если это было необходимо, мог часами говорить с тем или иным рабочим, помогая ему решить его наиболее важные вопросы, начиная с жилищных или семейных проблем и кончая проблемами самыми общими, касающимися всечеловеческой истории или устройства мироздания. Рабочие чувствовали, что парторг для них – свой человек, что сам он из их братии, и так это и было на самом деле. Его отрывистая речь, пересыпанная сочным рабочим матерком, была ясна и понятна каждому, и в то же время он был способен немногими простыми словами, непосредственно относящимися к сути дела, объяснить даже достаточно сложные понятия. Востряков пользовался особой симпатией парторга, да и сам он искренне привязался к нему за несколько лет, проведенных на заводе.

И вот теперь Дунаев стоял перед ним, как будто еще более потемневший, с мерцающим огоньком окурка в углу рта, одетый в широкий светлый пыльник: его старая соломенная шляпа была сдвинута набок, в руке он держал портфель.

– Собрался, Сашок? – хмуро спросил он, выпуская дым. – Тебя тут все искали. Небось в Дом культуры ходил, прощался?

Востряков кивнул.

– Ну ладно, пусть поезд отходит, мы их на машине догоним, они еще на Узловой простоят бог знает сколько. – Дунаев взглянул в сторону состава, щелчком пальцев далеко отбросил окурки папиросы. – Немцы, ебать их в четыре жопы, наступают. Много нужного пришлось оставить, ничего не поделаешь...

Востряков подошел к роялю, погладил его по зеркальной, полированной поверхности, потом тихонько приподнял крышку, взял несколько аккордов.

– Владимир Петрович, неужели рояль пропадет? Дорогой ведь инструмент. Неужели нельзя в школу завезти, пусть там пока постоит, а потом, когда мы вернемся... Ведь мы вернемся, Владимир Петрович? А?

– Вернемся, Саша. Обязательно вернемся, – ответил Дунаев. – Мы еще с тобой здесь такой завод построим!

Внезапно он засмеялся, хлопнул Вострякова по плечу:

– А ладно, что уж с тобой делать, давай грузи свой рояль в грузовик и подкинем его в школу. Туда десять минут езды. А потом прямо на грузовике двинем на Узловую, там наш состав нагоним. Заодно посмотрим, как завод взрывать будут.

Востряков внезапно ощутил прилив сил, как будто, спасая рояль, он спасал и свою уверенность в победе, спасал свою надежду на будущее, спасал какую-то ценную основу собственной жизни.

С помощью двоих дюжих рабочих они поставили рояль на дощатую платформу небольшого, тряского грузовичка, забрались в кабину и поехали. Дорогой молчали, так как слов все равно не было бы слышно из-за шума, издаваемого мотором, общей тряски и дребезжания. Востряков непрестанно оглядывался, всматривался в заднее овальное окошко кабины – не попортится ли рояль. Инструмент резко мотало на поворотах, несколько раз с гулом, похожим на стон, он сильно ударялся о борта грузовика, видно было, что покрытая лаком поверхность будет в некоторых местах ободрана и поцарапана. Но радость от того, что рояль вообще не погибнет, заглушала опасения Вострякова.

– Ничего, – шептал он. – Покарябается – покрасим.

Дорога полого поднималась на невысокий голый холм, поросший выгоревшей на солнце травой. Отъехав на порядочное расстояние, Дунаев остановил машину, вылез. За ним последовал и Востряков. Завод отсюда был виден как на ладони – корпуса цехов, изгибающаяся ветка железной дороги, по которой тянулся, уходя за горизонт, специальный состав.

Востряков вынул из кармана пыльника полевой бинокль и карманные часы. Какое-то время они молча и неподвижно стояли рядом, потом парторг вскользь взглянул на часы и сказал:

– Через две минуты все взлетит на воздух.

Он приставил бинокль к глазам. Две минуты тянулись мучительно долго. Вострякову страшно хотелось отвернуться, но он не мог этого сделать. Наконец, не выдержав застывшего, увязшего времени, когда стало казаться, что эти две минуты будут тянуться вечно и завод не взорвется никогда, он все же отвернулся, и в этот момент невероятной силы взрыв уничтожил завод. Востряков еще успел увидеть оседающие стены и трубу, которая словно бы аккуратно складывалась в никуда. Грохот раздался, как это всегда бывает, с некоторым опозданием. Оглушенные, прижимая руки к голове, они побежали к машине.

... Дунаев вскочил на сиденье, завел мотор, рванул машину. Его темное лицо побледнело, брови еще ближе сошлись на переносице.

– Молодцы минеры! – крикнул он, перекрывая шум мотора. – Хорошо поработали!

Востряков ничего не ответил. Он сидел, вцепившись руками в сиденье, болезненно ошущая в своем теле, издали потрясенном взрывной волной, все толчки и удары, которыми в изобилии награждала их, покрытая колдобинами и ухабами, дорога. Парторг искоса взглянул на него.

– Ничего, парень, сейчас на Урале будем устраиваться, на новом месте. Хорошие там края. Ты небось там никогда не бывал, а я вот...

Они выехали на широкое невспаханное поле. Внезапно Востряков заметил впереди, в том месте, где поле переходило в лес, ряд каких-то темных предметов, которые быстро передвигались им навстречу.

– Владимир Петрович, смотрите, что это там?

Дунаев напряженно всмотрелся вперед.

– Тракторы, что ли?

– Откуда бы им здесь взяться...

Вдруг лицо Дунаева преобразилось, оно приняло выражение крайнего изумления.

– Блядь, это же немецкие танки! – крикнул он, глядя прямо перед собой широко раскрытыми, остановившимися глазами.

Он стал бешено крутить руль, заворачивая машину на полной скорости.

– Осторожно! – крикнул Востряков, однако было уже поздно. Дунаев не учел тяжести рояля и того обстоятельства, что он ничем не был закреплен в кузове. На повороте рояль съехал к борту кузова, надавив на него всей своей массой, машина накренилась, покачнулась и опрокинулась на обочину...

Когда Востряков и Дунаев выбрались из кабины, танки были уже гораздо ближе. Они передвигались, как казалось, с фантастической скоростью. Теперь уже можно было разглядеть отчетливые черные кресты с белой, обрамляющей их линией, изображенные на серо-зеленой броне. Мимо них по дороге, дребезжа и вихляясь, промчался запыленный грузовик. Люди, сидящие в грузовике, что-то кричали и размахивали руками. Они показывали им жестами, чтобы они догоняли их. Действительно, грузовик начал сбавлять скорость. Они побежали. Потом Вострякову много раз снилось в страшных сновидениях, как он бежит по неровной дороге к этому грузовику, бежит мучительно, с трудом отрывая ноги от земли, увязая в каждом своем движении. Но на самом деле тогда, в реальности, ему бежалось легко, стремительно, ему даже припомнилось на бегу выражение «окрыленные страхом», услышанное в одном из спектаклей или где-то прочитанное, – это был, и правда, своего рода полет. К тому же тогда он был молод, поджар и довольно мускулист. Он быстро приближался, обогнав бегущего почти вровень с ним Дунаева, к спасительному грузовику, схватился за протянутые ему руки, вскочил в кузов и сразу обернулся, чтобы помочь запыхавшемуся парторгу. Его протянутая рука уже почти коснулась руки Дунаева, но тут удар отбросил его немного назад, слева от грузовика в воздух поднялся столб земли и камней. Тут же затарахтели пулеметы. Грузовик рванул с места.

Востряков, свесившись через борт грузовика, пытался поймать протянутую ладонь Дунаева, однако расстояние между ними стало стремительно увеличиваться.

Люди, сидевшие в машине, что-то кричали, размахивали руками, торопили бегущего парторга, но быстрее бежать он уже не мог. Востряков видел, как на его напряженном лице выражение усилия постепенно сменяется проступающим выражением ужаса и отчаяния. Востряков стал судорожно колотить кулаками по железной крыше кабины. «Останови! Останови!» – кричал он. Парторг тоже заорал, причем орал он только одно слово; это было имя Вострякова:

– Саша! Сашенька!

– Владимир Петрович! Владимир Петрович! Я сейчас... – Тут два мужика схватили Вострякова и повалили на дно кузова, потому что он чуть не спрыгнул с грузовика. Востряков вырывался, орал что-то... Потом он в последний раз услышал далекий, как бы детский голос, зовущий его по имени: «Саша! Саша!» В последний раз увидел уже безнадежно отставшую от них, бегущую фигурку в развевающемся пыльнике, похожую издали на маленькую бумажку, несомую ветром. В следующий момент взметнувшийся на этом месте фонтан земли и пыли заслонил Дунаева навсегда. Востряков ничего уже не мог видеть сквозь слезы, потоком хлынувшие из глаз.

Этот случай очень тяжело повлиял на Вострякова. Потом, когда уже он работал на Урале, его постоянно мучили угрызения совести. Ему казалось, что это он виноват в гибели парт-орга. Он даже пришел в партийную организацию и заявил, что он, Востряков, «убил Дунаева» и поэтому должен быть арестован. Ему не поверили, тем более что нашлись и другие свидетели гибели Дунаева – люди, сидевшие в грузовике, один из которых был рабочим с этого же завода. Потом Востряков много раз просился на фронт, но и это не получилось – ему сказали, что здесь он нужнее, что он ценный специалист и его труд будет полезнее, чем его непосредственное участие в военных действиях с оружием в руках. «Ваш фронт – здесь», – сказали ему. Востряков остался на заводе и много, упорно работал. Жизнь была трудная, еды не хватало, тем более что Востряков все время делился своим пайком с той семьей, в доме которой его поселили. Однако трудности не пугали Вострякова, наоборот, они отвлекали его от тягостных раздумий, от болезненных внутренних ощущений. Характер его очень изменился. Он сделался мрачен, замкнут. Если раньше у него было много друзей, то теперь он ни с кем не общался. Сидя в компании знакомых, отмалчивался, глядел в пол и поскорее уходил к себе. Многие из тех, кто знал его раньше, ожидали, что на новом месте Востряков восстановит Дом культуры, снова будет вести активную общественную и культурно-просветительскую работу в комсомольской организации. Однако они ошиблись: Востряков заниматься этим категорически отказался. Все эти самодеятельные спектакли, вечера поэзии, кружки танцев, агитационные раёшники, которым он отдавал раньше столько сил и энергии, – все это теперь было ему отвратительно. Вскоре после окончания войны Вострякова арестовали. Сначала он попал в лагерь, где ему пришлось, как и другим, очень трудно. Какой-то уголовник даже попытался убить Вострякова, чем-то навлекшего на себя его гнев. От этого случая на шее у Вострякова остался шрам от ножа. Востряков сохранил свою жизнь по чистой случайности, да и то только потому, что уголовник был еще очень молод и неопытен: более опытный убийца, конечно, не оставил бы Вострякова в живых, полоснув его ножом по горлу. Однако в лагере он пробыл очень недолго. Скоро его перевели в закрытый научно-исследовательский институт, где работали заключенные, в так называемую «шарашку». На этой «шарашке» он проработал четыре года, познакомился там со многими учеными, увлекся исследовательской работой и, выйдя потом на свободу в 1955 году, продолжал заниматься наукой. Вместе с профессором Ромадиным и его помощником доцентом Пленом он принимал участие в основании Лесной лаборатории, выбирал место для ее постройки; сам, в числе других ученых, наблюдал за строительством. Защитил кандидатскую, а после и докторскую диссертацию. Однако выше по лестнице научных степеней, званий и должностей он не поднялся, оставив, в общем-то неоправданными те большие надежды, которые возлагали на него его старшие товарищи – ученые, особенно его учитель и давний друг Антон Юрьевич Плен, скончавшийся в 1963 году в звании члена-корреспондента Академии наук, удостоенный многих почетных наград за свою научную работу.

Незадолго до своей смерти академик Плен написал Вострякову письмо, в котором были такие строки:

...В нашем деле необходимы не только талант, интуиция, не только содержательное предвосхищение, не только доскональное знание дела и

фундаментальное изучение всех более ранних стадий развития данной темы, всех предшествующих разработок, которые на сегодняшний взгляд могут показаться иногда даже несколько наивными, но и сознательное, а не стихийное, упорство, «мертвая хватка», способность к истине атлетическому напряжению.

Для этого нужно обладать физической силой, выносливостью; поэтому я всегда такое внимание уделял физическим упражнениям, закаливанию, спорту. Думаю, Вы хорошо помните, как я окунался с головой в проруби на нашей речке близ лаборатории, в тридцатиградусный мороз. Помните, как я каждое утро бегал по лесным дорогам, играл в настольный теннис? Именно занятия спортом, выдержка и требовательность к себе, доходившая порой до жестокости, но никогда не переходившая границы разумного, а также соблюдение диеты позволили мне дожить до преклонного возраста, не потеряв рабочей формы, и сделать то, что я сделал.

Саша, я пишу это, конечно, не ради самовосхваления, а для того, чтобы обратить Ваше внимание на вещи, которые лишь на поверхностный взгляд могут казаться незначительными, а на деле же именно они, узловыe компоненты, составляющие технику житейского осуществления, и являются важнейшим, центральным инструментом нашей работы. Пренебрегать ими по меньшей мере бессмысленно.

У Вас есть все данные для того, чтобы реализовать свои способности, стать выдающимся ученым. Поэтому обратите внимание на мои слова. Высылаю Вам несколько переведенных мной работ по диетологии, вышедших на английском языке, а также отрывки из книги «Чтобы жить вечно», которые я сам выписал и перевел для Вас. Вы знаете, как я к Вам всегда относился. Сохраняю это отношение и по сей день.

Ваш А. Ю. Плен

Востряков получил это письмо в разгар своей очередной депрессии. Он мог только подивиться пронизательности своего учителя, каким-то образом угадавшего или почувствовавшего упадок его сил, общую подавленность и некоторое затухание интереса к работе. Сам Плен был к тому времени уже очень стар и постоянно жил в Москве, редко навещая в Лесную лабораторию. После отъезда Плена в Москву на роль его преемника на посту заведующего лабораторией одно время прочили Вострякова, но поскольку тот не проявил достаточной для этого активности и не предпринял тех многочисленных усилий, которые необходимо было предпринять, место это занял другой человек, впрочем вполне достойный, серьезный ученый, пользовавшийся уважением и самого Вострякова, и других сотрудников. Для Вострякова же это время стало временем особенно сильного возрождения его старых мучений, связанных с гибелью парторга Дунаева. Никто об этом не знал, сам Востряков ни с кем не говорил на эту тему, но жившее в его душе убеждение, что он является убийцей парторга, не только не погасло со временем, но, наоборот, еще более укрепилось.

Особенно мучили его сны. В семье, где родился Востряков, склонность к постоянным и очень ярким сновидениям передавалась из рода в род по материнской линии. Его бабушка, которую он хорошо помнил, – простая, темная крестьянка, которая так и не смогла до конца привыкнуть к городской жизни, – рассказывала, что во сне она встречалась с монахами, святыми, генералами и людьми из других, очень далеких стран. Она утверждала, что в 1914 году предсказала начало войны. Тогда ей приснился человек в простом военном мундире, в железной каске, с усами. Он встал перед ней на колени и попросил у нее благословения. «Кто ты такой? – спросила она. – И почему ты просишь благословения у женщины?» «Я император

Германии, – ответил тот, – и прошу благословения потому, что собираюсь причаститься крови святой Руси». Тогда она, во сне, сняла с себя свой нательный крестик и дала ему поцеловать его.

Мать Вострякова тоже часто видела сны. Однако, поскольку она была робкой и довольно забитой женщиной, у нее не хватало смелости встречать их так спокойно и холодно, как это делала деревенская бабка. Почти каждую ночь мать Вострякова вскрикивала во сне, охала, стонала и произносила какие-то невнятные обрывки фраз, но, в отличие от бабки, она никогда не рассказывала о своих сновидениях. Сам Востряков в детстве и юности тоже видел сны, они были разнообразны, иногда страшные, иногда запоминались, а иногда, наоборот, забывались сразу после пробуждения. Однако смерть парторга подействовала на Вострякова так сильно, что с тех пор снился ему почти исключительно только один день его жизни – тот самый день, когда взорвали завод.

В дневное время он, если только не был занят напряженной работой, постоянно вспоминал и перебирал события того дня вплоть до трагической гибели парторга. Ночью же все эти события вновь оживали, трансформировались, приобретали какое-то другое значение или приводили к неожиданным развязкам, иногда благополучным, дающим какой-то выход, какую-то возможность отменить нарастающую трагедию.

Иногда он просыпался в слезах от радости, что непоправимого не произошло, что все хорошо кончилось, но, убедившись, что это всего только очередной сон, он угрюмо и обессиленно ронял голову на подушку и закрывал глаза, чтобы не видеть суровую и не имеющую выхода и утешений реальность.

В таких снах воспроизведенный в мельчайших деталях антураж обреченного завода был освещен каким-то особенно ласковым, неправдоподобно мягким, золотистым, прозрачным светом – уже сама по себе ласкающая теплота этих косых, длинных, солнечных лучей, которых на самом деле не было, создавала ощущение приподнятости, эйфории, даже какой-то неги. Герой этого сна – воздушный и радостный и чуть-чуть лживый слепок Вострякова – легко и стремительно передвигался по заводу, входил в зал Дома культуры и рассматривал все там происходящее без всякого сожаления, спокойно. Потом он встречал Дунаева, подплывал к нему в просвеченном теплым солнцем воздухе и уговаривал не откладывать отъезд; они вместе садились в поезд, и он уходил за горизонт, утопая в щедром избытке всеобщего праздничного свечения, и они с Дунаевым и другими их общими друзьями и знакомыми, сотрудниками завода, сидели вместе в купе, перекусывали, мирно о чем-то разговаривали.

Конечно, где-то на периферии подобных снов, где-то в их затаенных уголках сохранилось воспоминание о реальных событиях, и их недосказанность делала эйфорию ненастоящей, придавала оттенок горечи этому счастью.

Другие сны начинались похожим образом, тоже все было хорошо и приятно, но, наталкиваясь на первое же препятствие, все начинало разваливаться: например, они с Дунаевым, заговорившись о чем-то, увлекшись каким-то спором (довольно отвлеченным, но удивительно вязким), опаздывали на поезд, он медленно уходил без них, и дальше они начинали, с постоянно нарастающей мучительностью, скитаться по территории завода, зная, что он вот-вот должен взлететь на воздух, но никак не будучи в силах его покинуть.

В многочисленных вариантах этого сна Дунаев успевал уехать и Востряков оставался на заводе один, или же Дунаев падал на территории завода в какую-то яму, и надо было его срочно вытащить, но ни сил, ни времени для этого у Вострякова уже не оставалось. В любом случае подобные сны заканчивались тягостным ожиданием взрыва и смерти, которая должна произойти каждую секунду, но почему-то все не происходит и не происходит. Востряков, или Востряков с парторгом, или даже целая группа людей томились и скучали в пустующих цехах, смотрели на часы и спрашивали друг друга: «Когда же мы умрем?», «Долго еще ждать?» Это продолжалось до тех пор, пока кого-то не озаряла мысль, что надо спасаться, что, быть может, еще не все потеряно. Тогда, как будто дождавшись появления этой безумной энергии, направ-

ленной на спасение, завод наконец взрывался, он взрывался медленно и вяло, многотонные куски стен и труб падали на людей, но сам Востряков к этому времени уже понимал, что спит, он уже не боялся погибнуть на заминированном заводе, а всего лишь опасался увидеть во сне что-нибудь особенно неприятное.

Но предметом, вызывающим его крайнюю ненависть, страх и отвращение, были даже не падающие трубы, даже не немецкие танки (которые тоже нередко беспокоили его своим гулом и приближением), а белый рояль, из-за которого, по убеждению Вострякова, он и убил парторга, принеся его в жертву своему пристрастию к этому холодному, гладкому предмету.

Однажды, когда Востряков был на «шарашке», ему приснилось, что он возвращается после войны туда, на место, где был завод, чтобы найти свой рояль и уничтожить его. Ему приснился рояль с головой Сталина, стоящий на дне огромной черной воронки, которая якобы осталась на месте завода. Он долго спускался туда, увязая в кучах черной, рыхлой земли. Вокруг воронки, до самого горизонта, расстилалось темное поле, покрытое искореженными обломками. Небо было мрачное, пасмурное. Он приблизился к чистому, белоснежному кентавру – ненависть душила его, ему хотелось отомстить за парторга этому холодному изваянию, изумительному по своей красоте, отомстить и тем самым смыть с себя вину. Он пошарил в карманах, в поисках какого-нибудь режущего предмета, но нашел только тонкую стеклянную пробирку. Сломав эту пробирку пополам, он стал острым зазубренным краем ее царапать поверхность рояля. В этот момент он услышал стон и увидел, что царапины наполняются темно-красной кровью, которая струйками начинает стекать вниз по лакированной поверхности. В то же время на белой и как бы гипсовой голове Сталина поднялись медленно веки и в лицо Вострякову взглянули темные, человеческие глаза, наполненные болью. В ужасе Востряков начал зажимать раны руками, но теплая кровь безостановочно струилась у него между пальцами, капала на землю, струйками текла ему в рукава. Через несколько дней после этого сна объявили о смерти Сталина. Вострякову не первый раз снились сны, которые можно было бы назвать «вещими».

После окончания войны Востряков, приехав в Москву с Урала, разыскал вдову Дунаева, которая жила в Москве с маленькой дочерью. Ольга Семеновна, уже немолодая, полная и болезненная женщина, работала учительницей музыки в музыкальной школе. Со смертью мужа она осталась совершенно одна, у нее не было ни родственников, ни знакомых. В сорок втором году она, с новорожденной дочерью на руках, была эвакуирована в Казахстан. Затем она вернулась в Москву.

Востряков знал, что у парторга осталась в Москве беременная жена, и это обстоятельство, конечно, еще усугубляло мучавшие его угрызения совести. Он нашел их с трудом, в маленькой убогой комнате в коммунальной квартире. Представился как близкий друг погибшего мужа. Стал навещать, помогать деньгами. Вскоре, однако, необходимость в этой помощи отпала: Дунаева получила большую пенсию за убитого мужа, получили они и более удобные жилищные условия. Востряков постепенно навещал их все реже и реже, тем более что Ольга Семеновна никогда не проявляла при виде него особой радости. Она была подозрительной и брезгливой женщиной, ей не совсем понятен был этот невысокий, угрюмый человек. Вскоре Вострякова арестовали.

Выйдя на свободу, он узнал, что Ольга Семеновна уже два года как умерла от сердечной недостаточности, а дочка ее Сашенька находится в детском доме. Устроившись работать, Востряков взял девочку к себе, тем более что они подружились еще до его ареста – он часто дарил ей цветные карандаши, ластик или еще какие-нибудь приятные мелочи.

Он женился и скоро с женой и приемной дочерью поселился вблизи от Лесной лаборатории, где работал, бывая в Москве лишь наездами.

Сашенька Дунаева сначала ходила в сельскую школу, а потом стала посещать специальную школу для детей сотрудников лаборатории, построенную в «ученой деревне».

Это была смышленная, покладистая девочка, наделенная спокойным, уживчивым характером. Она с легкостью вошла в чужую для нее семью, привязалась к супругам Востряковым, да и они полюбили ее – Саша заменила им родную дочь.

Тем не менее, не подозревая о том, она служила для Вострякова источником немалых страданий: ее лицо, жесты, даже манера говорить слишком живо напоминали ему покойного Дунаева и тем самым постоянно растравляли рану его души, еще глубже и прочнее увязывали его с прошлым, затягивали в угрюмые лабиринты воспоминаний. Как будто бы сам Дунаев ежедневно маячил перед ним в образе девочки: пил молоко, смеялся, делал уроки, гладил утюгом свой пионерский галстук, играл в классики на нагретом весенним солнцем асфальте, проворно прыгал через скакалку. «Дядя Саша» – так называла его приемная дочь – угрюмо смотрел на девочку. Он был неизменно заботлив и добр по отношению к ней, но внутренне осознавал достаточно ясно, что, хотя она с каждым днем растет и крепнет, для него она становится все прозрачнее и прозрачнее во всех своих проявлениях и все более отчетливым и материальным становится ее покойный отец. Жена Вострякова Нина часто замечала, каким странно-задумчивым, невеселым взглядом смотрит ее муж на ребенка, но она не знала и не могла догадаться, что мысленно он видит парторга в широком пыльнике, с мерцающим окурком в углу рта.

Все слова, произнесенные парторгом в тот роковой день, наполнялись для Вострякова каким-то особым значением, постоянно вспоминались ему. Но особенно часто, кстати и некстати, к нему приходили и мучительно притягивали к себе его внимание слова Дунаева: «Немцы, ебать их в четыре жопы...» Это и неудивительно: матерное ругательство, да еще произнесенное с чувством, ругательство, в которое покойный Дунаев вложил, как в краткую и сильную формулу, всю свою ненависть к врагам, естественно выделялось на фоне других словосочетаний, невольно выдвигалось на первый план. К тому же оно заключало в себе элемент загадочности и тайны, что несказанно усиливало мучительную акустику его звучания. Эта загадочность заключалась в числе четыре. «Почему четыре?» – часто спрашивал Востряков сам себя, сознавая одновременно всю нелепость и бессмысленность этого вопроса. Эти четыре жопы мучили его чрезвычайно, вскоре они даже приснились ему: они принадлежали четверем немцам, четверем огромным арийским юношам, которые были совершенно нагие и совершенно прозрачные, как бы отлитые из стекла. «Эсэсовцы», – подумал про себя Востряков. Внезапно появился Дунаев, веселый, brutальный и оживленный. «Сейчас ебать их буду», – подмигнул он Вострякову. Во сне Вострякова поразило не то, что Дунаев собирается совершить гомосексуальный акт, а то, что он собирается ебать четырех одновременно. И действительно, парторг расстегнул ширинку, и Востряков с изумлением увидел, что у него не один хуй, а четыре, торчащие в разные стороны. Хохоча и сопя, Дунаев стал совокупляться с четверьмя стеклянными эсэсовцами. Поскольку тела их были прозрачны, то внутри них отчетливо видны были хуи парторга. Вострякова охватило омерзение, он заставил себя проснуться ценой мучительного усилия. Последнее, что он услышал во сне, были слова Дунаева: «Вот так это делаем мы, коммунисты». Востряков сел на кровати, пытаясь стряхнуть с себя тяжелое впечатление, оставленное увиденным сном. Ему казалось, что этот сон оскорбляет память человека, трагически погибшего по его вине. Ему казалось, что он не только убил Дунаева, но продолжает издеваться над мертвым.

Одетый в полосатую пижаму, Востряков прошел босиком на кухню, вынул из холодильника банку с компотом, налил себе в чашку и сел за стол. Ароматный, холодный компот из сухофруктов, сваренный его женой Ниной, несколько погасил ощущение гадливости. Уже немного успокоившись, он продолжал размышлять о значении числа четыре. Ему даже пришло в голову, что слова Дунаева были своего рода предсказанием, что, может быть, четыре жопы означают четыре года войны, а четыре хуя, увиденные им во сне, быть может, соответствуют четырем фронтам.

Востряков стал принимать лекарства. Они подарили ему несколько спокойных ночей без сновидений, но потом он вновь увидел чудовищный сон – длинный, длящийся как будто целую вечность. На этот раз он был сосредоточен на собственных словах, которые шептал, когда они с Дунаевым везли рояль в грузовике. Это были слова: «Покарябается – покрасим». Тогда они относились к роялю, но во сне, в фокусе очередного смещения, они стали относиться к труп Дунаева. Востряков во сне был опять молод, энергичен, как в давние времена комсомольского задора. Он заражал всех бодростью и энергией, с огоньком и шутками собирал какие-то группы людей, что-то вроде экспедиции. С песнями, держа в руках букеты цветов, повязанные развевающимися лентами, они двинулись на то место, где погиб Дунаев. Под внешней веселостью у всех сквозило сознание стоящей перед ними трудной и, в общем-то, страшной задачи. Они должны были найти останки парторга и что-то с ними сделать, каким-то образом придать трупу вид живого. Востряков объявил всем, что парторг должен воскреснуть, а для этого нужно было восстановить его тело – жизнь не могла вернуться в разрозненные части или в труп, находящийся в плохом состоянии. Они действительно нашли труп и долго с ним возились. Вострякову показалось, что прошло несколько дней, заполненных этой постоянно увязающей, тягостной работой. Они красили его, подбирали одежду. Все это затягивалось, дело валилось из рук, многих частей не хватало. Пришлось организовать поиски одной ступни, которую взрывом отбросило на большое расстояние. Наконец ее нашли. К назначенному сроку тело было приведено в более или менее сносное состояние, хотя Востряков ощущал недостаточность этого, но сделать он ничего не мог: каждого участника приходилось принуждать и подталкивать, работали все с трудом, женщин и молодых девушек часто тошнило. В день, когда должно было произойти воскресение, все собрались возле трупа, празднично одетые, с барабанами, тарелками, полными еды, предназначенной для того, чтобы накормить вернувшегося. Многие держали горящие свечи, хотя дело было днем. Дунаев стал медленно оживать, шевелиться. Он долго не мог открыть глаза, потом долго не мог встать. Востряков помог ему подняться, и они вместе пошли к заводу: парторг тяжело опирался ему на плечо, идти он почти не мог и постоянно жаловался, что тело плохо восстановлено. Пресекающимся, полумертвым голосом он сказал: «Саша, это была такая редкая возможность, почти единственная, и ты даже не мог позаботиться, чтобы тело привели в порядок. Теперь я буду инвалидом». Его глаза, устремленные на Вострякова, были полны укора, настолько сильного, что Востряков не смог вынести этого взгляда.

Проснулся Востряков в тяжелом депрессивном состоянии. Он оделся, вышел на кухню. Его жена ушла на работу, а приемная дочь сидела за столом и завтракала: какао и хлеб с медом. Ей было уже шестнадцать лет. Она приветливо, по своему обыкновению, пожелала ему доброго утра, произнесла несколько незначительных бытовых фраз, а потом сказала совершенно спокойно:

– Мой папа не умер. Он жив.

Востряков хотел что-то сказать, но промолчал. Походил по комнате, переставил несколько предметов, налил себе в чашку чай, намазал хлеб маслом. Затем спросил, пристально глядя на девочку:

– Почему ты так думаешь?

– Потому что сегодня я получила от него письмо, – ответила Саша.

Она расстегнула свой школьный портфель и вынула из него конверт. Востряков прочел письмо; оно было написано на помятом обрывке бумаги, карандашом.

Доченька.

Я не погиб мне удалось пережить войну. Я живу далеко от тебя но думаю всегда о моей Сашеньке. Твое имя я призывал когда мне было тяжело когда был на пороге смерти и оно спасало меня. Дочурка моя, знай – твой папа жив. Твой папа стал волшебником многое пришлось пережить но в письме обо всем не расскажешь. зато я могу многое и всегда все знаю про тебя знаю что тебе

хорошо. издали я охраняю тебя, Саша. не ищи меня учись на пятерки и не проси в своих молитвах упокоить мою душу, потому что я не мертвец. Скоро напишу еще.

Твой папа

Почерк был неровный, сильный и корявый. Вострякову было страшно читать это письмо, ему казалось, что этот мягкий, истрепанный кусочек бумаги причиняет ему боль. Потом он опомнился: письмо представилось ему только лишь склизкой и отвратительной фантазией какого-то психопата. Он брезгливо отодвинул от себя бумажку и конверт. На конверте вместо обратного адреса были неразборчивые каракули, но адрес Востряковых был написан крупным, отчетливым почерком. Почерка парторга Востряков не помнил, но постепенно ему стало ясно, что никто другой, кроме неизвестного ему маньяка, вряд ли мог быть автором письма. На шутку, даже самую жестокую и безумную, оно не походило. Оно было написано небрежно и достаточно искренне – в этом Востряков не сомневался, это ему подсказывала интуиция. Однако неумелая пунктуация, пропуск многочисленных запятых и некоторые обороты успокаивали его. В частности, парторг, насколько его знал Востряков, никогда не стал бы писать о молитвах: он был убежденный атеист. Единственные слова, которые существенно кольнули Вострякова, были: «Твое имя я призывал когда мне было тяжело когда был по пороге смерти...» Анализируя этот текст, он мгновенно, с оттенком судорожности, вспомнил, что Дунаев перед смертью кричал: «Саша! Сашенька!» – тогда Востряков отнес этот призыв к себе, но могло быть и так, что Дунаев в последние минуты жизни вспомнил о дочери, о существе, которое любил больше всего.

Но тут же Востряков остановил себя: к моменту гибели Дунаева девочки еще не было на свете – Ольга Семеновна тогда находилась только на втором месяце беременности. Тем не менее письмо очень тяжело повлияло на Вострякова. Он понимал, что если сны и размышления являются его личным делом, замкнутым в пределах его сознания, то выход этой опасной фиксации на личности убитого Дунаева во внешний мир, в область мыслей и поступков других людей, значительно усугубляет тяжесть его положения.

Когда пришло второе, а потом и третье письмо, он стал принимать сильные успокаивающие средства. Сашенька внимательно читала письма, складывала их в специальную коробочку из-под куклы, даже показывала своим подругам. Вострякову казалось, что эта шестнадцатилетняя, уже почти взрослая девушка проявляет малолетнюю наивность, не сомневаясь в подлинности этих писем, считая, что ее папа действительно жив. Но сказать он ей ничего не мог, он старался вообще не говорить на эту тему. Правда, однажды он спросил Сашеньку, пытаясь изобразить улыбку:

– И что же ты, Сашенька, веришь, что твой папа действительно стал волшебником?

– Ну что вы, дядя Саша, это просто шутка, – рассмеялась девочка.

Между тем письма продолжали приходиться, и в них опять поднималась тема волшебства.

«...Детонька, ты уже не маленькая поэтому должна знать что я волшебник. Это трудная работа и крест но уйти от этого уже нельзя хотя бы знаю что могу на расстоянии заботиться о тебе, доченька моя. Люби тех людей у кого живешь, а если тебе станет трудно позови меня мысленно – я никогда не откажу тебе, всегда услышу мою Сашеньку...»

Востряков с трепетом читал каждое новое письмо, тем более что Сашенька охотно показывала их ему. Он каждый раз искал в них каких-нибудь крошечных, но ошеломляющих деталей, которые могли быть известны только ему и Дунаеву. Но этого он не находил, да, может быть, и не существовало таких деталей.

Одурманенный таблетками, он по-прежнему каждое утро отправлялся в лабораторию, запирался в своем сарайчике, который сам же для себя построил в самом начале строительства лаборатории. Однако там он почти ничего не делал. Поработав немного, он застывал в неподвижной позе, сидя на жестком стуле, устремив взгляд в окно на мирные сосны, освещенные

солнцем. Иногда он засыпал. К вечеру ему становилось хуже, ощущение зыбкости и тоски усиливалось. Это ощущение не снимала и таблетка, которую он старательно принимал и запивал стаканом теплой воды.

Нина замечала, что муж находится в плохом состоянии, переживала. Она даже предложила отнести письма в милицию, но Востряков только отмахнулся.

– Зачем огорчать девочку? – сказал он. – Она верит...

На самом деле у него уже не было ни смелости, ни сил для каких бы то ни было действий.

В этом состоянии глубокого упадка и застало его письмо А. Ю. Плена. Сперва он прочел его механически, не проникая за поверхность слов, не ощущая ничего, кроме благодарности за оказанное внимание. Но потом он задумался, вник в написанное и постепенно почувствовал справедливость высказываний учителя, почувствовал, что его старший товарищ указывает ему путь, который можно считать более надежным, чем другие. Не в первый раз Антон Юрьевич протягивал ему руку помощи.

Они познакомились на «шарашке», где этот волевой и сосредоточенный человек, видный ученый, многому научил Вострякова, причем не только в научной области, но и в области житейской: он советовал ему, как надо разговаривать с начальством, чтобы не терять собственного достоинства и в то же время не навлекать на себя гнев и неприятности, как надо вести себя, чтобы не только пережить время заключения, но и плодотворно использовать его для своего умственного и нравственного развития, для своей работы. Потом, после освобождения, Антон Юрьевич вовлек молодого специалиста в деятельность по основанию Лесной лаборатории, поручил проведение ряда интересных опытов, в чем Востряков добился немалого успеха. Хотя Востряков и не был самоучкой, все же его образование не являлось полным и кое-где обнаруживало прорехи и белые пятна: Антон Юрьевич Плен внимательно присматривался ко всем слабым местам своего подопечного, указывал ему направления, в которых он должен работать над собой, предоставлял множество специальной и иногда труднодоступной литературы.

Востряков углубился в чтение книг по диетологии, присланных Пленом, и постепенно читал со все возрастающим увлечением. Он бросил принимать таблетки, резко ограничил свое питание, исключил из него все острое и сладкое, прекратил употреблять дрожжевое тесто, соленья, жареное мясо и котлеты. Стал по утрам обтираться, а потом принимать холодный душ. Его состояние улучшилось, в глазах появилась ясность, походка сделалась бодрой. Он научился плавать, и летом они все вместе ходили на реку купаться.

Однажды, ясным и теплым вечером, он заплыл довольно далеко, потом обернулся и издали посмотрел на берег. На пляже, освещенном косыми лучами заходящего солнца, пробиравшимися из-за сосен и елей, сидели, лежали и двигались фигурки полуобнаженных людей. Издали они казались как бы позолоченными, окутанными покоем и мирной ленью. Он ясно различил свою жену, которая лежала на темно-синем полотенце, и стоящую рядом с ней Сашеньку. Он подумал, что жена его еще молода и хороша собой, что Сашенька за последние годы расцвела и превратилась в стройную, красивую девушку. Она только что вышла из воды и теперь вытирала вафельным полотенцем свое загорелое тело. «Она прекрасно сложена, и загар ей очень идет», – подумал Востряков о приемной дочери. Он увидел, что все детское и адское исчезло из ее внешности, а вместе с этим исчезло и сходство с Дунаевым. И тут, подумав о Дунаеве, Востряков понял, что все, терзавшее его, ушло из его души, что он больше не ощущает никакой вины, никакого отвращения. Он почувствовал, что воспоминание о том страшном дне, когда погиб Дунаев, больше не является для него ни ярким, ни существенным. Теперь ему было все равно, жив Дунаев или умер, был ли он атеистом или верующим. Он освободился от этих мыслей, похудел, стал более подвижным. Он также почувствовал уверенность, что письма от человека, называвшего себя отцом Сашеньки, больше приходить не будут. Действительно, так и случилось.

Обрадованный, он как-то даже совершил детскую шалость – написал концом зонтика на песке: «Над волшебниками не смеются и не плачут – их едят». Через несколько дней, проходя мимо этого места, он увидел, что надпись стерта, а на ее месте разбросаны какие-то объедки: огрызки яблок, куски хлеба, яичная скорлупа, кусочки колбасных шкурок.

Сашенька вскоре вышла замуж за сотрудника лаборатории, родила ребенка. Дочку молодые супруги назвали Наденькой. Поселились они в отдельном коттедже, неподалеку от дома Востряковых, и маленькая девочка часто прибегала к ним или приезжала по тропинке на трехколесном велосипеде, позванивая металлическим звонком.

С раннего детства Надя была очень самостоятельна. Она называла Вострякова и его жену Нину дедушкой и бабушкой и очень их любила. Востряков посмеивался, что, будучи еще совсем нестарым человеком, очутился в роли дедушки. Сам он тоже привязался к девочке, они с женой баловали ее, покупали ей игрушки, кормили сладостями, фруктами и другими вкусными вещами, порой забывая, что на самом деле она им никакая не внучка и кровно с ними никак не связана. Однако, не имея своих детей, они перенесли свою любовь на это существо, тем более что Наденька была хорошенькой, веселой, проказливой деткой, успешно завоевывающей симпатии большинства взрослых.

Так шли годы. Востряков продолжал работать в лаборатории, на карьеру он старался не тратить свои силы, но исследовательская деятельность снова увлекла его: он порой дневал и ночевал в своем сарайчике. Имя его стало известным в узком кругу специалистов, его работы и статьи печатались в научных журналах и переводились на многие языки. Сам он пользовался все большим авторитетом и уважением, хотя и не стремился занимать какие-то видные места. «Я кабинетный ученый, мало способный к общественной работе», – часто говорил он о себе. Тем не менее его нередко посылали за границу, где он участвовал в симпозиумах и конгрессах, выступал с докладами. Внешне он сильно изменился: облысел, отрастил густые усы и бородку, в которой обильно проступала седина. Поджарый, загорелый, в очках с темными стеклами, которые он носил почти постоянно, он одевался во все иностранное, носил хрустящие поролоновые куртки, красные или черные рубашки, швейцарские часы с пластмассовым ремешком. Наденька подросла. Незадолго до ее шестнадцатилетия ее родители уехали в Новосибирск по работе, и она перебралась к Востряковым. Нина Васильевна была рада, что девочка поживет с ними, но Востряков почувствовал некоторую тревогу.

Его интуиция не обманула его, но он не ожидал столь личного, столь неприятного события. Однажды утром Наденька протянула ему помятый конверт. Востряков вынул из конверта письмо, развернул его и прочел:

Дорогая внучка!

Тебе пишет твой дедушка, которого ты никогда не видела. Тебе сказали что я погиб на войне, но это не правда. Я живу очень далеко от тебя, совсем в другом конце нашей страны, но я все про тебя знаю, постоянно думаю про тебя. Внученька, я не простой человек, я волшебник. Тебе на днях исполнится 16 лет, ты уже почти взрослая потому думай обо мне а если же тебе плохо или что-то очень нужно только прошепчи дедушке он услышит тебя. Кто же поможет тебе, Наденька, как не родной дедушка. Это хорошо что ты Надя, Надежда. Ты Надежда моя. Рано или поздно мы встретимся и я научу тебя чудесам, чтобы ты все знала чтобы, когда я умру, вместо меня охраняла твою жизнь и детей твоих. А пока старайся, учись на пятерки. Скоро жди еще весточки.

Твой деда Вова

Востряков отнес письмо в свою комнату, положил на письменный стол. Долго ходил по кабинету, подходил к окну, задумчиво глядел на заснеженные ели (дело было зимой), посту-

кивал пальцами по стеклу. Хотел даже сесть и написать в Новосибирск, но удержал себя от этого проявления слабости. Он подошел к шкафу, выдвинул нижний ящик, вынул из него несколько пухлых папок и, наконец, розовую коробочку из-под куклы, перевязанную шелковой лентой. Там лежали чуть-чуть пожелтевшие и обветшалые письма: он перечитал их, сравнил почерк. Написано было, без сомнения, одной и той же рукой, хотя почерк за прошедшие годы стал более дряблым, слабым, старческим. Востряков сопоставил, что и Сашенька, и ее дочка Наденька начали получать письма в канун своего шестнадцатилетия: возможно, здесь действовал сексуальный маньяк, которому нравились девочки именно этого возраста. Но это постоянство и осведомленность, это слово «волшебник», представлявшееся Вострякову сладким и отвратительным, более отвратительным, чем слова «пердун» или «педераст».

Ему не хотелось размышлять об этом, снова погружаться в мучительные ощущения минувших лет, но он понимал, что дело это серьезное. Он ощущал свою ответственность за Наденьку, которую он взял на себя с отъездом ее родителей. Слова «рано или поздно мы встретимся» навевали мысль об угрожающей девочке опасности.

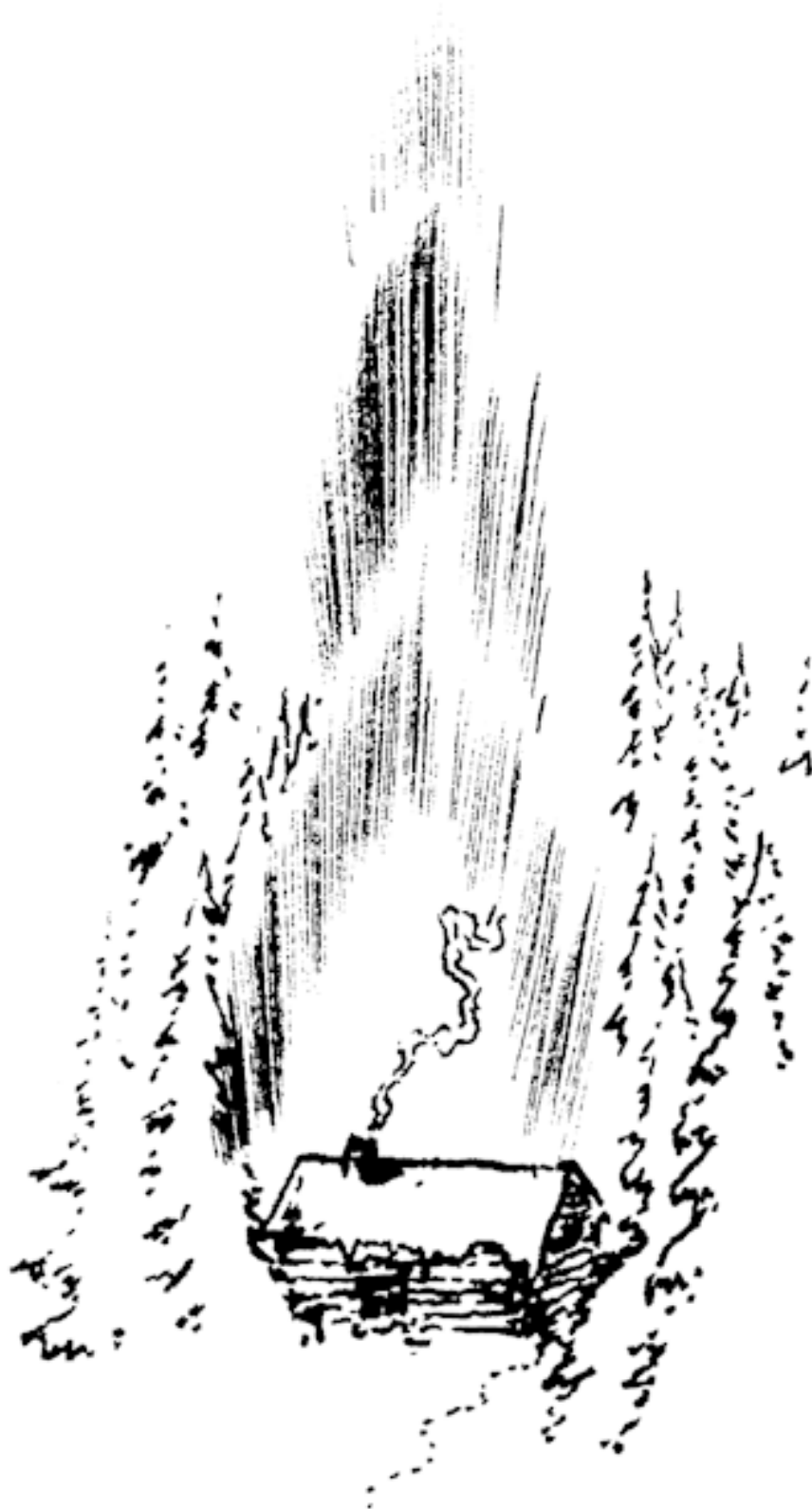
«...Скоро жди еще весточки...» – прочитал Востряков вслух и решил, что если придет еще одно такое письмо, то ему не останется другой возможности, как отнести все эти письма в милицию.

Но пришло и второе, и третье, и четвертое письмо, а Востряков все никак не мог решиться на этот поступок. Как будто что-то удерживало его. Он снова помрачнел, стал вялым и раздражительным. Особенно невзлюбил он утреннее время, когда обычно приходили письма. Встав с постели, он нервничал, хмурился, ожидая, не скажет ли Наденька о новом письме. Если письма не было, он немного успокаивался, но по дороге на работу его мысли упорно возвращались к этой неразрешенной ситуации. Он неторопливо шел по лесной дороге: равномерная ходьба, свежий утренний воздух, ласковый шорох леса словно бы старались разогнать его заботы и тяготы, но забыть о мутной, неясной реальности писем было невозможно. Востряков ежился от бодрящего ветерка, в его темных очках солнечные лучи представлялись ему чуть коричневатыми, он думал о существовании людей с поврежденным рассудком, об извращениях, сохраняющих до глубокой старости безумный, изнурительный и таинственный пыл своих страстей. Он думал об общем космическом беспорядке, о множестве слоев, которыми вынуждено продвигаться человеческое сознание на пути своего маразматического. Он думал о выражении «выплакать все свои слезы» и о том, действительно ли наступает предел слезам, если безутешно рыдать долгое время.

Наконец, почти на полпути по направлению к лаборатории, он увидел далеко впереди высокий и еще не совсем ясный силуэт Тарковского, который медленно шел к нему навстречу, задумчиво опустив к земле свое белое лицо.

Часть вторая. Ортодоксальная избушка

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Ортодоксальная



Глава 1

Немые старшины

Лесная поляна была до краев наполнена туманом, который волокнистыми слоями поднимался из сырого, заболоченного овражка, заросшего густым кустарником. С одной стороны поляны стеной возвышался сумрачный лес, с другой стороны деревья редели, неуверенно расступались, и между ними просвечивало перепаханное поле, по которому также стлался туман.

Над болотом звенела невидимая мошкара, в глубине леса гулко и невнятно восклицала ночная птица, но эти звуки таяли и глохли в тумане, растворяясь в непроницаемой ватной тишине.

Только следы, оставленные гусеницами танков, поломанные деревья, вмятый в землю кустарник по обеим сторонам лесной дороги свидетельствовали о том, что и по этим местам только что прокатилась война.

Глубоко вдавленные в землю следы гусениц уходили в поле, разветвляясь во все стороны от дороги, которую, впрочем, трудно было разглядеть. Только далеко, примерно посередине поля, белел среди волокон тумана какой-то предмет.

Это был рояль. Возле него на боку лежал опрокинутый грузовик, а посреди дороги виднелось полузасыпанное землей человеческое тело в широком белом пыльнике.

Парторг Дунаев очнулся уже тогда, когда все поле покрылось белым одеялом тумана. Он пошевелился, стяхнул с себя землю. Затем попытался привстать, но не смог и обессиленно прошептал несколько матерных слов. Сознание его было затуманено, в голове бродили бесвязные мутные мысли.

«Я плакал, – подумал он, проводя рукой по своему лицу, мокрому от тумана. – Я долго плакал».

Он пополз куда-то на четвереньках, но быстро увяз в куче влажной, рыхлой земли, разбросанной вокруг небольшой воронки от снаряда. При этом он заметил, что, пока он находился без сознания, его организм каким-то образом освободился от того, что отягощало желудок, и теперь остывший кал медленно сползал по его ногам. С большим усилием он расстегнул брюки и достал кал, оказавшийся довольно плотным и компактным.

«Вот, блядь, таких навозных жуков не бывает...» – подумал он.

Положив кал на землю, парторг заметил, что выделения имеют форму, отдаленно напоминающую зайчика. Зачем-то он несколькими движениями пальцев сделал это сходство еще более очевидным: заострил ушки, вылепил хвостик, имевший вид отдельного комочка. Кончиками пальцев выдавил углубление, которое должно было обозначать глаз. Потом он окружил «зайчика» одинаковыми кучками земли, создав ему как бы некую рамку, которая должна была защищать его.

Трудно сказать, почему Дунаев поступил так. Должно быть, он бессознательно считал себя погибшим (хотя мыслей такого рода у него не возникало) и вел себя соответствующим образом. Действительно, полная тишина и густой туман, поглотивший все звуки и зрительные образы, создавали впечатление спустившейся небесной мякоти, плотно слипшейся с земляным слоем. Но назвать этот мир потусторонним у Дунаева не доставало сил. Организм его перенес чудовищное потрясение; Дунаев, видимо, был контужен.

Немного полежав на земле, он ощутил холод. Он снова попытался встать, но упал на четвереньки и пополз в тумане. Вскоре он увидел прямо перед собой большой белый предмет. Он протянул руку и нащупал педаль рояля. Стоя на коленях, он раскрыл крышку и заиграл. Играть в таком положении было трудно, ему пришлось упереться головой в холодную, покрытую капельками влаги поверхность рояля, но играл он тем не менее хорошо. Не глядя на клавиши, он бегло исполнял знакомые ему мелодии: вальсы, танго, мотивы песенок, популярных в пору его юности.

Дунаев родился в деревне, но семья вскоре переселилась в город. Отец его работал на фабрике, но старшая сестра прислуживала в горничных в одной дворянской семье. Маленький Володя вечно околачивался в большой, хорошо обставленной квартире Рязанцевых. Каждый день девочки Рязанцевых Неля и Оля упражнялись на рояле под руководством учителя музыки Карцева – чудака и балагура, известного своей неловкостью, своей поразительной неуклюжестью, но также и благодушием. Больше всего Карцев любил сушеные фрукты. Поэтому, когда он приходил, оставляя в прихожей свои галоши, кухарка наполняла белое фарфоровое блюдо сморщенными черными грушами, курагой, яблоками и черносливом и отправляла Володю Дунаева с этим блюдом в гостиную.

Заметив как-то, что мальчик проявляет интерес к музыке, демократ Карцев разрешил ему присутствовать на уроках. Так Дунаев научился играть. Кто бы мог подумать во время этих уроков, когда солнце проникало в окна сквозь прозрачные тюлевые занавески и белые платья девочек словно бы светились в полутемной гостиной, а учитель Карцев строил смешные гримасы и запускал руку в вазу с фруктами, кто бы мог предположить тогда, что младшая из сестер, Оля, выйдет замуж за Дунаева, что старшая сестра, Нелли, выйдет замуж за офицера и уедет с ним за границу, что Карцев через несколько лет умрет?

Впрочем, Дунаев никогда не играл особенно хорошо. Иногда на вечеринках, когда собравшиеся молодые люди хотели потанцевать, он с легкостью наигрывал модные в ту пору мелодии. Но сейчас, оставленный на произвол судьбы, переживающий полузабвение, воспринимающий все свои ощущения как сон или же как тусклые и невзрачные проявления собственной смерти, на которых не следовало сосредоточиваться, он играл замечательно, или же ему так только казалось. Звуки были глухие, пресные, они падали в туман и гасли в нем, отчего парторгу было особенно приятно играть – так бывает иногда приятно шептать простые повседневные фразы, уткнувшись лицом в подушку.

Ему казалось, что каловый зайчик, созданный им, ожил и подошел к его ноге, чтобы лучше слышать музыку. Он опустил руку, пытаясь погладить его, но ничего не нашел. Ему пришлось поднять лицо, и тут он увидел, что возле рояля стоят два человека.

Один из них слушал музыку, наклонившись вперед, облокотившись о крышку рояля. Другой стоял, глядя себе под ноги. Оба были в военной форме. Дунаев наконец встал в полный рост, держась руками за рояль, и присмотрелся к нашивкам в летнем ночном свете.

– Вы старшины? – наконец спросил он слегка заплетающимся языком.

Оба незнакомца кивнули.

Дунаев с горечью усмехнулся.

– Что же теперь делать будем, товарищи? Оладьи печь? Ботинки разношивать?

Старшины молчали.

– Накрыться пиздой и детскую кашу варить? – продолжал Дунаев. – В тылу у немцев спать ебицким сном? Я чуть было не погиб. Нет, уж лучше идти куда глаза глядят. Или вы предлагаете поступать так, чтобы потом о нас сказали обманутые нами враги: не было лучших рабов? Да? Так, что ли?

Старшины молчали.

– Или, может быть, уже не обуздывать этого бесстыдства? Присутствовать при пытках и казнях преступников? Ходить ночью, в парике и длинном платье, по притонам и публичным домам, принимать живое участие в кощунственных сценических представлениях, в танце и пении? Нет, этот вариант не для меня.

Старшины продолжали молчать.

– Я коммунист. Конечно, я знаю, что положение наше с вами не из легких. Но наш долг – продолжать сражаться и здесь, в тылу. Вы люди военные, вам виднее, как именно следует перемещаться, мне трудно говорить об этом. Знаете ли вы местность?

Один из военных кивнул.

– Немцы должны быть где-то неподалеку, – продолжал говорить Дунаев, борясь с полубморочным состоянием. – Передовые части врага, должно быть, продвинулись уже на значительное расстояние. Но... – Он запнулся, заметив странное, отсутствующее выражение лица одного из старшин.

Старшины молчали.

– Умирая, знать о том, что ничего особенного не происходит и мир не теряет в твоём лице ни великого артиста, ни великого воина? И последние слова чтобы звучали тускло, не как золото или сталь, а как эмалированная кастрюля, по которой стучит алюминиевой ложкой слепой раб? Да?

Старшины продолжали упорствовать в своём молчании.

– Смотреть на буйство пламени и аплодировать крикам горящих кошек? Нежность прятать про запас, совесть оставлять врагам, честность оставлять на чёрный день?

Дунаев хотел сильно ударить по клавишам рояля, чтобы резким звуком вспугнуть своё помутненное состояние, но его рука с растопыренными пальцами промахнулась и ударила по колену, издав тихий влажный шлепок. Штанина была мокрая. Старшины, почти невидимые в темноте, стали смотреть ему на ноги.

– Даже если война – пустяки или игрушка, – снова заговорил парторг, – это, ебаный коло-тун, не значит, что можно плюнуть на победу. Иногда дарили Родине морские водоросли или просто сучья да ветки, а она не давилась. А теперь что? По-вашему, это что – простые перетрясы? Это ни хуя не шуточки... это смертельный натиск... – Парторгу стало труднее говорить, он почувствовал резкую боль в голове. – Даже если усталость или обида не позволят... наше дело теперь – партизанить!

Ему наконец удалось выговорить ту фразу, которую он пытался составить в уме и произнести с самого начала.

Старшины молчали.

– Партизаны! Вы понимаете? Партизаны!

Старшины не произносили ни звука.

Дунаев неудачно плюнул на землю (все, что он теперь делал или говорил, было несовершенным, нелепым, ватно-потусторонним). В его сознании возникли слова, вызывающие почему-то невыносимый стыд: «Мой язык погиб».

Мелькнул образ отдельного, мертвого языка («Словно бы у животного», – подумал Дунаев), которого хоронили, как героя.

«Как героя! Как героя!» – шептали губы.

– Вы как знаете, – вдруг устало сказал парторг (и это неожиданно прозвучало почти по-человечески), – а я иду в лес.

И зачем-то прибавил: «Лесное! Лесное!» И повертел перед старшинами растопыренными пальцами, как будто он говорил с идиотами или иностранцами.

Старшины молчали и больше не шевелились. Может быть, души их отошли.

Парторг прошел между ними, не задев ни одного, и побрел к лесу, черневшему впереди плотной полосой.



Глава 2 Лисонька

Под ногами был мох. Дунаев остановился под елкой. Он держал в руке гриб и собирался рассмотреть его внимательно, чтобы узнать, можно ли его съесть. Однако что-то отвлекало его. Что-то светлое мелькало в стороне сквозь черную чащу.

Кто-то потерял о его колени.

«А, лисонька...» – расслабленно воскликнул парторг.

Животное было небольшим, грязным, с длинным хвостом. Пучки травы и глиняные пятна покрывали шкуру. Голова была повязана потемневшей сырой косынкой в красный горошек. Темный от грязи синий передник, завязанный тесемкой на спине, волочился по мокрому мху.

«Кто ж тебя так разодел, Патрикевна?» – ласково спросил Дунаев.

Вдруг он услышал ответ. Потом он считал, что именно в этот момент, а не в какой-либо другой, он стал стариком. Голос у лисы был тихий, почти беззвучный, и звуки шли откуда-то со стороны. Казалось, что говорит молодая девушка, невинная и скрытная,веряющая кому-то свои нежные секреты.

«Бабушка-избушка придела, братец! Посеред лесочка, в черном овражке, да творожком обложена – маслицем пообмазана, стоит, братец, бабушка и бревном не ведет».

– Кончай театр! – вдруг заорал парторг и изо всех сил ударил лису ногой. Нога попала во что-то мягкое, пушистое, прошла сквозь это и задела пень.

Не оглядываясь, Дунаев побежал сквозь кусты, перепрыгивая поваленные, почти распавшиеся от сырости стволы.

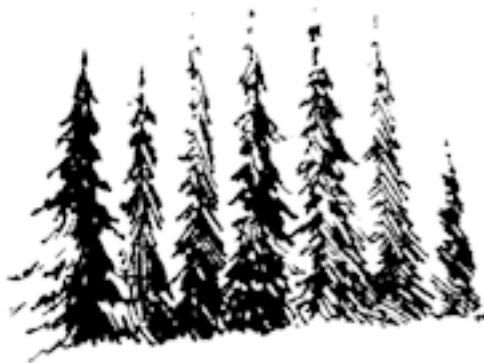
Сгущалась тьма, но впереди мелькал то ли ясный язычок пламени, то ли еще что. Вдруг Дунаев понял, что это лисий хвост, и резко остановился. Он повернул назад, прошел немного и выяснил, что заблудился бесповоротно. Задумался о чем-то, о словах лисы. В горле пересохло. «Что это за бабушка такая?» – лихорадочно размышлял Дунаев, шаря руками по коре.

Потом он подумал, что лиса – это, возможно, тайный знак партизан, который они подают ему из глубины леса. Сквозь поток галлюцинаций, вызванных контузией, он увидел этот знак, и ему показалось, что в детстве ему рассказывали о старинных «партизанских морочилках»,

известных в этих местах немногим старикам еще со времен войны с Наполеоном. Раньше якобы говаривали: «Мужик дубиной попусту махает, а как нужда воевать придет, он на вилы да на морочилку надеется».

Через несколько минут он вновь увидел впереди язычок тусклого пламени – лисий хвост. – Лисонька, не взыщи! – крикнул он. – Я ж так это, по-простому...

Лиса, казалось, манила куда-то. Пространства не было, только бесконечно дробящийся орган черных стволов. Дунаев шел, задевая за стволы. Он уже не собирал грибов, но вдруг что-то сквозь моховой туман как будто прокричало ему: «Мы здесь!» Инстинктивно он нашарил под деревом какие-то склизкие комочки и в следующий момент понял, что собрал горсть мелких грибов, похожих на сморчки. Он открыл рот и отправил туда собранное. Пережевал – вкус приятный. Разыскав целую полянку таких грибочков, он утолил голод и присел под деревом отдышаться. Через пять минут ощутил головокружение. Все завертелось, и неожиданно Дунаев осознал, что лежит на ровной, искрящейся площадке. Площадка почему-то зависла среди Парка культуры и отдыха. Невдалеке высилась сложенная из мелкого камня голова бессловесного богатыря, затем топорщилась детская крепость с зубчатыми стенами и башнями, рядышком на холмике стоял жестяной танк, и от его весело блестящего, посеребренного поста-мента каскадами сбегали куда-то вниз пруды, водопады, гипсовые бегемоты, стенки.



Глава 3 Болото

Так начались скитания Дунаева по лесу. Человек средних лет, воевавший в гражданскую за родные Советы, отдавший немало сил заводу и партии, еще полный сил и энергии, вдруг увидел, как его завод превратился в груды руин, как по родной земле идут вражеские танки, был контужен и остался в глубоком тылу у немцев, полубезумный, одинокий, мокрый от грязи и собственного кала. В его сердце прежняя жизнь и устремления не погасли, но погрузились как бы в болото, попали в плен наплывающих, как вонь гниения, бредовых идей и вязких галлюцинаций. Следы его целеустремленности и прежней железной воли казались теперь трухлявыми кочками на болоте. Только сладкая брусника оправдывает существование этих кочек, но не надежда на то, что в них можно найти себе опору. Он хотел искать партизан, чтобы продолжать борьбу. Но где они, эти партизаны? Где она, эта борьба?

Распластанный в гнилой траве у подножия дерева, парторг лежал неподвижно, с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, как мертвец. И только в положении головы было что-то, напоминавшее спящего ребенка. На глазах бессмысленные слезы, на губах рвота. Поедание невидимых говорящих грибов оказалось безрассудным поступком – галлюцинации завершились рвотой, которая привела к бессилию. Он то ли потерял сознание, то ли забылся обморочным сном.

Когда очнулся, вокруг была полная тьма, но какая это ночь, он не знал. Это были те часы перед рассветом, которые летом кажутся особенно темными. Тишины парторг не слышал из-за гула в ушах.

Очнулся он, видимо, от холода. Чтобы согреться, побрел куда-то, безразлично шаря по стволам протянутыми ладонями.

Сейчас ему хотелось бы встретить кого-нибудь, и было почти все равно, кого: немых старшин или говорящую лису. Одиночество давило как камень.

Жизнь каждого человека представляет собой повествование, заранее знающее своих слушателей. Иногда эти слушатели исчезают, и их отсутствие сразу становится заметным, даже если они были невидимы. Тогда повествование погружается во тьму, и голос рассказчика, постоянно звучащий в уме, начинает сбиваться и шепелявить, застревая и плавая в дефектном пространстве. Так продолжается до тех пор, пока повествование не обретет иной жанр и иных призрачных слушателей. Должно быть, не ошибались те, кто предпочитал постоянно ощущать вкус горечи существования. Плакать и закусывать губы – в общем, это всегда уместно, ведь жизнь всегда безнадежна, и только сострадание и безутешность – те немногочисленные чувства, которых ожидает от нас наш зыбкий и случайный кусочек космоса.

...Если гармошка умело
Все говорит не тая,
Русая девушка в кофточке белой,
Где ж ты, ромашка моя?

Не ошибались и те, кто считал правильным смеяться в темноте и в тех местах, которые мы по привычке считаем «веселыми кварталами», изыскивать тайные пути, извилистые тропы в иной мир.

Возможно, эти искусники не нуждались в иных мирах, а только в моментах перехода, в темных и стремительных промежутках.

Дунаев был слеплен из другого теста. Он был рабочим и коммунистом. В прошлом он был также солдатом и готов был снова стать им.

Если и его жизнь была всего только повествованием, то это повествование разворачивалось не перед призраками, а перед реальными людьми – перед рабочими завода, крепкими, упрямыми, умеющими, что называется, «разгрызть колосок». Да, он был «настоящим человеком», из той породы, что описана в знаменитой книге Бориса Полевого. У «настоящего человека» были искалечены ноги, но он полз к цели (народ говорит, что и сейчас ползет – сохраняя даже среди летнего дня не растаявший лед на голове, разбухший от трупного яда и смертельно опасный для детей, собирающих грибы). У Дунаева была повреждена голова, но он брел куда-то, навстречу судьбе, полный решимости бороться до конца. И тем не менее он ощущал ужас и пустоту. Повествование его жизни потеряло своих слушателей, оно превращалось на глазах в лепет и бред, оно погружалось в бессодержательную тьму – ведь ему никогда прежде не приходилось слышать молчания, столь ничего не значащего, как молчание «немых старшин», никогда не приходилось слышать речи столь неестественной и излишней, как речь лисоньки. Ему было невдомек, что когда повествование меняет свой жанр, оно привлекает ночь, тьму, лес или болота, и пространные отступления, и отступающее пространство, и отступающие армии, и дрожь рук, и зыбь на поверхности воды, и пот на лбу, и слезы на глазах.

Иногда запах супа или свежесваренного компота может произвести катаклизм и превратить душу человеческую в развалины. Но, если стремление к борьбе и победе велико, даже крошечная сморщенная ручонка способна нащупать сокрушительное оружие, предназначенное уничтожать гигантов. Если ручки ребенка покроются при этом серебристой чешуей или железными лепестками, если руки старика превратятся в птичьи растопырки или же их при-

дется смазывать маслом, спасая от ржавчины, то это можно и пережить ради сладострастия и свободы сражений в безграничном небе, которое так страшно щекотать.



Глава 4

Пенек

Ярко-зеленые кусты и сосны окружали полянку, на которую сползал голубоватый туман. У края полянки, среди травы, стоял небольшой пенек, старый и сморщенный, окруженный стаями почтительных грибов. И вот, когда измученный человек неожиданно встал на замшелую крышку пенька, сознание его прояснилось, чувства пришли в движение, душа очистилась и полились зеленоватые слезы. Грибы сочувственно улыбались, но Дунаев не замечал этого, осмысляя происходящее с ним.

– Надо срочно сориентироваться и пойти по солнцу на северо-восток. Но где оно, солнце?

Внезапно что-то под ногами Дунаева стало приподниматься. Он едва устоял, но шевелилось сильнее. Парторг в ужасе соскочил на землю. Он ухватился за пенек и обнаружил, что у того имеется крышка, которая приподнимается, обнажая два ряда стершихся золотых зубов. Из щели донесся астматический скрипучий голос, как у пенсионера, играющего в санаторной беседке в огромные деревянные шахматы.

Золотые зубы, блеснувшие в темноте, показались Дунаеву знакомыми. Он обнаружил лицо человека, которого когда-то знал, но забыл. Тот вроде бы курил. Крышка оказалась козырьком кепки.

– Отец, дай закурить, – хрипло попросил Дунаев, зная, что говорит с шелухой, а не с человеком.

– Бери, закуривай, – туманно ответил старик и протянул что-то вроде ветки.

– Веток не курю, – жестко отказался парторг. – Дай папиросу. Иначе как набнну ногой, так что ты свою труху потом по всей поляне собирать будешь и поганками обкладываться. Ты же всего лишь старый пенек, еб твою мать! Попробуй сказать, что не так.

Под кепкой раздался старческий кашель, а может быть, старческий смех.

– Пошел на хуй, – наконец с трудом прозвучали слова. – Был тут один такой – выебывался. Повыебывался, да и свалился в пизду.

– Человек? – вдруг заинтересовался Дунаев. – Наш или немец?

– Человек – не человек, а так себе – подпиточка. Оставил на мне жирный след. Да его все знают.

– А как его звать?

– Зовут его, слышал, Скребеный. Другие Метеным называют. А я Лисйим Говном его называю.

– А куда ушел-то, ну, Говно-то твое?

– Да мне по хую, я тут сколько сiju, еще не такое видел! Вот скажи, ты «Ни уму – ни сердцу» встречал?

Дунаев ошеломленно покачал головой.

– То-то же, – пенек выпустил клубок. Дунаев чихнул. – Ну чего расчихался? Иди вдоль, потом, после развилки, поперек, потом внакладку, а уже после второго рябинового куста вприсядку, достигнешь ржавого бака, постучи по нему раз пять. Главное, на Бобошку не наткнись.

– А это что еще за тварь?

– А это сыроед, им еще детей в деревьях пугают. Сидит неподвижно, то здесь, то там. Как ходит, никто не видал. Ротик маленький и на пизду похож, а внутри ветер. А в глазах заместо зрачков завитушки. Слюни по щекам текут, сам слепой, но мясо с костей обсосет, костями закусит, жиром-кожей не побрезгует, ногти да волосы не выплюнет. И главное, кричи не кричи – оно все равно не слышит. Просто схватит, и сразу в рот. Понять не успеешь, а вот он и пиздец!

– Ой, отец, выручи, расскажи, как страшной беды миновать! – Неожиданно для самого себя Дунаев отвесил пеньку земной поклон.

– Да ты, где будешь проходить, везде Беглого спрашивай. Как раз то самое Лисье Говно тебя по-грамотному выведет, прочь от лиха, ото всей хуйни убережет, если все правильно исполнишь, как сказано, и тихо вести себя будешь, а не орать, как мудака, на весь лес. Ну, с шишкой! – и на голову парторга упала сосновая шишка.

Посмеиваясь какой-то чужой усмешкой, с душой, наполненной ужасом, с погруженным в сон рассудком, Дунаев отправился в путь. Оказавшись в одиночестве, он заметил, что будто бы стало светать и тропинка, по которой ему было указано двигаться, светясь, петляла между стволов.

Впрочем, одиночество его было столь же полным, сколь и зыбким, поскольку везде присутствовали скучные галлюцинации, порожденные крестьянскими суевериями, не выжженными до конца трезвой рабочей смекалкой, пролетарским юморком, а то и сочной атеистической фразой.

Так он встал на «двойной след», порожденный петляющими путями Лисоньки и траекторией Лисьего Говна, прозванного в этих краях Откидышем.



Глава 5 Развороченный заяц

Вскоре в предрассветных сумерках тропинка уперлась в просеку, всю изрытую гусеницами танков. Здесь прошли немцы. Возле сосны валялся убитый и развороченный заяц. Видимо, его увидели с танка и какой-то ловкий автоматчик ради забавы прошил его несколькими очередями. Поза заячьего трупа была довольно странной – видимо, его подкинуло выстрелом и он повис на ветке, причем таким образом, что уши оказались внутри тела, как будто бы он заглядывал себе в живот.

Дунаев вспомнил о своем голоде, который он столь неудачно пытался утолить грибами. Ему захотелось зайчатины, и он приблизился к трупку.

– И ты, русачок, пострадал от немцев, – усмехнулся парторг. – Да только тебе хуже пришлось. Эх ты, жертва фашизма! Поддели тебя, герой войны.

Вдруг он услышал голос, точнее отвратительный писк:

– Меня Откидыш заломал и внутрь себя запихнул!

Дунаев оцепенел от ужаса. Очередная галлюцинация?

– Как ты сказал? Откидыш? Это не тот, кого Беглым зовут? Не Поскребыш ли часом? Ну?

Писк стал прерывающимся:

– ...У-у... у-шел он... говорит... ушел... Метеный, на хуй... ой, не могу... пиздарика... мне... выручай, парторг... Мишута хуй выручит – только палкой вздрочит... уш-шел... сука... что сделал...

Парторг почему-то не мог дотронуться до зайца – ведь ясно было, что пиздец косому. Он давился вязким кошмаром и вдруг потерял сознание. Всплыли, качаясь, два яблочка. У одного был отрезан кусочек. И Дунаев отчетливо понимал, что одно яблочко – яблочко, а другое – совсем не яблочко. Он не мог, правда, решить, какое из них яблоко, а какое нет – то, что надрезано, или другое, чистое. Он протянул руку и взял надрезанное яблоко. Что-то затикало, и яблоко взорвалось, разнеся все в пределах пяти метров на мелкие клочки.

С вытаращенными глазами, всклокоченный, Дунаев вскочил, дико озираясь, похожий уже на труп, полупережеванный лесным Бо-Бо. Но все так же висела тушка зайчика, все так же было сумрачно, только ощущалось некое сильное движение – может, техники по опушкам леса, а может, и чего-то похуже.

– Ты живой еще? – спросил парторг зайца. Заяц что-то ответил, но слов было не разобрать.

– Это что за гул? – снова спросил Дунаев.

– А это Мишутка нагибается, – беспечно ответил заяц, как будто и не был разворочен. Голова его была обращена внутрь наполовину выпотрошенной тушки, так что Дунаев видел только уши и затылок, покрытый мехом.

Омерзительный голос своего собеседника он слышал плохо, невнятно, не все долетало до него. А заяц между тем разболтался:

– Мы с Михайлой родственнички-греховоднички. За то и наказывает Откидыш. Я с тещей жил, четверых зайчат прижил. Первенького окрестил Курятиной, сварил и Лисоньке поднес, чтобы не мочилась на Норные Места, а мочилась за Овощным Плетнем, где сладкое растет. Второго окрестил Поленцем и в печке сжег, потому что лень было за дровами идти. Третьенького окрестил Скамеечкой, и на нем мы с тещей и с Мишкой-Пустышкой, бывало, сиживали, пока не подох. А меньшего, очень любименького, нарек Предлогом Для Великой Пакости. Мы его держали в дырочках и все ножки ему растягивали, чтоб были как резиновые. Потом с Мишаней-Оплошаней убили его, сделали ему железные уши, как у покойников полагаются, а в живот зашили много всякого оскорбления: объедки, осколки от бутылок, сучья, мошкарку и даже одну Женскую Вещь, которой женщины себе Вторые Губки приукрашивают. А сделали мы это ради обиды для нашего Священства. Как налетел ветер, дующий в Глубокую Сторону, раскрутили мы меньшого за резиновые ножки и метнули в Творог, где Священство у нас оседает. Меньшой полетел и воткнулся железными ушами в Творог, и застрял, и как начал гнить и разлагаться, так в белом Твороге, который Священство блюдет и слезами своими солит, образовалась тухлая дыра, которой и дали имя Овражек. Через ту дыру и поперло сейчас на Русь немецкое лихо, или просто Колени да Локти, как у нас говорят. Кабы не пляски Незнамо Кого на том месте, сразу бы от смертолюбивых Коленей пришел бы всем полный пиздец.

Вот какое я дело сделал, чтобы Священство оскорбить. А все от того, что имел зуб. Когда молод был, имел ушки, между собой соединенные, как странички, а на них Записи, а сам я был как Книжечка. Души же у меня не было никакой, и я много-много спал. А священство подходило, когда я спал, и слизывало Записи, и когда слизало их, то и стало Священством,

и поселилось в Центральном Твороге, в самом жирном да сытном месте. А до того оно не было Священством, а было Крепышами и Пострелами, о которых уже не помнят ничего. А я проснулся, и ушки у меня стали без Записей, разьединенные, двойные, и появилась у меня душа, да такая подлая, что не приведи Господь!

И когда я сделал оскорбление Священству, оно залупило и говорит: «Вот Откидыш откинется, найдет на тебя управу».

А мы с товарищем Мишкой Ебаным Парнишкой задумали на Откидыша западню у Пенька. Но он, когда откинулся, Пенек потоптал и выжал из него «мелкое спасение», а сам на меня накатил. «Загляни, говорит, Зайчик, внутрь себя». Схватил, нутро мое растрепал, колесом скрутил, голову мою в мое же нутро засунул и на дерево закинул. «А Мишане-Оплошане придется наклониться», – говорит. И дальше покатило. От тех недавних пор идет гул – это, видать, Мишаня наклоняется.

Парторг угрюмо сидел на траве, вслушиваясь в ненавистный голос и стараясь воспринимать рассказываемое как детскую байку или нелепые откровения пьяного, которые обычно пропускают мимо ушей. Однако почему-то ему показалось, что это было нечто вроде искреннего признания или даже исповеди. И он внезапно ощутил, что какие-то древние и мучительные правила предписывают ему ответить на откровенность откровенностью, на честный рассказ о себе ответить таким же рассказом.

Начал он говорить мутно, с трудом, как это уже успело у него войти в привычку за лесное время (неизвестно, исчислялось ли оно часами или днями).

– Да, брат, вот оно, значит, как у тебя сложилось... Это, как у нас на заводе говорят, ебаный случай. Впрочем, я тебя понимаю – сам поповского духа не терплю. А у меня вот оно как было: родился-то я в деревне, но там только малые года провел, а потом семья-то в город подалась...

Говоря, он наклонился ближе к зайцу и вдруг разглядел, что тот совсем гнилой. Значит, все, что тот говорил о «недавних событиях», была ложь – наглый, издевательский пиздеж.

– Да ты, брат, гниешь тут больше недели! – с изумлением и гневом воскликнул парторг. Ярость охватила его. Он схватил заячий трупик и изо всех сил швырнул его в кусты. Тот на лету распался – впрочем, для этого было достаточно первого прикосновения.



Глава 6 Мишутка

В это время тишина расступилась и раздался невероятный грохот. «То ли самолет набежало, то ли черт знает что!» – Дунаев испуганно присел под елкой и тут увидел меж корнями совсем новенькую самокрутку. Он взял ее и повертел в руках. Обычная самокрутка, фронтонная, но как здесь? В таких местах? «Видать, партизанчики мои родные пошаливают! Может,

сейчас и мост взорвали? Молодцы бойцы!» Он достал гильзу-зажигалку. Чиркнул огонек, и человек изо всех сил закашлялся, поперхнувшись едкой вонью.

– Тьфу! Пидорасы! Козлы! Вместо самосада – хвою да еловую шелуху мне подсовываете?! А-а, ссуки, управы на вас нет! – кричал Дунаев неизвестно кому, иступленно пиная стволы сосен. В самом деле, самокрутка была не с табаком, а с какой-то лесной, шишечной дрянью. Надсадно кашляя, он бежал прочь до тех пор, пока не услышал отчетливую звонкую тишину. Обрамленная хрустом шагов, подчеркнутая далеким хлюпаньем, тишина остановила Дунаева. В двадцати шагах от себя он ясно увидел широкую круглую спину, белую, как рыбье брюхо. Тот, кто сидел к нему спиной, не шевелился. Все застыло вокруг, и это делало страх почти невыносимым.

«Бо-Бо», – протопали два слога в побледневшем сознании, и парторг снова упал в обморок.

Было как-то неуютно в бессознательном состоянии. И когда Дунаев очнулся, ему показалось, что он уже в другом месте, да и растоптанного окурка рядом не было. Зато он услышал совсем неподалеку стон. Стон и кряхтенье, будто кто-то взвалил на себя непосильную тяжесть. Так и оказалось. Колоссальное дерево было повалено, но от окончательного падения его удерживал медведь, деревянный, как будто выточенный гигантским резцом, но выточенный плохо, и напоминал медведь увеличенную копию тех, что продаются в магазинах как сувениры.

Медведь угрожающе скрипел и, казалось, вот-вот должен был расплющиться и превратиться в щепки под тяжестью толстого ствола.

«Вот, значит, как Мишутка наклоняется», – мельком подумал Дунаев, но его внимание было тут же отвлечено: он увидел вокруг медведя и дерева густо разросшиеся кусты малины. Быстро он углубился в них, горстями срывая спелую мелкую лесную малину. Голод давал о себе знать, и малина была сладкой, и прочные белые зернышки ее застревали в потаенных ущельях зубов. Дунаев высасывал их и снова набивал рот ягодами, в упоении размазывая розовую мякоть по щекам. Солнце светило уже ярко и сбоку, деревья отбрасывали четкие длинные тени, все вокруг было мокрым от росы. Дунаев смог услышать пение птиц. Это было несомненное утро. По всей видимости, рассвет его первого дня в лесу. К нему ненадолго вернулось ощущение времени. Он провел рукой по щеке, чтобы стряхнуть прилипший листик, и почувствовал, что щетина отросла совсем чуть-чуть. Он был в лесу всего одну ночь.

Малиннику, казалось, не будет конца. Он углублялся в него все дальше и дальше, постепенно растрчивая свою жадность. Вскоре он уже выбирал ягоды покрупнее и не тронутые червем. А сознание тем временем в очередной раз пыталось вырваться из мрака неопределенности.

– Так, значит, завод мы взорвали, – размышлял Дунаев. – А оборудование мы... эвакуировали... Состав отошел. Я видел в этот... в бинокль. – Тут он заметил, что бинокль по-прежнему оттягивает карман пыльника. Проверил, не вылетели ли стекла.

Бинокль был относительно в порядке, только по одному из внутренних стекол пробежала тонкая, почти незаметная трещинка.

– Так вот... – продолжал неуверенно вспоминать Дунаев, – и мы, значит, в машине поехали с этим, как его... с вулканического цеха (имя и облик его спутника почему-то исчезли из памяти). И тут хуйнуло... Нет, хуйнуло потом... Сначала он говорит: смотри, еб твою мать, фашистские танки. Я, блядь, от неожиданности прихуел и завалил машину набок. Побежали, и тут хуйнуло. Парня, видать, убило, а я вот чудом невредим остался. Вовремя мы завод-то рванули, еще час – и было бы поздно. Немцы, никак, прорыв сделали... Теперь фронт хуй знает где. Небось наши-то у Узловой закрепились и держат ее... Ну да отсюда не услышишь.

– Что же теперь? – Он остановился посреди малинника и, шурясь, посмотрел на восходящее солнце.

– В деревне, наверное, немцы. К заводу возвращаться? Да за каким хуем? Там, кроме воронок и развалин, ничего нет. А здесь, в лесу, такая поебень, что тошно, да и от голода помрешь. А партизанов искать – да тут пиздохуй скорее съешь, чем партизанов. Какие, ебать их в четыре жопы, партизаны? Здесь еще вчера немцев не было. Надо самому организовывать партизанский отряд. Но как, из кого? – Он оглянулся и посмотрел на деревянного медведя, все еще стонущего под напором упавшего дерева. – Не из этой же лесной пиздобратии! А впрочем... Почему бы и нет?

Странная идея посетила мозг Дунаева: «А что? Собрать всех этих лисонек, пидорасов развороченных, всю эту рухлядь... На безрыбье и рак – рыба. Хотя нет... Это же нелюдь, труха – фашист таких не заметит. Против фашиста сила нужна, да нешуточная».

Парторг снова оглянулся на деревянного медведя.

– Вот, Откидыш... как заломал этих! Видать, есть у него сила. Вот бы его найти, поговорить. А кто он, так это немудрено догадаться. Ясное дело: урка он. Все эти кликухи: Метеный, Беглый, Откидыш... Замели человека, а потом он откинулся с зоны или, того пуще, сбежал и шляется по лесам да по дремучим местам хоронится, нечисть шугает. Видно, лихой парень и по мокрому делу сидел, раз теперь в бегах. Да и лес знает, все тайные тропы изведет. Для заправки партизанского отряда это именно тот человек, что надо. Только бы до него добраться, поговорить с ним по душам. А что он уголовник, так это ничего – главное, что наш, русский человек. Наш человек за Родину все отдаст. Горька ведь беглая воровская доля, а тут – или геройская смерть, или медаль от Родины, почет и прощение. Да, Откидыша искать надо! А за ним и другие товарищи найдутся.

Приняв это решение, парторг подошел к медведю.

– Ну что, Михайло, наклоняешься? – громко спросил он.

Медведь ответил невнятным стоном.

– Это Откидыш тебя так? – закричал парторг еще громче и внутренне приготовился выслушать ответ.

Медведь, однако, молчал и стонал (а может быть, это стонало дерево).

Парторг подошел ближе.

– Эй, Беглого знаешь? – заорал он.

Ответа не последовало, Дунаев всмотрелся в грубо вырубленную из древесины морду. Ему показалось, что усмешка у медведя какая-то злорадная. Солнце странно отражалось от тех мест, где раньше были сучки, как будто эти места стали липкими от света.

«Молчит, сука, – удовлетворенно подумал Дунаев. – Молчит, деревяшка сраная».

Чтобы окончательно удостовериться, он подошел к медведю вплотную и заорал ему в самое ухо:

– Эй ты, Метеного не видел? А? Молчишь! А ну говори, пидорас, а то помогу тебе наклониться.

С этими словами он уперся обеими руками в медвежий бок, с тем чтобы его опрокинуть. В этот момент он увидел, что медведь улыбается, а из множества микроскопических дырочек в древесине по телу Медведя стекают бесчисленные тоненькие полупрозрачные струйки, напоминающие больше сперму, чем смолу.

Руки Дунаева оказались намертво приклеены к медвежьему боку. Парторг рванулся, но безуспешно. Дерево страшно заскрипело, он понял, что еще одно движение – и медведь будет раздавлен нависающим стволом в щепки, а вместе с ним будут раздавлены и его плененные руки. Тут он впервые услышал голос Медведя. Голос был тихий и едкий, как будто пропитанный ядом или уксусом:

– Поможешь наклониться и сам наклонишься.

– Сука! Это зачем? Отпусти! – прохрипел Дунаев.

– Зачем? Да ради твоей смерти. Мне быть кашкой сухонькой, тебе какашкой мокренькой. Будем вместе лежать. Меня намочит – ты высохнешь. Я высохну – тебя намочит.

– Да ты... ты просто говно. Ты это специально... Я ж тебе ничего не сделал!

– Еще не то будет, голубок. – Михайло, казалось, подмигнул. – Сейчас догадаешься.

– Да что? Что будет? – затрясся Дунаев.

– А ты прислушайся, – посоветовал медведь.

В ясном утреннем воздухе отчетливо слышался приближающийся гул. Ошибиться было невозможно: это был гул машин, смешанный с тарахтением мотоциклов.

Вскоре стали слышны слова команды и голоса переговаривающихся людей.

– Это что... немцы? – Кровь отхлынула от лица Дунаева. Он стал бел как бумага.

– Да уж не цыгане, – сурово ответил медведь.

Через несколько минут вдали между сосен, то тут, то там, стало возможно видеть немецкие каски. Солдаты шли прямо по направлению к поляне, где находился Дунаев.

Где-то совсем близко, за деревьями, там, где шла просека, показались несколько мотоциклов с колясками.

Парторг понял, что снова приближается смерть – на этот раз она шла широким шагом, продираясь сквозь кусты и папоротники, держа руку на горячем от солнца и жажды автомате. Он понял, что встречи с гнилыми и робкими обитателями леса не несли в себе настоящего ужаса. Настоящий ужас был здесь и заключался в реальных людях, в сильных врагах, отягощенных смертоносным оружием.

Он отчаянно рванулся, потом еще раз, рискуя свалить на себя упавший ствол.

– О, майн гот! Што это есть такой? – послышался Дунаеву голос совсем рядом.

– О герр Шруппе! Я фас умаляйт!.. Бутте претельн... осторошн... – раздался другой голос, потоньше.

– А, шшайсе! Дас ист зоо гроосе катастофен! – кричал уже ряд голосов.

– Пешим отсюден! Скорейт... дас ист... пфф... ууу... дас ист ушас! – завопил первый голос, и послышалось громкое топанье. Подняв голову, парторг увидел убежавших немцев. Хрустел папоротник, ломались кусты малины. А к дереву подходили уже новые немцы. Один из них бросил гранату, и она разорвалась по другую сторону дерева. Дунаева дернуло за руку, он дернул обратно, и руку отпустило. В эту секунду огромное основание дерева стало стремительно падать на Дунаева. Он метнулся вбок, влетев на ударной волне в самую гущу малинника. Рядом рухнуло дерево, раздалось страшные крики, стоны, громкие остервенелые команды, лай собак, звуки автоматных очередей. Поднялся невероятный шум, кто-то даже орал в мегафон. Парторг лежал, свернувшись, весь в малиновом соку. Медведь, этот чудовищный ужас, неожиданно защитил его от верной гибели. Но защитил ли?

«Ой, рано сказал. Ой, раненько», – подумал Дунаев.

Сквозь листья малины он увидел, как офицер ударил струсившего солдата. Другой офицер и несколько эсэсовцев внимательно осматривали рухнувшее и развороченное ударом гранаты дерево и расплюснутую древесную труху – то, что осталось от деревянного медведя. Эсэсовец поднял с земли кусок медвежьей лапы, отлетевший в сторону, стал рассматривать. Подошел другой. Это были майор Клаус Шуб и капитан Рихард Яворски, офицеры тех частей СС, которым было поручено наблюдать за порядком на только что оккупированной территории.

– Герр капитан! Как ви думайт – што это ест такой? Што нам скажайт герр Майзен, если подумайт фо фторих?

– Трудно скасать. Я думайт, што это есть один их тех кляйне фрагментен, что я так любил ин майн детство.

– Фи хотит скасайт, што дас ист скульптурен? Ф таком случай, кте терефня? Федь только поплисост от терефень он ест ставит ритуалистише баум-скульптурен! Их фидел такой ишо в Литуанише! Фи знайт оп этом?

– Конейшно! Дас ист гроссе интересант! Вундербар! Я писалъ оп это кляйне теоретише текст ин айне «Этнологише Арбайтен». Фюр майне фолькекунст штудиен я приехалъ в Русланд. Ви знайт, эта страна есть просто драгоценный сокровищ фюр этнолог. Фот, например, этот айне фрагмент. Мы имеем кайне анунг оп этот древний метод, каким работаль альтер руссише мюжик. Обратите Фаше фнимание: странный состаф, которым пропитан этот древесин.

– О! Фи толшен пит осторошен! Их слишаль о партисанен опичай, метод. Они сильно пропитывайт фетиш ятом. Этот ят смертелен фюр аллес. Нато пить претельн фниматэлн. Этот состав может пить ятом. Фам лютше не трогайт руками.

– Ерунта! Фпрочем, сейчас меня польше интересирен трукой фопрос...

Парторг вдруг перестал понимать их речь. Раньше, видимо от пережитого ужаса, ему казалось, что немцы переговариваются на ломаном русском языке. Теперь в сознании мелькнуло случайное прояснение (может быть, оттого, что ему в рот попала ягодка малины и ее сладкий вкус... «знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...»). Голоса немцев отдались, интонации и тембр перестали быть карикатурно убыстренными. Теперь они говорили по-немецки, и гораздо меньше и невнятнее, чем казалось только что.

Зато тянущее бредовое чувство, как бы неодолимая тяга в печной трубе помутнения, отхлынувшее от головы, переместилось в ноги – ноги вроде бы удлинились и потекли куда-то в глубину зарослей, в сладкую хвойную тень спасения. Или кто-то тащил их?

Тело парторга поддалось этой «тяге» и бесшумно поплыло сквозь кусты назад, прочь от немцев, мягко лавируя между ветками и листьями. Пучки спелых ягод тихо и мелко ударили по лицу. Эсэсовские фуражки уменьшались, становились миниатюрно-изысканными, словно из мейсенского фарфора, удалялись в глубину мягкого зеленоватого коридора. В шелесте этого плавания парторг затерялся, но все же краем глаза успел разглядеть, что тащит его сзади что-то серое, стелющееся и протяженное, как длинная ковровая дорожка, выцветшая от времени и впитавшая в себя все сумерки на свете.



Глава 7 Волчок

Он очнулся от света керосиновой лампы. При этом в окна сарая, где находился Дунаев, лился яркий свет луны, и серебристо-золотистое сияние сообщало всему заброшенно-далекый оттенок, будто это было такое место, что и «пойти туда, не знаю куда» ближе и понятнее, чем этот сарай с темными углами. Впрочем, в сарае было чисто, видно, он недавно был поставлен. «Перед самой войной», – подумал парторг. Почему-то он поднял непроизвольно бинокль к самым глазам. И увидел.

Одна из стен сарая кишела крошечными белыми червячками. Они суетливо изгибались и быстро перемещались, как бы сплетая петли какого-то узора. То там, то сям на стене были прикреплены куски сырой земли с мхом, вокруг этих кусков червячки группировались в плотную массу, видимо высасывая из мха питательную жидкость.

– Что это еще за гадость? – громко спросил Дунаев.

– Их у нас называют «литераторами», – спокойно произнес тихий голос за его спиной.

Дунаев резко обернулся. В самом темном углу избы лежал серый рулон какой-то толстой материи.

– Обычно они живут под мхом, но эти «искусственные», то есть в неволе выращенные. А «литераторами» их называют потому, что они пишут. Гляньте-ка!

Дунаев посмотрел на червей и увидел фразу: «*А зеленого-то у них и нет*», – которая тут же распалась. Вглядевшись пристальнее, он различил теперь иероглифы и постарался вспомнить то, что учил во время советско-японских конфликтов перед войной. Но ничего не мог понять. Потом вдруг появилась немецкая фраза: «*Ниманд коммит цурюк!*» – написанная витиеватым шрифтом югендстиля. Вспомнив о голосе, парторг отнял от глаз бинокль и обернулся опять.

– Я их долго пестовал, – печально продолжил голос. – За это меня называли Начитанным. Я прочел около трех тысяч фраз, никак не связанных между собой, написанных разным шрифтом, на разных языках, и за это получил прозвище Интеллигент. Однако некоторые называли меня «Запятнавшим свою репутацию». Но теперь все это в прошлом. Я уже не тот, что был еще вчера. Отутюжил меня Сусечный.

– Сусечный? Это не тот ли, кого Скребеным называют?

– Он самый. Вернулся и куролесит по родным местам, пока Баба с Дедом не забаяюкают.

Приглядевшись, парторг обнаружил, что серый рулон в углу – это сплюснутый до толщины ковра и скатанный волк, однако живой и невредимый. От волка шел запах крови и пар, однако голос был интеллигентный, с едва заметным подвыванием в некоторых гласных.

– Вот послушай, что скажу, – обратился волк к подошедшему Дунаеву и сверкнул глазами из глубины рулона. – Присядь.

Дунаев сел на корточки и стал слушать.

– Были одни люди, которых другие называли «перетрухан». Идет такой по деревне, рожа блестит, и вдруг весь затрясется, зубами застучит, вокруг все дернется, и в глазах у тебя весь вид передернется. А «перетрухан» раз – и исчез. Остальные люди их боялись. Однажды перетруханского старика убили, спустя время и еще стали убивать по разным местам. Вот перетруханы собрались да и ушли в лес. А лес большой, вот и зашли они в места, которых никто не знает, за болотами, да за буреломами, да за Черными деревьями. Есть такие недалеко, там все черное, как обугленное, – и деревья, и птицы на них, и избы, и люди в них, и все добро. Даже белки глаз у людей черные. И земля как уголь.

«Испытания меланина», – подумал Дунаев и краем глаза заметил, что рулон едва видимо извивается и миллиметр за миллиметром пододвигается к нему.

– Ну перетруханы и зашли в самые глухие чащобы, там стали лес валить. Обтесали бревна, построили избы высокие, амбары да сараи, частоколы и стали жить. Дверей да окон нет почти, ведь перетруханы сквозь стены проходят. Вот мы с тобой в перетруханском амбаре и находимся. Немцы сюда не дойдут, не бойся.

– Это все хуйня, – ругнулся Дунаев, но в его голосе прозвучало добродушие (рукой он сжал в кармане пыльника тяжелый бинокль, на случай если волк сунется к нему). – Ты мне, браток, лучше скажи, как на Метеного выйти, дело у меня к нему есть.

– Э-э-э! Метеный... Не Метеный он, а Беглый. Сначала замели, потом сбежал. Не откинулся, как дураки говорят, а именно сбежал. Но ни хуя, он у меня все равно отсосет! Он у меня поплачет, пидорас лысый!..

– Он что, татарин? – вдруг спросил Дунаев.

– Да какой там татарин! Ты что, хуйнулся? Да вот же и сам он пожаловал! Полюбуйся!

Парторг обернулся к двери, но там никого не было. В эту же секунду что-то мягкое навалилось на него: рулон до половины развернулся и опутал тело несчастного Дунаева. Дунаев рванул руку с биноклем и ударил перед собой что есть силы. Бинокль прорвал удушливую шкуру. Парторг ударил еще несколько раз, и образовалась дыра. Под страшный вой и визг он вывалился в нее и полетел. Все внезапно передернулось, парторга встряхнуло и несколько раз заклинило. Три раза свинцовая тяжесть охватила его, потом отпустила. Опять все дернулось, и Дунаев увидел перетрухана.

Выглядел тот гадко, но парторг был настолько разъярен, что кинулся на него и замахнулся биноклем. Что-то ударило (по-видимому, парторга ударили по голове), он упал глубоко вниз и оказался в траве. Встал и побежал по лесу. И вдруг увидел перед собой большой ржавый бак. Он вспомнил слова Пенька: «Иди вдоль, потом, после развилки, поперек, потом внакладку, а уж после второго рябинового куста вприсядку. Достигнешь ржавого бака, постучи по нему раз пять».

Дунаев приблизился к баку. Видно было, что и здесь прошли немцы: во многих местах бак был искорежен и пробит пулями. Видимо, немцы стреляли по нему издали, опасаясь, что в нем кто-то скрывается. Тем не менее парторг схватил с земли палку и изо всех сил ударил по баку пять раз. Тут же поднялся ветер. Парторг вдруг увидел, как по земле сама собой разворачивается в темноте тропинка, наполненная свистом.

– Беглый идет! – догадался парторг. В конце тропинки показался стремительно приближающийся предмет. Сначала он казался Дунаеву шаровой молнией, потом детским мячом. Потом он разглядел на круглом предмете смутные черты лица, то ли страшно сглаженные и еле видные, то ли робко нарисованные: закрытые глаза, улыбающийся рот.

«Да это, никак, Колобок, – оторопело подумал Дунаев, – из детской сказки. Вот он, еб твою мать, Метеный! Как же я сразу не догадался! Ну да: “По сусекам скребен, по амбарам метен”».

Колобок пронесся мимо и углубился в чащу, оставляя за собой светящийся, извивающийся след, имеющий вид тропинки.

Парторг понял, что должен идти по ней, и поддался безмолвному приказанию. Тропинка петляла, уходя все глубже и глубже в чащу. И Дунаев брел по ней, без мыслей, без чувств, даже без усталости, слегка прищутив глаза, в развевающемся грязном пыльнике, небритый, со свалывшимися волосами, в которых застряла земля и трава.

Иногда он останавливался, чтобы поесть ягод или незрелых лесных орехов. Иногда садился на землю и сидел несколько минут, уставясь в пустоту. Потом шел дальше. Его охватило послушание и безразличие. Так шел он всю ночь и перед рассветом увидел, что чаща стала непроходимой, а тропинка обрывается и в конце ее сидит небольшой, неподвижный, толстый человек с белой лысой головой.



Глава 8

Бо-Бо

Тут все завертелось перед глазами Дунаева, поплыли какие-то ушанки, пепельницы... Он рухнул на бок и погрузился во тьму.

Очнулся он, когда уже сгушались сумерки. Прямо перед ним светилось белое круглое тело. Глаза со зрачками в виде спиралеобразных завитков, маленький ротик, полуатрофированные ручки и ножки. Чем-то это существо было похоже на гигантское яйцо, сваренное вкрутую и только что очищенное от скорлупы.

– Вылупился, родимый, – с нежностью крайнего ужаса сказал Дунаев.

Бо-Бо вытянул вперед безжизненную белесую конечность, и Дунаева сжали железной хваткой за горло пять длинных упругих пальцев. Приподняв парторга, как соломинку, Бо-Бо поднес его ко рту, перед тем несколько раз встряхнув, чтобы смахнуть налипшую грязь. Дунаев чуть не задохнулся, по всему телу прошли спазмы удушья. Затем он ощутил наслаждение. Стремительно стал подниматься член, и через секунду из него брызнула в штаны сперма. После спермы полилась моча... И парторг рухнул в теплые влажные наросты и извилистые языки, покрывавшие внутреннюю полость рта Бо-Бо. Горло уже отпустили, и Дунаев стал вертеть шейю, чтобы укрыть лицо от налипающих слизистых оболочек. Он провалился в огромный желудок и закружился среди каких-то мягких предметов в жидкости, во тьме. Он чувствовал, как его мозг размягчается, как становятся все мягче и мягче кости. Тело, словно резиновое, стало принимать неестественные гимнастические позы, становясь все тоньше, все гуттаперчевее... Глаза растаяли, и Дунаев потерял сознание. Мозг его растворился в желудочном соку Бо-Бо.

Какая-то муть, не растворившись, оседала вниз желудка, ближе к анальному отверстию. И там собиралась в каловые образования, являющиеся точными копиями тех предметов, которые были поглощены. Там же оказался и Дунаев, темно-красного цвета.

Он снова ощущал себя, но не так, как прежде. Все в его теле казалось новым и недолговечным. Каждый орган, как говорится, то кричал, то исчезал.

И тут его потянуло в сверкающий, как бы иллюминированный коридор – это был Анальный Проход Бо-Бо. Он производил впечатление бесконечного, и скольжение по нему напоминало катание с горы на салазках.

Наконец произошло что-то, отдаленно похожее на взрыв, и Дунаев выпал из Бо-Бо, наполненного леденящим ветром и шелестением внутренних сумок и карманов, в темноту. Падение его продолжалось некую вечность, но бодрствовал он только иногда, глупыми ночными урывками.

Ум молчал, но новое сердце, слепленное из говна, знало, куда он падает, и ждало.

И наконец он упал в него, в долгожданный Творог.
А встречу-то уже подготовили!
Все Священство в сборе!



Глава 9 Священство

Вокруг, до самого горизонта, дышал бесконечный Творог, белоснежный, теплый, по вкусу напоминающий пасху. Где-то в неизмеримой глубине Творога раскрывалось темное нагноение с каверной. Дунаев ощутил восторг и блаженство конечного достижения и в то же время острый ужас перед этим гнилым Овражком в сверкающей массе Творога, перед этой дырой, таившей в себе чистейшее, как алмаз, Неизвестное. Сквозь него прошел блаженный вкус Творога, сдержанно-сладкий, вечно-свежий и пресный, неопиcуемый, и этот вкус содер-жал в себе все время от начала и до конца, и всю вечность, и непостижимо свернутое в себе пространство. И вся сложность, и вся простота этого вкуса были неисчерпаемы, и мимолетны, и так захватывали дух! Первозданное неведение вещей... Постепенно он стал ощущать некую беготню и, присмотревшись, увидел множество маленьких православных священников, бегающих быстро туда-сюда, как в немом кино.

Они строились в торжественные шеренги и, наконец, двинулись на Дунаева, колоссальной медленной армией крошечных сверканий, в бело-золотых, черных и зеленых облачениях, в золотых митрах и расшитых камилавках, с хоругвями, помахивая серебряными кадилами, в которых курился ладан, с величественным невнятным пением.

Они надвигались плавно, в колыхании свечных огоньков и воскурений приближаясь по воздуху прямо к глазам Дунаева. Вскоре он уже мог разглядеть их лица, четкие, как крылышки насекомых под увеличительным стеклом. На всех лицах лежала печать невыносимой старости, глаза были заплаканы, и слезы струились по морщинистым щекам и застревали крупными отсвечивающими каплями в седых бородах.

Благолепие их пения заставило и Дунаева расплакаться, и он даже прошептал новыми (чересчур влажными и холодными) губами слова молитвы, всплывающие откуда-то из глубин памяти: «...Яко тает воск от лица огня...»

Процессия приближалась к нему, и впереди стоящие священники стали кадить ладаном и брызгать ему на щеки, глаза и подбородок святой водой, пока старец с двумя древними крестами на груди читал молитву «На освящение морских судов». Дунаев почувствовал вкус их слез и подумал: «Наверное, меня отпевают», – а потом догадался: «Отпевают не меня, себя отпевают», – и внутри привычно ухмыльнулся закаленный безбожник.

– Души-то у меня теперь, наверно, нету. Нечего отпевать. Не по адресу пришли, попки! – крикнул он яростно, отчего несколько священников у его рта отлетели назад и смяли сзади стоящих. Все они зажали уши.

– Мы не попки, – сказали голоса ему прямо в ухо.

Отвращение к попам, вдруг нахлынувшее как будто из прежней жизни, так же внезапно и схлынуло. Он затих, и мощная всеильная Литургия зазвучала у него прямо в голове: поющим голосам не было предела, и золотистая сила, словно бы поджаренное, горячее и заскорузлое сияние, била по губам, вливалась в ноздри, заливала глаза. Священство ликовало, и ликование было смешано со слезами, запахом елея и ладана, а также с привкусом еловой хвои и еще одним привкусом – химическим, отчего-то осевшим у Дунаева на губах.

– Мы не попики, мы лесные клопики! – снова выкрикнули голоса в самое ухо, и в голосах звучало брызжущее веселье. Голоса были молодые, девичьи, а может быть, и детские.

Дунаев сладко и радостно засмеялся, и тут два черных монаха в одинаковых простых камилавках, раньше затерянные в пестрой толпе белого духовенства, отделились и достали из воцерковленного Творога какое-то существо, видимо святое.

Это была девочка, обутая в белые перистые шары, состоящие из особо мелких ангелов. Глаза ее были закрыты, а одежда была какая-то мятая и неопределенная, как на старой кукле, долго пролежавшей на скамейке в осеннем саду под затяжными дождями, когда рядом на даче неумело затапливают печку и в ожидании ежевечернего спиритического сеанса пьют чай с вареньем и читают вслух Ренана или «Князя Серебряного». Девочка, видимо, спала, так как монахи несли ее осторожно, медленно. Их румяные старческие лица при этом лучились от радости.

Дальше сделали вот что: вырвали Дунаеву клочок волос на макушке, затем основанием медного креста выдолбили или вырыли в голове что-то вроде норки или могилки (больно ему не было, плоть казалась рыхлой и податливой, как земля, а костей вообще не чувствовалось). И в эту норку уложили спать девочку, предварительно отпустив на волю мириады мелких ангелов, окутывавших ее ноги.

Ангелы порхнули и равномерно покрыли все, как снег.

Девочке в норку постелили постельку из парчи, а потом накрыли одеяльцем.

Замазали рану елеем и воском и сказали Дунаеву:

– Зовут ее Советочка, потому что советы подает. Ты за Советы сражаться идешь, вот за ее советы и сражайся. И знай: советская земля – это твоя голова теперь. А первое имя ее – Машенька-Котомка, потому что соблюла невинность ради Котомки, а потом ею ради Пирожков пожертвовала. И сама Пирожком стала, а Начинки никто не пробовал. А третье имя ей – Снегурочка, потому что, будучи Пирожком, прыгала с другими девочками через костер и вдруг растаяла. Тогда ее стали лепить в разных местах из снега, а Дед этих снегурочек скатал в ком, смешал снег с тестом и Колобка сделал. А тот пошел куролесить, на Лису попал. А как откинулся с Лисы, так совсем остервенел и Бо-Бо стал. А теперь все изменилось. Откидывайся в избушку вернулся и спи. А из остатков выпестовали в Твороге другую девочку, ножки ей Премудрым Медком мазали, и это ангелов сильно привлекало. Они обседали и ножки лизали, медок слизывали. А от ангельского лизания святость вверх шла, и в святости этой она выпекалась. Ты ее зря не буди, пусть в головке спит-почивает, а как крутизна нагрянёт да прижмет тебя по узкому или по широкому делу, так ты ее кликни – она совет подаст. Это у нас самая новенькая, самая молоденькая покровительница родимых краев, и это тебе бесценный подарочек и благословеньице от нашего Священства, потому как ты теперь важной нелюдью заделался и за людей побиться должен. Теперь ты Колобком будешь, и нарекут тебя Сокрушительный Колобок, потому что выпестуют в тебе Чудовищную Мощь да и поддадут ногой под зад. Иди, тайные правды учи, только хуй не дрочи.

– Да что вы... разве же я... – мягко и расслабленно мотал головой Дунаев. – Что вы, попики.

– Мы не попики, мы слоны да тропики! – вокруг рассмеялись, грянул колокольный звон, Священство расступилось, и парторгу открылся путь внутрь Творога – страшная гнилая дыра по имени Овражек. Он двинулся туда, куда его неодолимо влекло, и сквозь мякоть, сыворотку

и слоения увидел в конце сужающегося коридора черную поляну и на ней белую избушку, покрытую как бы инеем, а возможно, и клеем.

В этот момент видения схлынули, и Дунаев снова был один в лесу, а вокруг была ночь. Он нашел себя лежащим в какой-то грязи. Воздух был наполнен запахом воды и нежным шелестом: шел ночной дождь. Видимо, его холодные капли, упав на лоб человека, пробудили его к жизни от навязчивых грез. Он встал и, шатаясь, прошел несколько шагов. Подняв мокрое лицо от земли, он увидел впереди, среди расступающихся деревьев, черный контур крыши и печной трубы, из которой вился слабый дымок, белеющий на фоне ночного неба. Сквозь ветки и тьму тускло светился огонек в окне.



Глава 10 Избушка

Дунаев, шатаясь, подошел поближе и уперся в забор, на кольях которого сидели горшки и горько улыбались трещинами. За изгородью ходил петух и сверкал синими глазами. Черная курица ходила неподалеку. Дунаев вдруг прошел сквозь забор. Бревенчатые стены избы ярко блестели при луне, будто смазанные белым клеем.

Дунаев встряхнулся: изба стояла перед ним и была реальностью. Он смущенно потрогал бревенчатую стену, поглядел на крышу. Никакого инея или клея не было видно – обычная крыша, крытая давно каким-то подгнившим тесом, а кое-где заделанная полосками ржавой жести. Сбоку – колодец. Стараясь ступать бесшумно (голос здравого смысла, звучащий иногда вопреки всему с краев сгущающегося бреда, подсказывал, что и здесь могут быть немцы), он подошел к окну и осторожно заглянул внутрь. Сквозь щель между ситцевыми занавесками в мелкий цветочек он увидел обычную комнату, похожую на обиталище лесника. В русской печке теплились угли, на стене висело охотничье ружье, в углу стояла кадка и деревянная скамья. За грубо сколоченным столом на сундуке сидели два человека: старик и старуха. Впрочем, после потусторонней неисчерпаемой старости, отпечатавшейся на лицах Священства, эта естественная человеческая старость показалась Дунаеву только что возникшей, а седые волосы и морщины были как будто пропитаны младенческой упругостью.

Старик, загорелый, сухощавый, в полотняной рубашке, медленно ел похлебку деревянной ложкой. Баба неподвижно сидела напротив, сложив морщинистые руки на животе. Голова ее была повязана белым платком.

Дунаев тихо постучал.

– Кто будет-то? Если русский человек – входи, а не русский – изыди, – тихо-тихо сказал голос старика за дверью, немного погодя.

– Да свой я, парторг Дунаев, партизан разыскиваю, – тихо ответил парторг. – Открывай, дедуля!

Задвигались засовы, и дверь открылась, пропустив Дунаева в темные сени. Запах погреба и пыли смешивался с запахом сена и деревянных досок.

– Проходи, сынок, прямо в комнаты, а тут сапоги сыми, – шепотом сказал дед. От него пахло салом с чесноком и солеными грибами.

– Эх, батя, света нет, посмотрел бы ты, какие у меня сапоги! – усмехнулся Дунаев, ведь он был абсолютно голый. Но он спокойно прошел из сеней в комнату, где стоял деревянный стол и сидела баба. Глаза у бабы были заплаканы. При виде Дунаева она охнула и закрыла лицо руками. Под причитания бабы тот схватил полотенце и завернулся в него. – Не бойсь, баба, я уже одетый, – попытался пошутить Дунаев.

Баба плакала:

– Ох, бедненькой, ох ты, мой родименькой, и где ж ты так? Кто же тебя так, голубок мой ненаглядный? Ох, боже спаси!

– Тише, баба. Добро, что человек от немцев ушел. Парторг завода перед тобой, так что иди баньку топить, – произнес дед, входя. – Я тебя, сынок, сам выпарю так, что как на свет заново родишься! Венички хорошие смастерил! – И дед широко улыбнулся.

Дунаев тоже улыбаться начал, но улыбка как-то странно натягивала кожу. Он чувствовал себя ватным, на коже выступила испарина.

– Щас я спирту принесу, – успокоенно-хлопотливым голосом затараторила бабка, уходя в другое помещение. – Спиртику родимому нашему, милочку горемычному.

Дунаев сел за стол и съел кусок хлеба. Очень странным, непривычным показался ему вкус хлеба, как будто впервые он ел его. Кусок упал куда-то в глубь тела Дунаева и там осел. Тут подоспела баба со спиртом и солеными огурцами. Дед налил стакан и протянул парторгу. Дунаев взял и посмотрел на деда, который поднял стопочку и тихо сказал:

– За победу! За Советскую власть!

– За победу! За Советскую власть! – почему-то шепотом повторил Дунаев и, чтобы заглушить смущение, опрокинул стакан в рот. Спирт обжег его изнутри, перекрутил несколько раз, и он весь засветился ярко-белым светом, желтоватым снизу и доходящим до алмазного сверкания сверху, в области головы. Дед с бабкой отпрянули в дальний угол, к иконам, и мелко закрестились, охая и нагибая головы. Затем они куда-то исчезли. Дунаев сидел, ослепленный собственным сиянием. Он усилием воли открыл глаза и рот. Увидев все окружающее как будто сквозь морскую воду, он втянул воздух в легкие, и неожиданно сияние ушло в рот и погасло внутри. Теперь все выглядело нормально. Минут десять спустя дед с бабой вернулись и позвали Дунаева в баню. Они вышли на крыльцо. Дед набросил парторгу на плечи старую, еще с гражданской, шинель, сам шел с керосиновым фонарем. Бабка семенила сзади с вениками. Банька стояла на отшибе, в глухом месте, от нее шла с двух сторон изгородь. Домик густо зарос мхом, кустами и елками.

– Банька-то у нас колодезная! Прямо вокруг колодца строили и колодец спрятали. Плохо, если такую водичку подлый немец пить станет, – бормотал дед.

Зашли в баньку и осветили ее. Они стояли в предбаннике, где был столик и две табуретки.

Все русские предбанники чем-то похожи друг на друга. В них всегда присутствуют какие-то мелкие пучки чего-то сухого, чего-то такого, что могло бы понадобиться людям уже умершим или еще не родившимся. Есть там и мелкие полураспавшиеся тряпочки, которые в других местах стали бы скопищем грязи, здесь же поражают неожиданной чистотой, как бы вываренностью, символизируя тем самым, что крошечное и угрюмое пространство с бревенчатыми стенами есть вход в пределы очищения. Наконец, когда пар стал настолько густым, что его струйки просочились в трещинку на стекле крошечного оконца, они вошли внутрь. Дед сноровисто возился с кадушками, отмачивал веничек в душистом кипятке, пахнушем березовыми листьями.

Дунаев сидел на мокрой лавке голый, потеряв себя среди горячего пара, запрокинув голову.

Ему было хорошо. Казалось, пережитый кошмар отступает куда-то далеко, расплываются застывшие в душе мучительные и болезненные сгустки. А когда дед обдал его с ног до головы горячей водой и стал охаживать веничком, Дунаев забыл про то, что пришла война, забыл про немцев, забыл про завод: он почувствовал себя вернувшимся в детство, в свое далекое деревенское детство.

Ему казалось, что он жаворонок: таким, в вышине парящим над землей, он видел себя в глубоком детстве во сне. Крошечные домики среди квадратов полей, маленькие озера, ковер пушистого леса – все это лежало далеко внизу, было ярко освещено солнцем. Затем Дунаев ощутил, что он стремглав бежит по пшеничному полю, голый по пояс, рассекая пшеничные колосья, мягко хлещущие его по голове и телу. После этого пошли круги вокруг него, и он понял, что плывет по реке, задевая ветви ив, свисающие до самой воды. Вдалеке в тишине квакали лягушки. Нахлынул сырой запах, потом он потеплел и стал запахом костра. Сгустилась ночь, и только были ярко освещены лица у сидевших у костра и мохнатые морды собак, лежащих между ними.

Наконец ушат холодной воды пробудил его от грез. Растираясь чистой тряпицей, Дунаев вышел в предбанник, сел на лавку.

– Ну что, ожил, милочек? – подмигнул ему дед.

– Да, отец, прям как заново на свет родился.

Старик хихикнул.

– Что за места, отец? – спросил Дунаев.

– Да как тебе сказать... Места глухие, дремучие. Далеко ты забрался. Дней пять промотался небось по лесу. Здесь до ближней деревни дня три топать пешком, а иначе никак не пройдешь. Зовут же деревню Сутолочь. Да только там таперича никакой сутолоки нет и живой души не сыщешь. Потому как народ оттедова уходить стал, да весь и ушел. Остались три двора, да там старичье, вроде меня, с печей не слезает.

– А что так? Почему народ ушел?

– Да пересуды пошли, что лес здесь больно нечист стал, али кто-то на людей страху нагнал, – дед снова рассмеялся прозрачным, радостным смехом. – Народ-то темен в здешних краях. Вот в Ежовку все и подались, что много к югу лежит. Там и сельсовет был.

– А теперь что же?

– Все, как есть, немец пожег. И Ежовку пожег, и Ореховку, и даже Воровской Брод. Одни головешки торчат. Черным-черно.

– Да я знаю... я слышал... – пробормотал Дунаев, и в голове у него мелькнуло смазанное воспоминание о чьих-то словах: «...все в тех деревнях черное, как обугленное, – и деревья, и птицы на них, и избы, и люди в них, и все добро...»

Старик смотрел на него, весело прищурившись.

– Да ты не бойсь, парторг, – подмигнул он Дунаеву. – Сюда немец не забредет, здесь места гиблые. С юга болота лежат, с севера чаща непроходимая стоит. Схороним тебя. Мы с бабой бездетны, вот ты нам заместо сыночка и будешь.

– Спасибо, отец, только не время сейчас мне тут по-пустому отсиживаться. Война на дворе. Надо партизанский отряд организовывать, с фашистской нечистью сражаться. Раз уж забросило в тыл врага, значит, здесь мой боевой пост. Надо бить немцев и в хвост и в гриву.

– Ишь ты какой! – усмехнулся старик. – Уж и в хвост захотел. Это надо умеючи. Горяч ты больно, нетерпелив. Как парень, на свидание собираешься. А немец не прост. Вот поживешь с мое, узнаешь, какие закавыки в человеке незнакомом открыться могут. Я-то с немчурой уж повоевал в свое время. К нечисти присматриваться надо, ежели хошь ее одолеть. А так чего?

Пойдешь ты в леса да болота да и сгинешь там – людей вокруг на незнамо сколько нету. А если и выйдешь на обжитые места – немцы схватят, и конец борьбе. Себя беречь надо, сынок. Ты ж парторг. Ты Родине советской другую службу служить должен.

– А какую? – поинтересовался парторг.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – лукаво захихикал дед. – Пошли, милоч. Не обессудь, если не до конца угодил.

– Да что ты, дедушка, я земной поклон тебе кладу. Спас ты меня, право, от смертной погибели.

– Не надо, милоч, – и старик ласково потрепал Дунаева по плечу. – В свое время отблагодаришь.

Они пересекли двор и подошли к задней стене избы. В темноте Дунаев различил огромную пещью будку. При свете луны слабо блеснула цепь.

– Здесь наш Боборыкин живет, – спокойно произнес дед. – Он всех нас зорко охраняет.

Он наклонился к будке и стал выманивать кого-то, прищелкивая пальцами и посвистывая.

Раздалось сопение, и из круглой дыры выглянула собачья морда. Цепь брякнула. Дунаев присел на корточки, чтобы погладить собаку.

– Ишь ты, какой славный пес! – сказал он и протянул руку, но она застыла в воздухе. Морда Боборыкина оказалась вблизи вовсе не собачьей, скорее это было лицо обезьяны, имитирующей крайнее человеческое страдание.

Блеснули оскаленные зубы.

В следующее мгновение выражение обезьяньего лица изменилось, брови сошлись на переносице, подбородок выдвинулся вперед.

Дунаев испуганно отпрянул. Старик рассмеялся.

– Боборыкин у нас большой кривляка. Он червей обожрался, теперь кривляется. Ну, ладно, пошли в избу.

Дунаев вдруг ощутил прилив подозрительности.

– А откуда ты это все знаешь? – спросил он деда, глядя на него в упор.

– Что все?

– Ну, про деревни, что там немцы сожгли...

Дед засмеялся и отвел светлые лучащиеся глаза.

– У нас в лесу своя информация. Сорока на хвосте принесла.

– Ты, дед, со мной не хитри, – посуровел Дунаев. – Говори начистоту.

Старик снова засмеялся.

– Что-то ты больно смешлив! – настороженно наступал на него Дунаев. – Сейчас вроде бы не до шуток – время какое. А ты все смеешься. И когда про деревни сожженные говорил, смеялся. И слова какие непростые знаешь – «информация». Да ты не простой мужик. Может быть, ты из беляков или бандитов недобитых, что по лесам отсиживаются и немцев ждут не дождутся? А ну говори, кто ты такой! – Он быстро шагнул вперед и схватил старика за ворот полотняной рубахи. В тот же момент он почувствовал страшный удар, будто волной раскаленного воздуха. Его отбросило далеко назад, и с такой силой, что его тело шмякнулось о ствол старой ели и опрокинулось на землю.

Он долго не мог подняться – руки старика помогли ему встать. Он услышал ласковый голос деда:

– Не спеши, сынок. Придет черед: все узнаешь и даже больше того. А теперь пошли в избу, надо тебе отоспаться. А то с голодухи да усталости, вижу, ум за разум заходит.

Поддерживая парторга, дед отвел его в избу и уложил на полати. Сам со стаканчиком и тряпочкой примостился рядом с лежащим на спине Дунаевым и, плеснув спирту на тряпочку, быстро растер его с ног до головы, перевернув три раза. Теперь тело не сияло, но из головы, из

того места, где лежала девочка, засветил в стену мощнейший столб света, как от прожектора. Дунаев выпил чашку отвара, сваренного бабой, и скоро начал погружаться в галлюцинаторный коридор, шершавый и бархатный, плюшевый и парчовый, глиняный, шерстяной, волосатый, ситцевый, шелковый, деревянный, металлический, ковровый, песчаный, стеклянный, граненый, рубиновый, изумрудный, жемчужный, угольный, резиновый, стальной.



Глава 11 Рассвет

Дунаев проснулся на рассвете. Стояла мертвая тишина. Птицы не пели.

В крошечное оконце были видны холодные, нежно окрашенные небеса. Парторг встал и увидел, что перед ним на сундуке аккуратно разложены его вещи: пыльник, бинокль, сапоги, рубашка, трусы, носки, серый костюм, галстук. Видно было, что вещи пытались почистить и привести в порядок, но они продолжали хранить на себе следы лесных скитаний.

Дунаев оделся, прошел в горницу. На столе стояла кружка с молоком и лежала краюха хлеба.

Он съел хлеб, запил молоком. Затем обошел дом – старика и бабы нигде не было.

«Уж не побежали ли они доносить немцам?» – встревоженно подумал парторг.

Он вышел во двор, наполовину заросший травой. Несколько кур и петух лениво бродили вокруг крыльца. Лес – высокий, еловый – окружал полянку со всех сторон неприступной стеной. Мысль о возвращении туда была ужасной, однако сидеть одному в избе, покорно ожидая неизвестно чего, казалось Дунаеву опасным. Он заглянул в конуру к Боборыкину, но и там было пусто, цепь лежала на песке.

За домом чернел покосившийся сарай, в котором блеяли козы, чуть подальше простирался огород, за ним виднелось несколько ульев.

«Хозяйство у них тут, – подумал парторг с неприязнью. – Укрылись от мира и сидят в глуши, кулачье сраное».

Он зашел обратно в избу, снял с гвоздя охотничье ружье и внимательно осмотрел его. Оно было недавно смазано и в полной исправности. Парторг нашел патроны, зарядил ружье.

– Хоть одного немца да убью, – решил он.

Однако шел час за часом, а никто не появлялся: ни немцы, ни старик со старухой, никто другой. Солнце прошло зенит и стало клониться к западу. Дунаеву захотелось есть: он нашел в печи горшок со вчерашними щами и съел их. Наевшись, он долго и тупо сидел за столом, держа ружье наготове и не думая ни о чем. В крошечном зеркальце над раковиной он случайно увидел свое лицо: оно было осунувшимся, покрытым щетиной, с царапинами на лбу. Один раз над избушкой пролетело несколько военных самолетов, видимо немецких, – Дунаев не успел разглядеть.

Когда стемнело, Дунаев зажег керосиновую лампу и снова стал ждать. Одиночество угнетало его.

Дунаев сидел, сидел, да и заснул, положив руки на стол и уронив голову на руки. Керосиновая лампа мигала рядом с ним и вдруг погасла. Но Дунаев уже не замечал этого, он крепко спал. Из-за сундучка вышла мышка и на тонких ножках стала бегать вокруг скамьи, где сидел Дунаев. Ему снилось, что у него очень быстро портятся зрение, слух, обоняние и осязание,

но при этом развивается новый орган – девочка в голове. Иногда он освещал прожектором из макушки какие-то вещи. Почему-то вещи всегда оказывались освещенными сверху, хотя луч шел снизу. Вскоре он ослеп, оглох, потерял все способности восприятия и тут ощутил, что они были тяжелой обузой, искажали действительность. Воспринимая все девочкой из головы, он ощущал все естественнее и лучше, удобнее было ориентироваться в окружающей обстановке. Но странное дело – он находился вовсе не в избушке. И не в лесу. Судя по всему, это был какой-то немецкий город. Кое-где висели флаги со свастикой, проезжали мотоциклы с колясками, мимо проходили офицеры немецкой армии СС.

Дунаев ощутил себя советским разведчиком, внедренным в какую-то из тайных служб СС или абвера. В длинном кожаном пальто, в черной фуражке с маленьким элегантным черепом и руническими буквами SS на околыше он медленно шел вдоль улицы. Он должен был передать сообщение, встретиться со связным.

Связной – молодой человек болезненного вида – стоял у витрины магазина комнатных птиц, как было условлено. Нарочито медленным шагом Дунаев подошел к нему сзади и отразился в стекле. Во сне у него была другая внешность: лицо с печальными глазами, как будто слегка подведенными тушью. Он был высок, с кривоватой улыбкой, в которой светилось затаенное страдание. Глядя на птиц, он произнес пароль: «Я предпочитаю пустые клетки». Связной ответил, как и должен был ответить:

– Полагаю, вы любите тишину.

Дунаев незаметно передал ему свернутую трубочкой газету, в которую была вложена «информация».

Тут парторг почувствовал ужас, который предшествовал событию, как черная тень приближающегося убийцы, падающая из-за угла, возвещает о его присутствии. Действительно, через минуту их арестовали. Полубесплотные люди в плащах и шляпах запихнули Дунаева в автомобиль. Он успел заметить табличку с названием улицы: Моцартштрассе. В машине ясно проступило осознание надвигающегося кошмара: сейчас будут пытки, избиения, леденящая необходимость вытерпеть все это, сжав зубы, чтобы не назвать ни одного имени, ни одной даты, ни одного обстоятельства.

Вместо этого в голове Дунаева, в области макушки, зажглось теплое розовое сияние, он стал дико раздуваться, прижимая гестаповцев, сидевших по обеим сторонам, к дверцам автомобиля.

Глаза у него вылезли из орбит, и почему-то его переполнила какая-то низменная, идиотская гордыня, совершенно неуместная в этот момент.

– Я гений! – заорал он внезапно, совершенно неожиданно для самого себя. – Я гений! – Его голос становился все громче и громче. Когда он в третий раз проорал: «Я гений!» – голос был оглушительным. Гестаповцы закричали от страха и боли.

«Мерседес» врезался в парапет и распался. Неряшливо расшвыривая куски железа и немец, Дунаев потопал к трамвайной остановке, продолжая раздуваться. Он испытывал дикую смесь стыда, страшной силы и необузданной воли. Увидев трамвай, парторг уже не шел, а катился ему навстречу, давя каких-то людей в штатском, некстати выбежавших из-за угла. Он схватил трамвай, смял его, как гармошку, и закинул аж за квартал. Трамвай пробил крышу жилого дома. Там раздался взрыв, Дунаева тряхнуло. Затем внизу, в гигантской тени парторга, появился высокий седой фашист с фуражкой в руке. Недалеко стоял его изящный автомобиль.

«Видимо, генерал», – подумал Дунаев. Краем глаза он увидел, что за рулем автомобиля – женщина. Рядом с генералом возникла шеренга отборных красавцев с автоматами на черных ремнях. Они построились в линию и открыли огонь по Дунаеву. Но он не ощутил пуль, а прыгнул вперед и побежал, ломая деревья парка. Неожиданно он оказался за забором военной части. Под ногами мелко захлопали ящички с патронами. Но тут грохнула пушка, и на Дунаева

это подействовало как укол булавкой на воздушный шарик. Он обмяк, упал и накрыл собой, как одеялом, всю военчасть.

Он почувствовал себя совсем плоским и очень плотным: под ним что-то копошилось. По-видимому, люди, наполнявшие казарму, пытались спастись, но паника, мрак и духота препятствовали им. Дунаев прижимался к земле все плотнее, словно спрут, желая раздавить как можно больше людей. Убегавших из-под него он бил ладонями, как муравьев.

Так, дергаясь и извиваясь, он и проснулся. Тело его лежало на полу избушки, а разбудил его громкий смех.

– Славно же ты, сынок, воюешь с немцами! Поди, полгарнизона задавил.

Дунаев приподнялся и с удивлением увидел, что из-под его тела и вправду в разные стороны разбегаются муравьи. Перед ним, опираясь на палку, стоял какой-то старик и смеялся. Это был другой старик, не тот, который парил его в бане. Этот старик был маленький, сухой, как бы изъеденный молью или муравьями. Одет он был в какую-то бесформенную ветошь, на голове – низко надвинутая лыжная шапочка, в бороде (свалившейся и грязной настолько, что не проступала даже седина) запутались трава, сор и мелкие бумажки. Да и избушка изменилась. Все вокруг покособилось, обмякло, сморщилось, покрылось белесым налетом. На стенах были развешены гнилые пучки трав и кореньев, появились темные закоулки, притолоки и даже какие-то мутные, кажется неприличные, фотографии на стенах.

– Ты кто такой? – спросил Дунаев слабым голосом.

– Меня в здешних местах Поручиком зовут, – ответил старик со смехом. – А деда с бабой никаких здесь и не было. Это все я тебе пыль в глаза пускал. Обернулся сначала дедом с бабкой, да такими гладенькими, да сладенькими, да ласковыми, как в сказке. И все ведь так чисто подстроил, только вот Боборыкин чуть не подвел, ебать его в рот. Ну да ты и заподозрил неладное. Ушлый ты, красавец. Это и хорошо. Славный из тебя пустырь получится. А может быть, скажу так: славный из тебя выйдет воин. Ишь ты как меня, старика, просек. Ты, говорит, не мужик, слова не те. Ты, говорит, из беляков недобитых. Это правда. Я действительно в Гражданку у белых воевал, за то и называют меня Поручик. Потом в леса ушел и стал называться атаман Холеный. Только недолго мы куролесили: ребят моих частью поубивали, частью разошлись по ночным краям, а остальных я сам отпустил. А все потому, что я узнал тайные дела и здесь, посреди леса, в избушке поселился.

Научился кой-чему от того, что раньше здесь было. А оно потом ушло, все дела и избушку мне поручило. Так что теперь я в этом лесу хозяйничаю. Да не так, как прежде, когда ребята мои с обрезами да топорами по кочкам-тропкам маялись, а понадежнее. Захочу, будет просека, захочу – болото. Захочу, нечисть случится, или гроза, или колотун найдет. Захочу – инеем схвачу. Захочу – снежком позолочу. Захочу – никем обернусь. Вот как вчера. Ты ходил, ходил, а я за тобой да смеялся, как никакой. А ты ничего. А вот нынешней ночью решил с тобой по душам поговорить. Парень ты отличный, и если за что возьмешься, то из кожи вылезешь – а доведешь дело до победного конца. Но победа – дело тонкое. И разное оружие для победы надобно бывает. Вот, посмотри, немцы на вас с авиацией, танковыми орудиями, со связью, со шпионской сетью. А вы что? Одностволки с турецкой войны? Кавалерия? Окопы? По законам войны тот, кто лучшее оружие изобретет, – тот и победит.

Так вот, теперь на меня, Поручика, взгляни. У меня вообще никакого видимого оружия нет. А, однако, непобедим я, и ты мою силу почувствовал уже. Правда, чуть-чуть только, иначе бы тебя перевывернуло через Притык да на Подогрейку. Но я знал, что ты Несмеяшка, и сейчас не рад, что тебе открываюсь. Знаю, неверчивый ты – это тебя и ограничивает, шоры надевает. Хорошего человека не признать – все равно что в Подстежку наплевать... Но, конечно, воин должен быть настороже. Ты грамотный, хоть и сам того не знаешь. Обучить тебя быть воином легко. Да тебя и сейчас уже поразить нелегко, так что по всему видать – воин ты прирожденный. Да только втемяшил себе в голову, что гражданский. И счастье твое, что война

тебе подвернулась. Открою тебе – воины рождаются во время войны. И смотри – родился ты в турецкую, потом японская война, потом мировая, потом гражданская, и затем басмачи. Потом, не успели отдышаться, и финны, и снова японцы. Ну, а теперь главное твое время – самая большая война идет, больше ее не было. И только в войну достигнешь ты цели своей и сможешь сказать, что жизнь прожил не зря. Потому как воин ты, а не кто иной. А настоящие воины – это те, кого война кормит, от нее они рождаются, но никогда от нее не умирают. Как же воину умереть от войны, если он – дитя войны и в ней его жизненная сила заключена? Для других война – смерть, а для воина – жизнь. Просто задача воина – это победа и переход в Светлицу. В этой избушке, откроюсь тебе, Светлица есть, да только победа еще не близко.

– Спит, – вдруг произнес Дунаев. Старик прищурился. Дунаев явственно, физически почувствовал в первый раз, что девочка в его голове спит. Он ощущал ее тельце в мягкой голове, думал ее снами. Потом он опомнился и посмотрел на старика. – Что ты говоришь? Из белых, значит... Воином быть... Другое оружие... Да есть у нас другое оружие, кроме винтовок и конницы, оружие, посильнее фашистских танков, – это любовь, старик. Светлая и беспощадная любовь к Родине!

– Любовь? – усмехнулся дед. – Да ты, поди, не знаешь, что такое любовь, что такое беспощадность. Любовь, детка, это смех и слеза да под кожей глаза. Ты, видать, не ебся давно, что про любовь заговорил. Как немцев ебсти начнешь, так про любовь забудешь, а ненависть и в голову не придет. Только удаль, пустоту да щекотный ветер будешь чувствовать.

– Да зачем я тебе нужен, дед? Хочешь убить меня – убей, хочешь немцам сдать – сдай, если сможешь. Я ж коммунист, парторг, опасно сейчас в тылу с таким человеком дело иметь! Чегой-то ты все меня уговорить хочешь? На что?

– Ну, уперся! Как бык дурной! Ежели цель себе ставишь, парторг, надо ее выполнять. Ежели не идет дело, не катит Колоб, как говорят, то надо средства сменить. Твоя мысль о партизанском отряде – мысль дитяти деревенского. Почему Холеного не слушаешь? С ним таких дел наделаешь, что ни в каком другом случае не узнаешь! Понял?

– Понял, – внезапно поверил парторг. – Ты, значит, тоже воевать хочешь, хоть от людей, от мира схоронился. Только своим, лесным способом. Но в одиночку тебе, видать, не с руки. Ты меня, значит, вроде как в напарники али в подмастерья нанимаешь?

– Верно, да с поправочкой, – рассмеялся старик. – Не я воевать хочу, а ты хочешь. Сам и будешь воевать, в одиночку. Я же тебе помощничком буду: под руку толкать да ум навевать.

– А как же это ты меня учить хочешь? – спросил Дунаев. – Школа у тебя, что ли, здесь?

– Да уж школа не школа, а для немцев больше укола. Если хоть один новый мастер в этой точке появится, горе немцам, не пройдут они ни шагу вперед. Таких мастеров по пальцам считать. Микулу Вологодского знаешь? То-то же! На озерах северных сидит старикан, и от этого весь край заснул и Ледочкой прикрылся, сестричкой твоей Машеньки. Сейчас вроде Микулушка хочет к вепсам податься, к Ленинграду. У вепсов шаманы сильные есть, да только не опоздал бы Микулушка. Он ведь во сне все делает. А Али знаешь? Огнедышащего Али не знаешь? На этих людях вся хуйня держится, а ты небось думаешь – Рокоссовский там, Ворошилов и прочие! Али-хан на Кавказе ходит, из аула в аул. В городах мертвых он почитаемый воин, а в городах живых – аферист. Говорит, что тайному делу у Хозяина научился. А Андрюшку Харбинского тоже не знаешь? Ну, ты, наверно, на Хасане не был. Как раз после того Андрейка переехал из Маньчжурии в Уссурийский край. Из кадетов он бывших. В Харбине чуть от опиума не погиб, так, по скуке. А как япошки выступили, он в район боевых действий подался. Ну потом, конечно, он и Сахалин облетел, и Курилы, и Камчатку, у чукчей был, у юкагиров. Да у кого он только не был! Все шаманство сибирское забубнило и затараторило! И за Дальний Восток можно быть спокойным – японцы не сунутся! Вот какие люди, целые сутки толковать про них можно. Открою тебе даже, что есть еще помощнее ребята, еще постраннее. Которые

уже никакой силой не пользуются. Сядет себе где-нибудь в глуши, и не сыскать. Но это я уже разболтался, извини старика.

Дунаеву вдруг почудилось, что все происходящее он видит в кино. Сам он был всего лишь одним из персонажей этого кино, поэтому он вдруг неестественно выпрямился и произнес бодрым голосом:

– Ну что ж! Был я ради людей солдатом, потом был рабочим, потом партийцем – побуду теперь ради людей и колдуном.

Но тут его оглушил ответ, раздавшийся сзади и произнесенный глубоким, гулким, как колодец, и в то же время металлическим голосом:

– ЭЙ, НОВЕНЬКИЙ! НИКАКИХ ЛЮДЕЙ НЕТ!



Глава 12

Начало пути

– Война идет великая, – равномерно звучал старческий голос Поручика. – Идет она на земле и на реках, в морских пучинах и на воздухе. А между перечисленными глубинами и поверхностями лежат Промежуточности. В одной древней книге я прочитал, что этот мир бездн и пленок называют «Зонтиком Бога, припасенным для Моросящего Дождя». Я пытался истолковать это изречение одному сибирскому колдуну, но он ответил мне почти так, как ответил бы и ты, коммунист: «Зонтики для господ, а мы на случай Мороси припасаем только Свист да Уключину». Так вот, сынок, в Промежуточностях тоже идет война.

Если ты будешь внимательно слушать меня, я научу тебя перемещаться в Промежуточностях, расскажу тайные тропы, поставлю тебя воином в тайной, невидимой войне.

Промежуточность в большинстве случаев не бесконечна и упирается в Заворот. Перед самым Заворотом имеется тайник, которым немногие умеют пользоваться. Те, кто умеет, хранят там свои так называемые Вещички. За Заворотом имеются три Возврата: один требует изощренного мастерства, другой – забвения всего, а третий ничего не требует. Главное – не попасть в Бесконечный Промежуток, там себе только летишь да за повороты цепляешься, пока не вылезешь в Обратных Местах. А есть и Бесповоротный Бесконечный Промежуток – оттуда нет выходов, и попавший туда – вечный странник. Но пока что не было таких растяп или извращенцев, которые бы попадали туда, хотя многие и знали, где он находится. Говорят, в Карелии был один человек по прозвищу Неисправимый, который постоянно ходил по краю да руками помахивал. И даже прыгал по краю на одной ноге – так удаль в нем бушевала. А другой, по кличке Вредитель, научился в Бесконечный Промежуток грязь и сор всякие кидать, но никому не известно, было ли это вредительство на самом деле вредительством.

Голос Поручика иногда становился совсем тихим, и Дунаеву приходилось убыстрять шаг и наклоняться, чтобы расслышать каждое слово. Они шли по лесу вот уже больше часа.

Встали утром пораньше и, ничего не поев, пошагали в лес. Впереди Поручик, маленький, в нахлобученной шапке, с торбой за спиной и суковатой палкой в руке, за ним Дунаев, с немного растрепанным и отсутствующим видом, но зато неожиданно свежий и как бы даже отдохнувший.

Поручик ничего не объяснял, ни куда они идут, ни зачем, но зато все время говорил, то рассказывая какие-то истории, перемешивая их с не совсем понятными наставлениями, то невнятно шутил, заливаясь звонким, не старческим смехом.

Вдруг старик исчез. Дунаев пристально осмотрелся, но никаких признаков старика вокруг не было.

– Поручик! – позвал парторг, но – тишина. – Эй, Холеный, хватит в прятки играть шутки ради! Ты сначала меня обучи, а потом соревнование устроим – кто лучше спрячется.

Но ему никто не ответил.

Он огляделся. Чаща вокруг стояла густая, мрачная. Сквозь сырость и еловую тьму еле пробивались солнечные лучи. Вдруг где-то наверху раздался то ли смех, то ли птичий крик. На позлащенной солнцем верхушке ели раскачивался крошечный Поручик.

– Эй ты, Дунай! – закричал он сверху. – Давай сюда. Отсюда такое увидишь – уссышься.

Дунаев посмотрел на ствол ели. «Хуйня, заберусь! – подумал он. – Думает, какой-то елкой меня испугаешь!»

И он быстро полез вверх, отталкиваясь ногами от нижних прочных ветвей. Однако чем ближе к вершине, тем труднее становилось Дунаеву. Он резко сел на ветку и перевел сбившееся дыхание. «Совсем чуточку осталось!» – сказал он себе и с новыми силами рванулся к старику.

Наконец он почти добрался до вершины. Старик сверху хохотал и показывал куда-то пальцем.

– Нет, да ты погляди! Ты только взгляни!

Дунаев посмотрел, куда указывал дед, и увидел полянку. На ней стояло несколько палаток, и еще были видны входы в землянки. Ходили бородатые люди с автоматами, у некоторых были перевязаны головы. В общем, это было укрытие партизанского отряда. Дунаев остолбенел. А на поляне, возле костра, появились новые люди. Втроем они несли мешок, сделанный из советского и фашистского флагов, сшитых вместе. Мешок вырывался, дергался, его трудно было удержать. Люди с облегчением перевернули мешок и вытряхнули свинью, видимо только что где-то украденную. Огромная белесая свинья вывалилась и завизжала. Она метнулась от человека, подступившего к ней с длинным штыком. Несколько людей ринулись за ней с матерной бранью, ломая кусты.

Дунаев понял, что спасен. От неожиданного счастья он заплакал. В этот момент старик закричал: «Ну теперь пиздец тебе, батюшка!» – и со страшной силой ударил парторга ногой в затылок. Дунаев сорвался и полетел вниз. Боль в голове вдруг превратилась в резиновый шнур, который выходил из головы и шел в небеса. И чем ниже летел Дунаев, тем сильнее натягивалась эта резина. Как будто он был шариком на резиновой нитке, который толкнули вниз и он должен по закону натяжения подскочить вверх. Так и случилось. Не долетев метров двух до земли, Дунаев стал уноситься наверх, и через секунду он вылетел в небо. Возносясь со страшной скоростью, он нашел в себе силы оглянуться и увидел необозримый край, покрытый лесами. Елка, с которой он стартовал, была не видна среди сплошного ковра лесов.

Полет казался ужасающим, но потом пришло наслаждение, смешанное с головокружением и тошнотой. Постепенно его раскачивание привело к застыванию в какой-то средней точке, высоко над землей, но не так уж далеко от верхушек самых высоких елей.

Теперь он висел в небе, над ковром леса, беспомощно распластав руки. Ему было настолько нечего делать в этом положении, оно было настолько бессмысленным и непригодным для него, что он не выдержал и заснул.

Время сна казалось неопределенным будущим, возможно отдаленным от настоящего сотнями лет. Может быть, это время предшествовало концу времен. Ему снился иноземный город, целиком затопленный водой. По всей видимости, это была Венеция. На его глазах вода стала спадать, и обнажились башни и купола храмов, дряхлые дворцы, колоннады и статуи. Все это, долго пребывавшее под водой, было почерневшим, гнилым и непрочным. В составе не совсем понятной экспедиции он вступил в безлюдный город. Вокруг с грохотом падали подточенные изваяния, с домов осыпались фронтоны.

Законсервированный толщей вод, город превращался теперь в труху. Это была оглушительная осень, последний листопад в мрачном лесу. Ему запомнилась колоссальная статуя шекспировского Мавра, с остатками золота и красной краски на одеждах, рухнувшая посреди площади и распавшаяся на мелкие куски. В узких улицах стоял запах глубокого погреба. Внезапно они увидели магазин русских икон. В памяти Дунаева почему-то сохранилось отчетливое представление о том, какими эти места были раньше, до потопа, как будто он прожил здесь много лет или был коренным венецианцем. Он узнавал переулки и площади, хотя все опознавательные знаки были стерты водой и временем. Узнал он и этот магазинчик: он «помнил», что раньше здесь продавали русские иконы, в основном безыскусные подделки, сувениры для туристов. Иконы по-прежнему висели в витринах и по стенам магазинчика, однако они стали другими. Поддельный сувенирный слой сошел, и обнаружилась древняя подкладка – иконы казались неизменно старыми, в тонах запекшейся крови. Из них излучалась таинственная мощь. Эти иконы были тем единственным в разрушающемся городе, что не пострадало от воды и страшной жизни. («Они были подделаны под подделку!» – осенило Дунаева.) В глубине магазинчика Дунаев увидел маленькое стеклянное оконце, выходившее в заднюю комнату, которая раньше всегда была закрыта. Оконце, как «помнил» Дунаев, раньше использовалось как часть оформления магазина: там был установлен небольшой аналой, подсвеченный снизу специальной лампой. Теперь в это закрытое помещение можно было проникнуть, так как двери сгнили. Они вошли туда и внезапно переместились из мира сырости и шелеста в сухой и теплый мирок жилой комнаты. На столе лежало несколько сухих папирос «Беломор», стояла еще теплая чашка с остатками чая. На спинке стула висел потрепанный пиджак. С замиранием сердца, не веря своим глазам, они видели всюду следы присутствия живого человека. Дунаев чувствовал, что этот человек должен быть где-то здесь, рядом. И действительно: на лестнице, уходившей куда-то вниз, показалось некое существо. Это был человек, дико худой и странно извивающийся. Возраст нельзя было определить из-за длинной бороды и волос, которые казались бесцветными, так же как и лицо. Сначала с ним пытались объясняться как с ребенком или дикарем, с помощью жестов и элементарных звукоподражаний. Человек то ли кривлялся, то ли не понимал. Он производил впечатление веселого. Потом он вдруг достал откуда-то военную каску, надел на голову и отдал честь. Затем рассмеялся и заговорил по-русски. Объяснил, что раньше партизанил, а потом город затопили и он скрывался здесь. Стало ясно, что затоплению города предшествовала долгая война (видимо, с немцами), которая до сих пор еще не окончилась.

Сон перенес Дунаева в комнату, представляющую из себя что-то среднее между клубным рестораном и штабом. На столиках между тарелками и бокалами были расстелены военные карты. Разговор шел о человеке, найденном в магазине икон. Все недоумевали. «Он столько лет жил под водой...» Люди пожимали плечами, на которых блестели погоны.

«Я знаю, что это за человек», – раздался интеллигентный голос с легким немецким акцентом. За столик присел пожилой человек в шерстяном джемпере и чистой рубашке. Это был пленный немецкий генерал, который настолько давно уже был в плену, что научился говорить

по-русски и стал чем-то вроде консультанта или привычного домашнего животного при штабе. Все относились к нему с уважением.

– Много лет назад мы штурмовали эту линию, – рассказывал он. – Однако прорваться было невозможно. В центре города находилась партизанская точка, постоянно подрывавшая наши планы. Ею командовал русский генерал. Нам пришлось затопить город, но разведчики-аквалангисты сообщили нам невероятное: русский генерал не погиб под водой и скрывается в затопленных зданиях. Изловить его нам не удалось. Группа аквалангистов, посланная на поиски, не вернулась. Их тела были найдены в районе бывшего порта. Вскоре после этого я попал в плен.

Армия уходила из этих мест, и экспедиции в мертвый город были запрещены. Однако появились подонки, почти бесполое существа с длинными волосами, в черных приталенных пальто и с золотыми кольцами на пальцах. Они собирали группу для противозаконного проникновения в закрытую зону с целью грабежа. Это было опасное дело: дерзкие воры часто гибли под обломками разрушающихся зданий. Однако в одну из таких групп были внедрены двое детей, мальчик и девочка. Почему-то именно им поручили найти заброшенный магазин икон, а в нем генерала. К этому моменту Дунаев сам по себе исчез, а точка его наблюдения (то есть он как зритель собственного сна) была размещена в пустом пространстве между мальчиком и девочкой, ровно посередине между ними.

Подонки погрузили детей в фургон и куда-то повезли. Ехали долго. Когда дверцы фургона открыли, они оказались в другом городе. Вокруг ходили люди, некоторые были в черных униформах. Мелькнула табличка на углу дома: Моцартштрассе. Они были на территории врага. Дети побежали. Подонки даже не догоняли их, только смеялись. Они предали детей – те были обречены. Вскоре на задворках каких-то домов, в свете заходящего солнца, дети были окружены людьми с собаками.

– Ну что, надо исчезать? – спросил мальчик.

– Но ты понимаешь, что обратно мы не вернемся? – сказала девочка.

– Понимаю.

– Тогда исчезаем.

Дети собрали все свои силы и исчезли бесповоротно. Дунаев остался один.

Последовало какое-то мутное мельтешение перед пробуждением.

– Эй, теря, все дрыхнешь? – разбудил его голос Поручика. – Ты воевать собираешься или дрыхнуть? А ну полетели посмотрим позиции.

Дунаев открыл глаза. Он по-прежнему висел в небе. Невидимая резиновая нить перестала держать его, и ветер нес его над лесом. Рядом в воздухе весело барахтался Поручик. Его бурые лохмотья развевались, он дрыгал ногами и руками и строил рожи.

В юности Дунаев иногда летал во сне, после чего пробуждался в кровати. Однако ему никогда не приходилось пробуждаться в полете. Он даже рассмеялся.

Невозможно описать разницу между полетом во сне, который испытывал каждый, и полетом наяву, испытанным лишь немногими. Наиболее достоверное описание вполне спонтанных левитаций имеется в книге воспоминаний одного малоизвестного советского художника 30-х годов.

Эта часть его книги называется «Наши с Федей ночные полеты». В детстве, живя в деревне, этот художник летал по ночам вместе со своим приятелем. Эта способность к ночным левитациям передалась им случайно и не имела никакого смысла.

Полеты, с небольшими перерывами, продолжались несколько лет. Половое созревание и первая любовь уничтожили эту возможность. Ночные полеты, наполненные самым незаконным блаженством, какое только бывает, не оказали никакого влияния ни на последующую

жизнь художника, ни на его творчество. Даже вспоминать о них оказалось почти невыносимо. Только в старости память согласилась воспроизвести те события.

Дунаев летел днем, он не был ребенком, он умел беспощадно смотреть в лицо происходящему.

– Не смейся! Ни в коем случае не смейся!!! – доносил ветер крики Поручика. При этом сам Поручик изо всех сил старался рассмешить Дунаева, корча рожи, одна уморительней другой. Он так выкобенивался, что Дунаев стал безудержно хохотать, схватившись за живот. И тут он, еще хохоча, вдруг понял, что воздух больше не держит его. Ветер стих, Поручик трепыхался где-то в вышине, а вертушки елей со страшной скоростью приближались. Это ощущение было, естественно, столь же новым для парторга, как и полет перед этим. Всему телу было щекотно, весь дух захватило, и была смесь дикой древней радости («пропади все пропадом и хуй с ним!») с невероятным ужасом от того, что нет никакой возможности предотвратить неизбежную смерть. Предощущение смерти мучительно тем, что человек, совершенно живой, успевает испытать смерть множество раз, и столько же раз испытать надежду на спасение и крушение этой надежды (точнее, этих надежд), и столько же раз пережить всю жизнь и даже какие-то другие, чужие жизни. И такие вещи так заходят в душу, что все существо замирает. А они, зайдя, захлопывают за собой дверь и затыкают замочную скважину, чтобы нельзя было подглядывать. И все.

Вот земля придвинулась вплотную, мелькнула земляная поверхность, покрытая хвойным ковром, и тут же Дунаев, не ощутив удара, мягко прошел сквозь эту поверхность и вошел в землю. Вокруг было бесцветно. И было тесно. Дунаев, будто таблетка в пищеводе, стал скользить куда-то. Неожиданно он стукнулся обо что-то темное головой и завертелся. При верчении он снижался и потом глянул наверх: обо что же он ударился? Он увидел вроде бы барометр, обугленный, черный, сжатый землей.

Но тот быстро исчез. Дунаев углублялся в землю. Ноги его ударились о что-то твердое. Он стоял на деревянном ящике.

Голова была скована, рот и глаза забиты землей. Но внутри головы светился прожектор девочки. Этот прожектор был его новым зрением. С его помощью он видел во все стороны на несколько километров вокруг себя. Видел земляные массы, простиравшиеся, как уплотненное беспросветное небо, видел корни сосен и норы животных, где лежали моховые комочки, и путь крота, который казался светящимся. Видел и истлевающего мертвеца в гробу, на котором он стоял, слышал его шепот:

– Что это за братец, ни живой ни мертвый, сюда заявился?

Дунаев ответил: «Не знаю». Его ответ был произнесен беззвучным шевелением губ спящей девочки. При этом над ее бледными губами повисло прозрачное облачко, как бы сотканное из мелких капель.

– Не знаешь? Видно, повезло тебе, – так же беззвучно ответил мертвец.

– Всегда везет, – ответила девочка, и Дунаев понял, что это о нем. Он должен всегда ее везти, быть ее транспортом...

Но не успел он осмыслить диалог мертвеца и Машеньки, как все исчезло и его начало выворачивать, причем выворачивалась наизнанку каждая частица его тела. Он решил, что полностью состоит из бисера. Ему уже неизвестно было, кто он такой, и только Машенька в его голове была нерушима и сладко спала.

Вдруг он нашел себя стоящим на рельсах в железнодорожном тупике.

Рядом суетился Поручик, тыча пальцами в бурьян и травы, которыми все заросло так густо, что казалось, будто они внутри какого-то волосатого мешка. Приглядевшись, Дунаев осознал, что все это – совершенно не то. Бурьян был на самом деле зеленым мхом, наподобие крашеного начеса, и издавал запах хозяйственного мыла. Рельсы были брусочками из чего-то

прозрачного и покрытого мелкими пупырышками. Дунаев стоял на пленке, и она временами пузырилась, проступая сквозь изумрудную шерсть и спадая обратно. Поручик же был в этот момент странной формы фанерной конструкцией, обтянутой ситцем в мелкий цветочек.

Просто Дунаев попал в Промежуточность, где ничего настоящего не было. Видимо, тут имелось что-то подлинное, но оно скрывалось или же было настолько далеким от человеческого и даже окологуманитарного мира, что Дунаеву пришлось на скорую руку выпестовать внутри себя какие-то ощущения и образы, соткавшиеся в столь нелепую «картинку». Лживость этой «картинки» бросалась в глаза, но иначе Дунаев пока не был в состоянии воспринимать Промежуточность. Он старался понимать нечто как тупик, имеющий вид шпалы, положенной на две другие шпалы (как в игре в городки). Нечто иное он старался считать Поручиком. Далекий, скрипучий голос долетал до него, и парторг думал, что это говорит ему Холеный, указывая на шпалу. На ней в некоторых местах были наклеены куски какой-то глины, имелись также странные насечки.

– Вот, позиции, смотри, – настаивал Холеный. – Глина – немецкие группировки, насечки – советские. Видишь, как много глины вокруг некоторых царяпин? Это окружения.

Девочка в мозгу Дунаева вместо ответа сложила следующее стихотворение:

Если лапки падают в бездну,
Если гольфики сползают вниз,
А в зубах паровозик железный
Крепко держит слепой машинист,
То тогда леденец на околыш,
И снежинка, как звезда, на груди!
Под Москвою проснется звереныш –
Ты до срока его не буди.
Он взметнет своим хвостиком слабость
В беспощадных, но бранных врагах.
И гирлянды игрушечных танков,
Как яблочки, будут торчать на ежах.
Но смолянка теряет невинность,
Проливая смолу на постель,
Тулью шляпы проббили ребята,
На Курок накидали костей.
Подожди, еще будут игрушки
Паучков изумрудных топтать,
И поселятся в детской подружки,
Будут шапки стальные вязать.

– Эх тебя пронесло! – заорал Поручик оглушительным голосом и стал, кривляясь, отбивать земные поклоны перед Дунаевым. – Все объяснил, как по полкам разложил, пузырь ты наш ненаглядный! Проняла тебя Снегурка!

Дунаевым как будто выстрелили. Он вылетел из земли и, как пуля, понесся в небеса. За ним несся Поручик с сачком для насекомых в руках. Они поднялись так высоко, что дух захватило от холода. Там Поручик наконец нагнал Дунаева и, сложно извернувшись в воздухе, с размаху накрыл его голову сачком. Мелкая белесая сетка прилипла к лицу, и стремительный подъем в небеса прекратился. Они медленно полетели в синем холодном небе. Земля была теперь так далеко, что виден был не только темный ковер леса, но и другие места: линии железных дорог, черные столбы дыма, взорванные мосты. Под ними была война. Они увидели бой и

крошечные танки, похожие на спичечные коробки, которые перемещались по полю. Они увидели полуразрушенный город.

Дунаева охватила скорбь, смешанная с гневом.

Слева он услышал голос Поручика:

– Ты, Дунай, прорицать стал, и теперь много ясно. Видишь город? Ты же сказал:

Но смолянка теряет невинность,
Проливая смолу на постель...

Это значит, Смоленск скоро будет занят немцами. Ты еще говорил:

Тулью шляпы проббили ребята,
На Курок накидали костей.

То есть и Тула, и Курск – все отдано врагу будет. Но ты не отчаивайся, парторг. Ведь ты сказал:

То тогда леденец на околыш,
И снежинка, как звезда, на груди...

Видать, надо ждать зимы, чтобы наша взяла и отступление прекратилось.

Под Москвою проснется звереныш...

Туго, дескать, немцам под Москвой-то будет, и Москвы им не видать. Откатятся они назад, их танки будут на ежах торчать.

– А что значит «паучков топтать» и «шапки стальные вязать»?

– Эх ты, теря! Все-то тебе, как младенцу, надо объяснять – даже твои собственные слова. «Паучков топтать» – это значит, «потопчет русский сапог фашистскую свастику», а «шапки стальные вязать» значит: «скоро сказка сказывается, да не скоро дело вяжется: победа будет трудная, но она будет за нами, а Сталин станет всему голова, и где имя Сталина городу дано, там будут немцы железными делами околпачены». Эх, работенка тебе предстоит, парторг! Пока разгадывать предсказания не научишься, Никем не станешь.

– А что это за должность – Никто? – Парторг смутно вспомнил слова: «Смеялся, как Никакой...»

Вверху плыли белые, четкие облака, на их фоне шли облака из серой ваты, ниже струились розоватые, перистые. Сбоку надвигалась фиолетовая туча. Только сейчас Дунаев понял, что они снизились над густым лесом. Туча заслонила солнце, потемнело, и по краю тучи пробежал отблеск далекого зарева. Оно полыхало где-то за горизонтом, бросая красный отсвет на тучу.

– Чуюло мое сердце, в Брест надо лететь! – закричал Поручик и остановился, дернув сачок. Дунаев тоже повис в воздухе, растопырив руки, похожий на самолет.

– А что случилось?

– Да Брестскую крепость, видать, немцы взяли. Плохо это. Ох как плохо. Надо сейчас же туда лететь. А ты еще не готов туда лететь. Думал – научу тебя как следует, а там и Брест возьмут. И полетим туда уже как мастера, чтоб рука руку мыла.

– А чем же я не готов? – поинтересовался Дунаев.

– Да ничем не готов, – засмеялся Холеный. – Ты, к примеру, без бинокля обойтись можешь? В глазах Приближение и Увеличение есть? Нет. Но это не главное. Главное – ты Невидимкой не можешь стать, Никем то есть. А туда только будучи невидимым попасть можно.

– Ну тогда оставь меня в избушке, а сам лети, – сказал Дунаев.

– Нет. По-другому сделаем, – ответил Поручик. – Здесь, где-то под нами, живет Мушка, она, если попросить, может и Невидимкой обернуть, и Приближение дать, и Гармошку. Только бы не оплошать!

– Это ты к ведьме меня хочешь завести? – спросил Дунаев.

– Да ты что? Увидишь – все сразу сам поймешь, – радостно уверил Поручик. – Айда к Мухе-Цокотухе!



Глава 13

Муха-Цокотуха

Они снизились над дубовой рощей. На земле было безлюдно, но заметно было по всему, что и здесь прошло лихо. Даже птицы не летали здесь. В центре рощи возвышался колоссальный могучий дуб, древний, покрытый сухими пергаментными листьями, которые уже много лет не опадали.

– Комара убили. Бесславно погиб он, своей и немецкой кровью обливаясь, – пояснил Поручик. – А Муха-то осталась! Прикидывается бабкой, и в занятых деревнях немцев встречает. Изба изрядна, стол полон яств – и поросеночек, и водочка, и грибочки, разумеется, – Холеный подмигнул Дунаеву.

Тут они приземлились на огромную кряжистую ветку старого дуба. Холеный снял сачок с головы парторга, уселся поудобнее и достал самокрутку.

– И что же? – спросил Дунаев.

– А то, что никто из немцев живой из-за стола не вставал, – зловеще прошептал Поручик. – Мертвые – пожалуйста! Мертвым одна дорога – назад. Нах Фатерлянд. В тыл запускаются и там куролесят. А Мушка вслед за немцами идет и, скажу тебе секрет, в разных уже местах немцев встречает с пирогами.

– Это как? – поразился Дунаев.

– Она может несколькими бабками стать, – спокойно ответил Поручик и бросил окурочек.

– Смотри, вон под веткой дупло! Видишь? – И он показал Дунаеву отверстие в дереве, аккуратное и незаметное снизу. Поручик нырнул в дупло. Дунаев полез за ним, на прощание глянув вниз. Он явственно увидел человека, стоящего под деревом и смотрящего Дунаеву прямо в глаза. «У него Приближение», – почему-то подумал Дунаев. А может, то подумала Машенька. Он не мог узнать этого человека, поскольку никогда его не видел. Но почему-то он,

вопреки рассудку и памяти, знал этого человека. А может, его знала Маша, спящая в голове Дунаева?

Не оглядываясь больше, Дунаев нырнул в дупло. Протискиваться пришлось мучительно: он весь покраснел, испарался. На потное лицо сыпалась древесная труха. Наконец, он вывалился в нижнюю, полую часть дерева, где таилась уютная комнатка, похожая на изображения внутреннего пространства норок на детских иллюстрациях: овальный стол с плотной скатертью, кресло, диван, оранжевый абажур. Встретила их раскоряченная маленькая старуха с большим животом. Одета она была в золотой передник, а посмотрев в ее лицо, Дунаев почувствовал себя глупым. Не потому, что он увидел нечто мудрое, а потому, что все, существующее в мире, показалось ему мелким, копошащимся, испещренным, ненужным – таким, каким было лицо у старухи. Такое уж это было лицо.

– Я уже десять дней вдова, – сказала Цокотуха. – А до сих пор не встретила мужа во сне. Не значит ли это, что он стал «заикой»?

– «Заиками» у нас называют мертвых, которые после своей гибели все повторяют снова и снова обстоятельства своей смерти, притворяясь, что умирают каждый день, и этот день смерти для них всегда одинаковый, – пояснил Поручик Дунаеву.

Цокотуха поставила на стол самовар, расставила чашки, разложила варенье по блюдечкам, вздыхая: «Ох, война, война! Как бы не она, угостила бы вас как подобает. А то что это? Худые, как черви, оба трясутся, а в глазах муть, оттого что небесного воздуха наглотались. Вам бы щас, родимые, кровушки немецкой дать испить – враз повеселели бы. Да уж уважу вас, поднесу по стопочке».

Старуха достала из буфета три серебряные стопки и большую бутылку с темной жидкостью. Разлила по стопкам. Дунаев почувствовал запах крови, а когда он поднес стопку к губам, его замутило от этого запаха.

– Не могу... – прошептал он, отводя лицо.

– Да что ты, милоч, страшась? – воскликнула Цокотуха. – Пей залпом, и вся наука. Заморщит, поведет – так я тебе травинку поднесу. Зато силен будешь.

– Да, сила нам с тобой понадобится, – вздохнул Поручик. – Ну, давайте, за Победу!

Все, стоя, не чокаясь, выпили.

Кровь оказалась тяжелого, неприятного вкуса, но этот вкус был странно знакомый, как будто Дунаев когда-то давно уже пил кровь, но забыл об этом. Его слегка затошнило, но от рвоты он удержался, занюхав выпитое каким-то сухим, терпким пучком трав, который ему поднесла старуха.

– Надо нам, Мушка, в Брест заглянуть. Слышно, крепости конец настал. А там ведь сама знаешь что... Ребят жалко, – сказал Поручик.

– Может, они еще держатся? – прохрипела Цокотуха.

– Может, и держатся, – пожал плечами Холеный. – Только недолго им держаться. Плохи дела-то.

– А что ж такое? – скривилась Цокотуха. – Неужто и ОНИ уже здесь?

– Да, – мрачно кивнул Поручик. – Я сегодня вдали Синюю видел. Она над самым Брестом висела, только разглядеть не сумел – приближения не хватило. Но это она – точно. Узнал. В пальтишке своем с пуговками, чистенькая – ну прямо первоклассница малая, ебаный в рот! В руках держит своего Паразита и им вниз толчет, как орехи в ступе. Видать, крепость кончает.

Лицо Цокотухи перекошилось от ненависти.

– Это она... она, паскуда этакая, моего-то шлепнула. Заикой сделала на веки вечные. Она его еще в прошлый раз приглядела. Улыбнулась и на ноги себе показывает: мол, смотрите, у меня коньки стальные, лед режут – не стесняются, а вы все на деревяшках елозите, кровосос. Мой весь затрясся. Видать, она ему еще гимназисточкой приглянулась, когда бросила свой «снежок» и он рассыпался по воротнику его шинели.

– Я-то знаю, как Синюю брать, – усмехнулся Поручик. – Научен. Только рано еще. Ее зимой брать надо: она от морозов ликует, а ее берут в ликовании. А пока чего – нужно ее, как говорят, «по ранцу хлопнуть».

Цокотуха отвратительно засмеялась и пошутила:

– Да уж, посыпем мы ей соль на ранец.

С этими словами она схватила со стола солонку и взвилась вверх, одним прыжком выско-
чив из душла.

Поручик и парторг последовали за ней.

Трое были заброшены в глушь,
Паразитов коснулись лбами,
Как гниющие трупики груш,
Под зловонными спали слоями.
Но один пробудился к борьбе,
И его наставляют и учат.
Он внимает огромной судьбе –
Доблесть дерзкая будит и мучит.
Ему старший читает мораль
И тарашится, смех подавляя.
Для него только сумрак – скрижаль,
Ну а Кодекс – тропинка лесная.
– Эй, сынок! Приосанься, взбодрись! –
Ему с хохотом молвит Холеный. –
Мы с тобою на свет родились,
Чтобы в тине валяться зеленой,
Но, раз прихоть врага такова,
Подними, разомкни свои зубки –
Ощетинься, слепая трава!
Ощетиньтесь, стеклянные трубки!
Эй, мамаша! Твой милый когда-то
С фонарем приходил по ночам.
А теперь ты надежда солдата –
Подмогни, госпожа. Защищай!
Небольшие по виду созданья,
Как грибы, как осенняя грязь,
Мы за Родину примем страданья –
Скрежеща, извиваясь, смеясь!



Глава 14

Брест

Когда приходит война, все вокруг стареет. Кажется, что жизнь – это прошлое, а предметы – музейный реквизит.

Война, как и совокупление, являет собой, в сущности, «детское дело». И то и другое ставит взрослых в инфантильное положение. Как раньше говорили: дети действуют, взрослые рассказывают, старики смеются. Во время войны взрослым приходится быть детьми, а вещи становятся стариками. На долю вещей выпадает безмолвный смех и безмолвное исчезновение. И взрослый Дунаев теперь ощущал себя ребенком. Сквозь суровые тучи души «настоящего человека» проникла радость детства: парторг в душе ликовал, ужасался, восхищался, рыдал. В нем бушевала сила. Быть может, душа Машеньки действовала в нем. Он рассказывал, а Поручик смеялся. И Дунаев ощущал, что Машеньку связывает с Холеным более тайная и глубокая связь, чем с ним, Дунаевым. Искрящиеся в смехе глаза Холеного, казалось, говорили ему: «Отлично, сынок! Дай я тебя обниму!» («...и на тебе в руки гранату, и дай я тебя обниму».)

– Эх, атаман! Хорошо порой жить на свете! И понимаешь это, только когда война придет. Когда все спокойно, не думаешь о красоте. А ведь совсем недавно еще тихо так, тихо было... Еще и месяца не прошло ведь, поди? А, Поручик?

– Сегодня у нас тридцатое июля, – глухим голосом сообщил Холеный. – Больше месяца уже намотало. И кто же это умудрился продержаться там столько времени?

– Это ты о ком? – спросил Дунаев.

– Да о Брестской крепости бедовой. С того дня, как война началась, ничего не было известно о ней. Никому. Туча стояла над ней, и тьма кромешная, и огонь. Потому-то таперича так нужно нам с тобой, браток, туда подоспеть. Другие бы не подоспели... Такое на свежем месте можем узнать, что очень важно для всего последующего хода событий, для знания о том, что *в действительности* происходит, а не только то, что видят глаза и уши слышат.

– Без Мушки-то не полетели бы! – засмеялся Дунаев и вдруг в самом деле остро ощутил свою невидимость. Если бы в это солнечное утро кто-нибудь шел бы по проселочной дороге или по опушкам леса и задрал бы голову, то увидел бы только жаркое небо и ватные облака, полные ледяной влаги. Но Холеный и Дунаев были не видимы никому, даже самим себе. Они довольно быстро летели на небольшой высоте, по направлению напрямиком к Бресту. Что-то менялось в воздухе, но на вопросы парторга Холеный только кричал и отшучивался.

– Вот она! Смотри! – закричал атаман.

Дунаев глянул вниз и остолбенел. При ярком свете солнца была отчетливо, до последнего кирпичика и надписи на стене, видна разрушенная до основания крепость, будто музейная руина или декорация.

Дым, пыль и копоть рассеялись, тучи не было, в синем небе упруго трепетал флаг со свастикой.

Дунаев, чтобы заглушить невольно возникающий страх (от снижения на вражескую территорию), вспомнил Муху-Цокотуху. Вспомнил, как она из Дунаева пельмени сделала и в печи изжарила. Взяла, да и раскатала его, потом на кусочки разрежала. Машеньку тоже на столько же кусочков – шестьдесят девять. Каждый кусочек Машеньки был завернут в раскатанный кусочек Дунаева. Муха и Холеный в четыре руки лепили пельмени. Потом их на противне поставили в печь. Когда изжарились, Муха в горшок с особым веществом их ссыпала и оставила пропитаться. Пельмени испускали благоухание. Тогда Муха открыла потайной сундук, внутри пустой. Она положила на дно блюдо с пельменями и закрыла сундук на все замки и засовы.

Они еще снизились над крепостью. Внизу дымился полуразрушенный город, по улицам проходили колонны солдат, шла военная техника. Но возле самой крепости еще звучали выстрелы – там засели последние оставшиеся в живых защитники советской границы.

Парторг и Поручик присели на одной из крыш, откуда видна была в отдалении крепость и черные столбы дыма над ней. Внезапно среди жара, копоти и грохота взрывов словно пахнуло холодом.

Холеный как-то странно скорчился и, глядя не на крепость, а куда-то в сторону, стал делать рукой такие движения, как будто пытаюсь поймать муху.

– Мушка, Мушка... – бормотал он.

Потом он посмотрел на Дунаева каким-то тяжелым, отстраненным, равнодушным взглядом и сказал:

– Ну ладно, Дунаев, ты хотел воевать – вот тебе война. Помоги своим, если сможешь. Там внизу еще есть живые люди. Они решили обороняться до последней капли крови. Сейчас немцы сделают так, что подвалы крепости будут залиты говном из канализации. Люди погибнут. Попробуй сделать что-нибудь. А я пошел. У меня здесь, в Бресте, свое дело есть.

С этими словами Поручик исчез.

Дунаев сидел на крыше в полной растерянности, как картонный. Он чувствовал себя неумелой марионеткой, еще не научившейся двигаться в этом новом кукольном мире.

Резкие крики вывели его из оцепенения. Он стал осознавать, что происходит. Во-первых, он, Дунаев, не виден никому. Во-вторых, у него есть «гармошка», причем автоматическая. Он может дергать пространство и время. Вот сейчас Дунаев на крыше, а в следующее мгновение – внизу, на развороченной брусчатке. Идет мимо колонны немецких танков. Раздался выстрел, и Дунаев перескочил на пару минут раньше, чтобы проверить, кто стреляет. В мыслях он произнес: «Приближение». И увидел в окне полуподвала заросшее черное лицо с красноватыми белками глаз. Рядом с лицом показалось дуло автомата. Дунаев скакнул на пятнадцать минут назад. Лица еще не было. Парторг быстро прошел сквозь стену и оказался во тьме. Он подумал: «Освещение» – и стал видеть в темноте. Он увидел плакат на стене и человека, входящего в дверь. Человек шел крадучись, ноги его были чем-то обмотаны и казались медвежьими. Он был страшен. Перед Дунаевым был один из последних защитников Брестской крепости. Парторг тихо, запинаясь, промолвил:

– Спокойно. Я парторг Дунаев. Ты меня видишь?

Человек резко обернулся и посмотрел Дунаеву в глаза. Потом он перевел взгляд выше, и парторг ощутил, что он смотрит на девочку у него в голове.

– Полковник Царев. Здесь Иваном-Царевичем звали. Шас я один, наверно, остался. Синяя нас всех одолела. Ух, что здесь было! Синяя свой платочек разорвала! Меня в Подковыку и в Заковыку вжарило. Но цел остался. Видеть стал в темноте.

– А раньше не видел? – спросил Дунаев.

– Как-то научиться не пришлось. Но твоего брата мне всегда видать. С детства видел тех, кого другие не видят. И сам таким стал.

– А Гармошка у тебя есть? – поинтересовался Дунаев. – Приближение есть?

– Все есть, не беспокойся, – заверил его вдруг Иван-Царевич совершенно другим тоном, хлопнул его по плечу и сказал: – Пошли прогуляемся!

Небрежно засунув руки в карманы (Дунаев угостил Ивана-Царевича папиросой), они вышли из подвала и поднялись на крышу. Здесь Иван рассказал:

– Синяя – Большая Карусель. Постоянно с Паразитом ходит. С тех пор как от ребят своих улетела. Где подцепила его – неведомо, а только воин она первоклассный. И Паразит – оружие превосходное. Он тебе и всю информацию высосет, и мысли тайные, и мозги, и кровь, когда кричит. Слышал, как Паразит кричит: «Агу-агу... агушеньки!»

Ивана передернуло. «Зеленые лягушеньки!» – почему-то подумал Дунаев, а Иван-Царевич вдруг помрачнел:

– Схватка у меня с Синею была неожиданная. – Он внимательно посмотрел на парторга каким-то знакомым взглядом.

– Что же случилось? – спросил Дунаев, будто о чем догадываясь.

– Да как тебе сказать... Не смог я ее по ранцу хлопнуть, – человек спокойно затянулся самокруткой, и Дунаев вдруг узнал в нем Поручика. – Здесь все погибли. Кроме одного. Один остался. Один-одинешенек. А мне одну вещь у него узнать надо. Одну только. Одну. – Поручик закрыл глаза и несколько минут сидел молча. Где-то под ними слышались гул танков и голоса немцев.

Дунаев теперь с удивлением вспоминал тот чудовищный корневой страх, который он раньше испытывал при виде немецких танков, фашистских униформ, при звуках военной немецкой речи.

Теперь он стал постепенно привыкать к немцам, он перестал обращать на них внимание. Они вошли в жизнь – такие жестокие и нелепые, в своих глупых мундирах, похожие на чудовищные тени, извлекающие кровь из глубины предметов. Он начал понимать, что настоящие враги – чудовищные и сильные – стоят за этими теньями, за металлическим грохотом перемещающихся частей колоссальной армии и ему только предстоит встретиться с ними лицом к лицу.

Поэтому Дунаев уже не так, как в первый раз, испугался, когда Поручик снова оставил его одного, просто сказав:

– Ну ты походи пока по городу, посмотри расположение частей. А я в госпиталь смотаюсь, с раненым поговорю.

Дунаев спрыгнул с крыши и пошел по улице, попыхивая самокруткой и глубоко засунув руки в карманы пыльника. Иногда ему приходилось переступать через неубранные мертвые тела, иногда он попадал в толчею немецких солдат, которые возились на улицах, растаскивая завалы и расчищая путь для прохождения все новых и новых автоколонн.

«Ишь силищу какую против нас приперли», – подумал парторг, но уже без всякого страха.

Его невидимость была достаточно зыбкой, время от времени его замечали. Два раза его окликали часовые, но как-то вяло и подавленно, как дети, окликающие игрушку, которая в темноте комнаты сама ползет по ковру.

Дунаев отметил, что его восприятие немцев избавилось от «карикатурного эффекта», который так измучил его тогда, около деревянного Мишутки, когда он первый раз увидел живых врагов. Теперь немцы казались обобщенными, смазанными. И патологическое впечатление, что они говорят на искаженном русском языке, больше не преследовало Дунаева.

Только один раз он увидел явно карикатурного «подозрительного» персонажа. Это был маленький, кругленький толстячок в мундире офицера особых частей СС, с рыжими, торчащими волосами и лицом, густо покрытым веснушками. Он стоял на балконе одного из уцелевших домов и смотрел на улицу. Когда он повернулся, чтобы уйти в глубину комнаты, Дунаев увидел, что френч у него странно оттопыривается на спине, как будто под ним спрятан горб необычной формы или засунут какой-то предмет.

Парторг долго ходил по Бресту, пока не оказался на окраине города, на незаметной улице с маленькими деревянными домиками. Здесь стояла странная тишина и совсем не было людей. Во многих окнах были разбиты стекла, но в основном дома не пострадали. Внимание Дунаева привлек нарядный домик с голубыми наличниками. Во всех его окнах стекла были целые и поражали абсолютной стерильной чистотой. Та же поразительная чистота и аккуратность присутствовала во всем облике домика: на подоконниках цвели анютины глазки, окошки были изнутри занавешены свежими синими занавесками в белый горошек. Дунаев толкнул калитку

(отметив про себя, что ее выкрасили дня три назад) и вошел в палисад. Всюду были цветы. На лужайке лежали грабли – видно было, что здесь недавно пололи траву. Дунаев взошел на крыльцо, вошел в прихожую. Прихожая была совершенно пуста: выскобленный добела деревянный пол, свежоштукатуренные стены. Только в углу были сложены какие-то продолговатые предметы, накрытые ковром. Дунаев почувствовал, что ковер издает легкий аромат женских духов.

Он присмотрелся и оледенел: из-под ковра чуть-чуть торчали детские пальцы с узкими розовыми ногтями. Одним движением он скинул ковер. Под ним были человеческие тела. Целая семья была сложена здесь: от стариков до детей. На трупах не было никаких следов насилия, ни одной капли крови. Все были одеты в праздничные глаженные платья и выглядели нарядными, как будто смерть застала их за именинным столом. Лица были спокойные, словно застывшие в благостном сне.

Дунаев почувствовал, что кровь закипает у него в жилах.

– Сволочи! – прошептал он. – Зверье поганое!

Не сомневаясь более ни минуты, он решительно распахнул дверь во внутреннюю комнату. Запах женских духов стал сильнее. Он увидел, что на скромном сельском трюмо расставлены флаконы, лежит черепаховый гребень и пилочка для ногтей. В кресле притаилась черная дамская сумочка. Дунаев вошел. Было пусто. Он посмотрел в трюмо и подумал, что совсем одичал за последние дни. Перед ним стояли его отражения: грязные, бородатые, с биноклями.

Внезапно он увидел в зеркале, как за его спиной бесшумно приоткрылась дверь и в нее проскользнуло что-то синее. В следующее мгновение на запястье ему легла узкая и прохладная женская рука.



Глава 15

Синяя

Парторг давно не видел женщины. Теперь перед ним стояла молодая женщина изумительной красоты. Длинные прямые волосы обрамляли узкое, нежное лицо, бледное, с сияющими глазами. Казалось, что эти глаза смотрят сквозь пургу и зимний мрак, смотрят с загадочной лаской. Так на крошечное существо, путешествующее лесом, смотрят высокие небеса из-за далеких сугробов, повисших на верхушках сосен. На женщине был аккуратный темно-синий жакет с золотыми пуговками и такого же цвета юбка. Шею обнимал белоснежный воротничок. На груди висел серебряный медальон.

– Заходите. Не стесняйтесь, – сказала женщина. – Вы можете сесть вот здесь.

Она говорила с легким акцентом, напоминающим эстонский.

Дунаев прошел к столу, но садиться не стал, пристально глядя на женщину.

– Кто вы такая? – спросил он, явно не веря своим глазам.

– Прежде всего воспитанные люди называют свое имя, – произнесла женщина.

Дунаев ошеломленно уставился на нее. Какое, посреди войны, все это имеет значение? Но он чувствовал, что не все так просто, как на войне. Где-то, совсем рядом, велась божественная игра, без страха, без боли. Дунаев видел, что этой женщины война вообще не коснулась. И в то же время он уже понимал, что это и есть Синяя.

Он перескочил на минуту назад и одновременно в другую комнату, полутемную, с кроватью под периной и с горкой подушек. Синяя стояла рядом с ним как ни в чем не бывало. Она смотрела на него так, будто на ее носу были очки, – поверх несуществующих очков. «Поверх глаз своих же смотрит, будто лбом, – подумал Дунаев и догадался: – Это же она так на Машеньку смотрит!»

– Увы, здесь нет ни чистых улиц, ни магазинов, ни парков и зоопарков, ни гуляющих с детьми и собаками людей, – вдруг произнес парторг. Одновременно он ощутил холод в голове.

– Все это будет, – спокойно ответила женщина. – За этим мы и пришли сюда. Здесь будут чистые, прохладные улицы, и зоопарки, и люди будут гулять с собаками и детьми. Сто-рожа зоопарков будут настолько наивны и честны, что захотят прикрыть своими форменными тужурками наготу мраморных статуй. И будут детские шалости, и капризы, и вздорное поведение. И даже кое-где будет сказываться недостаток воспитания, но все это будет исправлено благодаря строгому и неусыпному вниманию няни, организующей как благопристойность дня, так и загадочные приключения ночи. Так будет, пока не переменится ветер.

Слушая ее спокойный, размеренный голос, с металлической точностью выговаривающий слова, Дунаев испытывал смешанное чувство робости, смущения, гнева и отвращения, которое (как он чувствовал) вот-вот перейдет в обожание. Ему мучительно захотелось встать на колени и прижаться лицом к ее аккуратно выглаженной юбке, просить прощения за свои шалости, за свою необузданность. И испытать скупую ласку прохладных, справедливых рук. Он пересилил себя, и у него хватило духа ответить:

– Ветер переменится скоро. Очень скоро. Поднимется не просто ветер – ураган народного гнева. И он выметет отсюда вашу сатанинскую карусель. Как вас зовут?

– Мария, – ответила она, как будто не расслышав предшествующих слов. – Может быть, вы выпьете кофе?

Дунаев не любил кофе, но внезапно воспоминание о его горьковатом вкусе показалось ему приятным. Он кивнул.

Синяя указала ему на кресло, а сама вышла в соседнюю комнату. Дунаев сел, но тут что-то заставило его вскочить и броситься в угол. Там он прижался к стене, оставившись неподвижными от ужаса глазами на дверь, в темном проеме которой только что исчезла Синяя. За дверью в соседней комнате заплакал младенец. Ничего более душераздирающего не слышал прежде Дунаев. Голос был тихий и жалобный, невыразимое горе смешивалось в нем со зло-вещим, словно механическим лепетанием и с нотками мучительного, слабого, как бы надлом-ленного воя, будто не к маленькой Луне, а к Земле откуда-то с Луны тянулся холодной клейкой нитью этот вой.

Видимо, это плакал Паразит. Голову парторга сковала лютая стужа, в глазах побелело. Засунув два пальца в рот, он оглушительно свистнул, да так, что у самого заложило уши. Краем глаза он заметил, что за его головой на стене висит фарфоровое блюдо с каким-то изображе-нием. Он разглядел лужайку, купы синих деревьев и маленькую девочку, по виду школьницу, уходящую между деревьями, с белым школьным ранцем за плечами. Не раздумывая, Дунаев ударил по блюду кулаком. Стало ослепительно светло, из головы Дунаева поднялся мощней-ший столб холода. Дом весь задрожал, все заиндевело и поплыло. Потом наступила тьма. Кто-то негромко, интеллигентно кашлянул в тишине и тьме, и Дунаев сорвался и полетел куда-то вниз. Перед ним возник, словно бы отраженный в зеркале, профиль Синей. Издалека донесся ее голос:

Почему вы покинули нас,
О дерзкий предутренный странник?
Эту редкую вечную соль
Вы насыпали в крошечный ранец.
Эта боль вдруг вошла в наши сны –
Голова не кричит, не рыдает.
Знать, неплохо воспитаны мы,
И о боли никто не узнает.



Глава 16

Возвращение в избушку

Дунаев несся куда-то. Он снова был в Промежутке, где почти не было вещей, а были только ветер, скольжение, свист, стремительность и шелест.

Он не мог понять, то ли он победил и эта невероятная безудержная скорость его полета объясняется упоением и восторгом, то ли он совершил какую-то нелепость, может быть даже непростительную, и теперь вынужден бежать. Однако постепенно пришло успокоение.

За ним никто не гнался. Промежуток был пуст и свободен, как железная дорога, освобожденная для специального курьерского поезда. Вместе с успокоением нагрянула и усталость, и парторг на лету забылся обморочным, но сладким сном. Сонного, его вышвырнуло около самой Избушки, да еще с размаху шмякнуло о деревянную дверь, так что поневоле пришлось проснуться. Кряхтя и постанывая, он поднялся с земли и огляделся. Он снова был в самой глубине леса, возле избушки Поручика, каждое бревно которой уже было знакомо ему и казалось родным. При виде избушки даже слезы выступили на глазах. Он подумал, что, видимо, только что подвергался страшной опасности и счастливо ее избежал.

– Ай да парень! – услышал он веселый голос Холеного. – Да ты не самый плевый из тех молокососов, что шатаются по лесу! Ишь как от Паразита увернулся! Сноровистый ты.

Поручик сидел на крыльце, держа в руках стакан с каким-то травяным настоем и отпивая из него мелкими глотками. Кружку с таким же пойлом он протянул Дунаеву. Напиток был горек, однако снял дрожь во всем теле.

– Ну что... у Синей, значит, в гостях побывал? Знатное дельце. Это она тебе честь оказала, голубок. Не каждому такая честь выпадает-то.

– Кто... кто она? – прошептал Дунаев, и в сознании мелькнули лучащиеся глаза Марии.

– Ты ведь на волос от смерти был. Она – враг, да не из захудалых врагов. Смертоносица истовая. Ну да ты ее по ранцу хлопнул, таперича она помедлительнее станет. А как зима придет, мы Синюю скрутим. Скрутим, милоч. – Холеный прищурился и засмеялся.

– Да как же так! Неужто зимы ждать? – воскликнул Дунаев. – Она же за это время народу побыет-покосит видимо-невидимо.

– Ну ничего, ничего. Найдется и на старуху проруха. Повоюешь – еще не таких врагов узнаешь. Есть и пострашнее. Да только кого наша русская подковырка не брала?

Сгущались сумерки. Спасаясь от комаров, они прошли в избу. Дунаев сразу завалился на печку.

Поручик еще продолжал бормотать что-то, но Дунаев больше не разбирал слов. Сон одолевал его.

Ему приснилось, что он сидит в кинотеатре. Показывают комедийный фильм. В зале то и дело раздаются взрывы хохота. Однако, как Дунаев ни всматривается в экран, ничего, кроме белесой мглы, разобрать не может. Потом он замечает, что вокруг никого нет, а хохот идет с экрана.

– Чего смеетесь? – спросил Дунаев у экрана. Хохот стих. Наступила тревожная тишина. Дунаеву почудилось, что откуда-то сверху и сзади кто-то мягко слетел и сел в заднем ряду, за спиной парторга. Дунаев вздрогнул и оглянулся, но снова ничего не увидел. Зато услышал. Это было тарыхтение – легкое, как от маленького вертолета. Вокруг воздух чуть-чуть дрожал и расходился мелкими волнами.

Парторг проснулся, но звук и дрожь в воздухе не исчезли. Почему-то тело парторга оказалось не на печи, где он заснул, а на лавке возле оконца. Мутноватое, грязное стекло слегка вибрировало. Вдруг ветер резко распахнул раму. Трава на лужайке стлалась и расходилась кругами от какого-то невидимого центра. Затем закачались верхушки деревьев. Да, была полная иллюзия, что за окном с лужайки поднялся маленький, невидимый вертолет. Парторг посмотрел в пустое небо, где замирало, удаляясь, легкое тарыхтение.

Он смотрел вслед чему-то, исчезающему в западном направлении, но что это или кто это, он не знал.

Неопределенная тревога заставила его вскочить с лавки и заметаться по комнате. Поручика нигде не было. Комната вдруг показалась загроможденной какими-то ненужными предметами: парторг то и дело наткнулся на рассохшиеся тумбочки, покосившиеся этажерки. На полочках он впервые заметил слежавшиеся пыльные стопки каких-то книг. Схватил одну из них, но это оказался старый, пожелтевший номер журнала «Физкультура и спорт». Подстрекаемый какой-то нервной бессмысленной потребностью в действиях, Дунаев свернул журнал в трубку и засунул его себе в штаны таким образом, что конец трубки торчал из полурастегнутой ширинки, как конец возбужденного члена. Затем он снова заметался. Несмотря на состояние неменяемости, в котором он пребывал, все вокруг было удивительно отчетливым, подробным. Никогда раньше он не видел, не умел увидеть ни одной детали тех вещей, которые находились внутри избушки. Как будто возможности такой раньше не было и его внимание было насильственно отвлечено от этих вещей и вещей. Теперь возможность детального изучения как будто бы появилась, но сознание Дунаева было не в силах сложить наблюдаемое в какую-либо цельность. Все казалось исполненным значения, но это значение оставалось неуловимым. Дунаев метался словно внутри зашифрованного текста, наталкиваясь на конспиративные уловки, на неуклюжие и дряхлые элементы некоего кода. И все это порождало в нем такое смятение и такую глупость!

– Козел! – прошептал парторг. – Я просто козел!

Он снова заметил мутные фотографии на стенах, которые при первом поверхностном взгляде показались ему неприличными. Такими они и были. Под каждой из этих фотографий, на бревенчатую стену избушки, был наклеен кусок выцветших, покоробившихся обоев. Эти обои, грубо топорщившиеся на неровных изгибах бревен, с их мелкими, поблекшими букетиками полевых цветов, с кое-где проступающей позолотой, были так неуместны и претенциозны,

что это заставило бы парторга рассмеяться, если бы его внимание, заряженное маниакальной эвристической серьезностью, не утонуло бы в несуществующей глубине этих «извивающихся небес». Он представил себе возможность своего существования в мире, где были бы только букеты и блески, и развевающиеся ленты, и шелест стареющей бумаги. И видение такого скудного, но изящного бытия оказалось настолько затягивающим, что его пробила дрожь.

– Давненько я не видел узоров, – прошептал он. Но это было только очередное фальшивое откровение. Он видел узоры, конечно, совсем недавно. Хотя бы узор на его собственном галстуке, который он почему-то продолжал носить, хотя тот превратился почти в тряпку.

Чтобы отвлечься от обоев, он стал рассматривать фотографии. На первой две голые полнотелые девушки в купальных шапочках стояли на краю бассейна. Одна присела на корточки и трогала рукой воду, смеясь. Приглядевшись, можно было увидеть, что под водой, на кафельном дне бассейна в непристойной позе притаился аквалангист. Его дыхательная трубка высывалась из воды, но на нее села белая птичка, и аквалангист корчился одновременно от сладострастия и удушья. Девушки смотрели на птичку и смеялись. Второй снимок, сильно отретушированный, представлял из себя своего рода скабрезную иллюстрацию к сказке Андерсена «Принцесса на горошине». На огромной горе перин, составляющих величественную мягкую колонну, возлежала девочка лет двенадцати, в ночной рубашке, соблазнительно задравшейся таким образом, что видны были девственные гениталии. Она сладко спала, подложив руку под головку. Во сне из ее приоткрытого рта стекала тоненькая струйка слюны и расплзлась полупрозрачным пятнышком на подушке. Из-под столпа наслаивающихся перин высывался спрятавшийся там человек, занимающийся онанизмом. По всей видимости, он только что кончил, и струйка спермы, выбрызгивающаяся из его члена, по форме повторяла слюну девочки – это были два параллельных завитка, своего рода белесые головастики в сумеречном пространстве фотографии, образующие «открытые кавычки».

«После открытых кавычек идет прямая речь», – мелькнуло в голове у Дунаева, и он понял, что кто-то собирается что-то сообщить ему таким затейливым способом. Он понял, что этот «кто-то» выше и значительнее Поручика. И может быть, это не «кто-то», а скорее «нечто», и оно даже имеет отношение к тому, о чем Поручик как-то упомянул в среднем роде: *«Научился кое-чему у того, что здесь раньше было. А оно потом ушло и все мне оставило»*.

Дунаев стал двигаться вдоль стен комнаты, внимательно рассматривая фотографии одну за другой, вглядываясь в каждую деталь.

Вот фото с девушкой в легком платьице, стоящей на четвереньках над отверстием люка. Крышка люка лежит на спине девушки и заставляет ее сладострастно изогнуться и запрокинуть голову в оргазме.

А вот мальчик лет десяти, совокупившийся с огромной пушистой кошкой. Кошка пристроена у него на коленях, хвост ее закрывает нижнюю часть лица мальчика, но видны его зажмуренные глаза. Видно, он вот-вот кончит.

Вот снимок с закругленными уголками. На нем девочка с большим бантом в волосах рассматривает в увеличительное стекло член маленького мальчика. За ее спиной в приоткрытую дверь заглядывают две смеющиеся старушки, видимо бабушки детей.

«Что бы все это могло значить?» – мучительно раздумывал Дунаев.

Внезапно он вздрогнул. С одной из фотографий (тоже с закругленными уголками) на него смотрели незабываемые глаза Синей. На снимке была видна комната, по виду детская в каком-то западноевропейском городе. Женщина была почти совсем голая – она раздевалась перед сном. Сквозь деревянные прутья младенческой кровати за ней следили крошечные близнецы – мальчик и девочка не более двух лет. Их пухленькие белые лица были искажены такой безудержной похотью, какая случается только у некоторых стариков на последней стадии сенильного разложения. Однако Синяя была настолько прекрасна, что у парторга сжалось сердце. Внезапно он с ужасом осознал, что любит ее.

Мельком он глянул на соседний снимок и застыл: на нем крупным планом был снят участок стены в той же детской и была видна обнаженная рука Синеи, узкая и тонкая, сжимающая черепаховый гребень. В центре фотографии было блюдо, то самое блюдо, которое он разбил кулаком. Парторг вздрогнул и сорвал фото со стены. Затем, уже ничего не соображая, сорвал и соседнее фото, с голой Марией, вскочил и побежал во двор, сжимая фотографии в руках. Он разыскал укромную баньку, но это была уже не банька, а замшелый сарай, заваленный неведомо чем. В углу высилась какая-то куча. Дунаев бросился туда, и, расшвыривая вещи, наконец обнаружил колодец, закрытый намертво железным люком и замком. На люке была отлита рельефная буква Р. Собрав силы, Дунаев ударил железным ломом по замку. Тот слетел, открыв небольшой зазор. Воткнув туда лом, Дунаев резко поднял его, и крышка люка откинулась. Заглянув с ходу в колодец, Дунаев заметил, что в неизмеримой глубине этого пустого провала есть какое-то свечение, вроде бы даже бросающее отсветы на стены. Парторг посмотрел на фото Марии, и ему мучительно захотелось съесть это фото. Не успев передохнуть от волны этого желания, он испытал другое: броситься в колодец. Это наваждение было гораздо сильнее предыдущего, и парторг, чтобы как-то справиться с ним, поджег гильзой обе фотографии. Долго он смотрел, как пепел летит в глубину. Вдруг он быстро разделся и швырнул всю одежду в колодец. Оттуда уже вовсю шел запах жасмина. Свет приближался. Не помня себя, Дунаев плюнул в колодец, и в этот момент в голове у него Девочка сказала: «Наконец-то ВЕЩИЧКИ спрятал».

Совершенно внезапно и плавно («как по маслу») перед Дунаевым раскрылась неведомая ему прежде прохлада. Бесцветное свечение шло прямо на него, мягко окутывая лицо и затылок. Затем как будто из бутылки выбило пробку, и он очнулся.

Он лежал в траве совершенно голый, и только его член, почему-то находившийся в стоячем состоянии, был обернут журналом «Физкультура и спорт». Над ним было высокое утреннее небо, освещенное первыми лучами солнца. Тело оказалось мокрым от росы. Оглушительно благоухали цветущие травы. Пели птицы. К их пению примешивался знакомый смех и жужжание. Дунаев увидел, что над ним летает муха с бронзовеющим брюшком. Затем сбоку вдруг наклонился Поручик, ловко поймал муху в ладонь и засунул ее в карман. Смеющееся лицо Поручика блестело. В руке он держал большую корзину.

– Эй, парень, ну ты принарядился! Пойдем-ка по грибы. Надо тебе подкрепиться. Потом на Смоленск полетишь. Один. Без меня.

Дунаев встал, чувствуя головокружение и небывалую легкость, почти невесомость. Ему казалось – толкни его легонько, и он плавно полетит, лежа в воздухе и покачиваясь, как лодочка. В голове что-то хрустело и шел треск, концентрическими кругами расходясь от Девочки.

«Наверное, во сне ворочается...» – нежно подумал Дунаев.

– Ну и молодчина ты, Дунай! – одобрительно посмеивался Поручик, доставая откуда-то из сапога кисет с табаком. – Как тебе удалось Вещички спрятать, ума не приложу! Ты же попал в Промежуточность, там до Заворота добрался, но поскольку не ориентируешься, случайно сверху оказался, а там как раз Тайник был. Тайник всегда перед любым Заворотом имеется, да только не каждый может там свои Вещички спрятать. И лишь некоторые всеми тайниками владеют, ВЕЗДЕ свои Вещички прячут. А это важно – их спрятать. Тогда как будто гора с плеч слезает и крылья за спиной распускаются. Много всего дано становится тому, кто на Тайник свои вещи кинул, а еще больше тому, кто вернуться сумеет после Заворота без помех. Без сучка без задоринки. А ты вот и Вещички припрятал, и Заворот одолел, но только сумеешь ли вернуться, не знаю, не знаю...

Все вокруг стало мельчайшим, неотчетливым, как с другого конца подзорной трубы. Дунаев вдруг увидел, что сидящий Поручик – вовсе не Поручик, а стожок гнилого сена, прикрытый простреленным мешком. Парторг ощутил, что внизу ничего нет и он давно уже летит

в бесконечную пустоту и все летит вместе с ним – и яркое солнце, и сверкающие изумрудные заросли, теперь еще покрывшиеся какой-то паутиной инея. Он абсолютно все забыл: не мог вспомнить, что было только что, мгновение назад. Потом он забыл то, что он все забыл. С ним что-то происходило, он вроде где-то оказывался, но никогда уже не мог вспомнить это.

И тем не менее, несмотря на все эти ощущения, одновременно с ними, он шли с Поручиком по лесу и собирали грибы. Точнее, собирал их Поручик, ловко наклоняясь то тут, то там, раздвигая траву, разгребая заскорузлыми пальцами палую траву и хвою.

Дунаев, как был голый, плелся за ним в сомнамбулическом состоянии. Голова, как у малого ребенка, запрокидывалась то назад, то вбок, то падала на грудь.

В очередной раз мотнув головой, он совершенно ясно увидел красную блестящую, как медуза, спину сыроежки. Наклонившись, он заметил под шляпкой юбочку и позвал Холеного.

– Вишь, заметил-таки! Как не заметить?! Да только пробовать их не вздумай. Их здесь нельзя пробовать. Вот как вернемся, тогда я и научу тебя их есть. Грибы здесь особенные, их собирать надо и с ними возвращаться.

– А если съесть? – полюбопытствовал Дунаев.

– Ох, Дунай, несладко будет. При нынешнем слепом умении ты с ума сойдешь и назад возвратиться не сможешь. А воин должен беспрепятственно туда-обратно сноровиться. Да ты и права не имеешь рисковать – совета лучше у Машеньки спроси.

Дунаев положил гриб в корзинку Холеного и посмотрел на небо. Оно как-то необычно изменило оттенок, стало каким-то суконным. Солнце покраснело и отражалось в каплях росы.

Отстав от Поручика, парторг курил самокрутку и тут увидел еще один гриб, похожий на сморчок. Откровенно говоря, он походил больше на мозги, но Дунаев гнал от себя эту мысль, срывая его. Он ощутил внезапную бодрость, держа его в руках. Все вокруг потемнело, как от глотка чистого кислорода. Быстрым шагом он нагнал Поручика, вручил ему находку и удостоился похвалы за редкий и ценный экземпляр Дума.

– Думы-грибы растут только над утопленниками, ими кормятся. Еще только на могилах умерших лунатиков растут, больше нигде, – пояснил Холеный и подмигнул. Опять Поручик исчез впереди, а Дунаев присел на кочку и заметил в чаще что-то темное, возвышающееся. Приблизившись, Дунаев обнаружил старый шалаш, покрытый мхом, черный и полуобвалившийся. Дунаев глянул внутрь. Там, в полутьме, было пусто, но в самом центре рос большой гриб, на короткой белой ножке, от которой вверх тянулась, как крона тополя, распухшая белая губка. Протянув руку, Дунаев ощутил тепло. Но он сорвал гриб, причем белизна того приняла несколько фиолетовый оттенок. Он забыл о словах Поручика, покоренный красотой гриба. И мысли его обратились к Машеньке. Та во сне прошептала:

– Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Вскочи на пенек
И съешь грибок!

Дунаев, держа гриб в руке, запрыгнул на пенек и стал жевать губчатую, хрустящую, хрупкую мякоть гриба.

И тут все запрокинулось. Дунаева завертело, потом все остановилось, и парторг отчетливо услышал хруст шагов. Вдруг он подумал: «Невидимка» – и стал невидимым. Затем он перескочил на два часа назад и обнаружил себя одетым и стоящим на крыльце избушки. Из сеней задумчиво вышел Поручик. Увидев Дунаева, он всплеснул руками и захохотал.

– Вернулся, милоч! – орал он. – Вернулся, родимый. Позабыл все и вернулся!



Глава 17 Смоленск

– Да, ты обучаешься не по дням, а по часам, – говорил Холеный. – Я же говорил, что воин ты от природы. Вот, например, «невидимка» и прочие чудеса, что были Мушкой заложены, ведь другие месяцами обучаются, как овладеть всей этой техникой. А тебя Шалашный гриб и так всему научил, помог тебе возвратиться. И больше учить тебя этому уже незачем.

Необъятна благодать русских лесов – она терпкая и липкая, как звук пчелиного гудения. Но поистине невероятным кажется действие большой реки на душу человека. Дунаев, еще недавно задумчиво сидевший на высоком берегу Днепра и следивший за двумя потоками – реки и армейской колонны, движущейся вдоль реки по пологому берегу, теперь не удержался и шагнул среди солдат, в грязной форме и жестких сапогах, такой же, как другие солдаты.

Тягостное уныние царило среди пехоты, подходящей на помощь крупному соединению, которому явно грозило окружение противником. Все молчали, иногда глухо перешептываясь. Дунаев угостил рядом идущего солдата махоркой и на ходу спросил его:

– А как дела в городе?

– Да хуево дела-то, – отвечал солдат. – Все чего-то волюну тянут, а немец не ждет. У него молниеносная война, а у нас что? Не готовы мы к войне-то оказались. Нам только в войнушки во дворе играть, ебать не встретить!

– А куда идем? – спросил Дунаев.

– Да ты откуда свалился, браток? Ты приبلудный, что ли?

И только парторг приготовился врать свою легенду, как по рядам прошел шум.

– Штабные весть принесли! – донеслось до Дунаева. Пройдя еще немного, он увидел довольно ухоженного связного, стоявшего перед группой офицеров.

– Как взорвать? Они что там, рехнулись? Ведь там же целая армия, считай, остается! – горячился молодой полковник. Штабной рассудительно отвечал:

– Вас всех немцы все равно к реке прижмут и сбросят к ебаной матери!

– А перевозка? Нагрузка? Морозка? – вдруг спросил один офицер.

– А это... В нарукавничках такое дело не сделать, – скривился в усмешке штабист. – Мы здесь не в канцелярии бумажки заполняем. В общем, я доложу Тимошенко о ситуации. Смоленск мы уже сколько дней держим... надо не отпускать!

– Мы? – переспросил с горечью молодой офицер. – Это мы держим, а ты как раз в канцелярии сидишь... А у нас, между прочим, силы на исходе.

– Ну ты это – не горячись, – пробормотал штабист и вдруг махнул рукой: – Ну ладно, я поехал. – И он быстро зашагал к стоящей неподалеку «эмке». Хлопнула дверца, и Дунаев

вздрагнул. Колонна пехоты давно прошла, а он все стоял неподвижно – невидимый и какой-то горячий.

Он впервые отправился в бой один, без Поручика, без Мухи-Цокотухи, без каких бы то ни было других помощников.

Пока летел до Смоленска, видел множество столбов дыма. Стояла страшная жара, всюду светило солнце, вокруг были гарь, дым, копоть, как будто весь мир жарили на сковородке. И дух захватывало от этого жара и кипения. Голова сильно кружилась. Приземлившись, он обнаружил, что от его тела идет дым – прозрачный, едкий, с запахом пота. Тут-то, чтобы остыть, он и посидел у реки. Но это не помогло. Он увидел лица советских солдат – такие замученные, родные, и ему стало не по себе. Стало досадно на свою нелепую и скандальную исключительность, на свою невидимость и нечаянную лесную судьбу. Почему же он не вместе с ними, не в одном строю? Он попал было на несколько минут в этот общий строй, но кем он был там? Лазутчиком в стане своих.

«Ну что ж, если так сложилась судьба, то мы найдем способ узнать, кто здесь хозяйничает!» – яростно подумал Дунаев.

Постепенно он раскалялся все больше и больше и, войдя в город, передвигался в столбе мутного дыма.

Ему даже трудно было смотреть сквозь этот дым. Было страшно и горько здесь, где смертельная угроза, нависшая над сильными и слабыми, безумными и мудрыми, жестокими и добрыми, казалось, опаляла землю своим тяжким дыханием. Будто кто-то неотвратимо приближался, на ходу вытаскивая из сумки смертельное оружие, и заряжая его, и целясь... «Ничего не шадить!» – мелькнула у парторга мысль, и он поймал себя на том, что эта мысль не его, она кем-то внушена. Краем глаза он заметил тень на раскаленной пыльной земле и понял, что пролетел самолет. Прямо из неба посыпались бомбы, загрохотало. Он отскочил на какое-то время назад, но, к своему удивлению, обнаружил себя не на том же месте, а в каком-то помещении, похожем на комнату кружка судовавиамоделистов в районном Доме культуры. В потемках смотреть было почему-то трудно, все разъезжалось, и нельзя было ни на чем сфокусировать взгляд. Но ощущение Дома культуры не проходило. Девочка внутри головы парторга прошептала, очень медленно и невнятно произнося слова: «За-держи Ма-лы-ша».

Дунаев, шатаясь, пошел сквозь комнаты. Вот он наткнулся на дверь, открыл ее и попал в небольшой зал. Здесь тоже было душно и сумеречно, но видимость была получше. Он различил гардины с рюшами на окнах и огромные конструкции, напоминающие вентиляторы или пропеллеры, составленные в многослойные пироги. В центре зала можно было различить пробивающийся сквозь конструкции свет. Дунаев пробирался между стальными лопастями, рискуя порезаться об их острые и блестящие края, и наконец увидел в центре что-то похожее на кабинку кинооператора. В ней, спиной к вошедшему, сидел на стуле маленький белобрысый мальчишка, в шортах с помочами и чистой рубашке. Время от времени мальчик наклонялся и заглядывал в стеклышко на нижней грани прибора, вмонтированного в стол. Он обернулся к Дунаеву довольно скромным и опрятным лицом. «Как сюда попал этот мальчишка? Генеральский сын?» – лихорадочно думал тот.

– Как звать тебя, мальчонка? Как сюда попал-то? Взрослых кругом вроде нет. Смотри, как бы не набедокурил!

– Ничего, дяденька, не беспокойтесь. Я тут уже не первый годок занимаюсь, – важно ответил мальчуган.

Дунаев заметил, что мальчик испуганно смотрит под стол, на нечто, что нельзя было увидеть Дунаеву из-за скатерти, свисавшей со стола до самого пола. Под ногами мальчика валялось раскрошенное печенье.

– Покажи, что ты тут мудришь, – шагнул Дунаев к столу, но мальчик повернулся, чтобы выйти.

– Не здесь, дяденька, показывать надо. Это так, игрушка. А вот то, что главный наш мастер с нами, пионерами, смастерил, вот это посмотреть стоит. Идем!

Они опять шли среди лопастей и остановились в самой гуще.

– Вот тут, – мальчуган указал на стальную дверь в лопасти толщиной в сантиметр. – У нас движочки поставлены. Щас я вам покажу!

Он полез за ключом и вместе с ним вытащил маленькие карманные часы. «Золинген», – отметил про себя Дунаев. Вдруг мальчик хлопнул себя по лбу и закричал:

– Ой, батька из штаба идет! Мне ж дома как штык надо быть! У батьки совещание было, голодный придет, а картошки сварить некому! Не Пушкин же варить будет!

– Что ж делать? Идем, – сказал Дунаев и тут неожиданно вспомнил: «Задержи Малыша!» Он немедленно схватил мальчика за руку и вывернул ее.

– А-аа! Включается! – изо всех сил заорал мальчик и стал вырываться как бешеный. Поднялся гул, заработали мощнейшие двигатели, и все лопасти завертелись на предельной скорости. В одно мгновение и Дунаев, и мальчик были искромсаны в мелкие клочья. Эти куски взлетели на воздух.

Как ни странно, сознание Дунаева продолжало работать. Он висел в воздухе в виде парящих клочьев, не оседающих вниз из-за ветряного вихря, производимого вентиляторами. Малыш был тут же, он перемешался с Дунаевым. Первым делом Дунаев стал думать о Машеньке и об отторжении от Малыша. Но перемешивание произошло, и уже Дунаев знал, что мальчишка – враг, помощник немецкого офицера из особых частей СС, толстого маленького штандартенфюрера. Того самого, которого Дунаев видел на балконе дома в Бресте. Штандартенфюрер уже сидел на месте Малыша в центре чудовищного агрегата и громко хохотал, забыв обо всем. Дунаев отчетливо видел уродство штандартенфюрера – горб сильно оттопыривал мундир, отчего был виден толстый зад. Рыжие волосы походили на парик из пакли. Фуражка валялась на полу. Дунаев сосредоточился на этой фуражке, и она стала шевелиться. Потом, взлетев ввысь, она с размаху упала на голову офицера, ударив его козырьком по зубам. Тут же Машенька (которая теперь находилась неизвестно где, возможно, и она была рассечена на пылинки, но продолжала спать) засветилась под потолком ярче, чем лампа. Машенька пропела совет-заклинание:

Гуси-лебеди, летите
Над горящею землей!
Над кипящею смолой!
Эй, Холеный-Закаленный,
Принимай лебедушек!
Вынимай своих, чужих,
Ни живых, ни мертвеньких!
Принимай-ка роды, старче,
Чтобы битвы были жарче!

Дунаев понял, что надо призывать на помощь Поручика. Он стал иступленно повторять песню слово в слово. Вокруг задымилось. Внизу фашист, упав на пол, задышался и силился сорвать фуражку с головы. Но фуражка вцепилась в голову. Дунаев желал, чтобы она грызла его волосы и высасывала кровь, и мозг, и глаза из его черепа. «Значит, гуси склюют нас всех, а там уже Поручик разделит, кто есть кто», – думал парторг, вслушиваясь, но шум агрегата заглушал все остальное.

Гуси-лебеди, летите!

Постепенно Дунаеву удалось сосредоточиться на этом «взывании». Оно набирало силу, становилось властным, засасывающим, как труба. И даже показалось ему, что сквозь механический, скрежещущий треск бесчисленных пропеллеров он различает прохладный шелест множества белоснежных крыльев, шелест нежный и в то же время отстраненно-родной («Родной-чужой», – подумал Дунаев), приближающийся откуда-то издалека. Он обрадовался, и спящая Машенька, видимо ощутив приток сил, произнесла где-то безмолвными губами, издающими только (как показалось в этот момент Дунаеву) теплый шорох оберточной бумаги:

Лепка. Отклик. Скульптор дряхл.
Гипсового уронил.
На отцовских рукавах
Сын рассыпался без сил.
Словно перхоть, словно мел,
В седине отцовских рук
Внук воскрес – летуч и смел,
И воззвал примятых слуг.
Эти слуги как комочки
В тесте теплом и сыром.
Смастери, Малыш, мосточки!
Знай: твой дедушка пришел!
Деда можно и обидеть,
Оттеснить его в чулан,
Но за это смерть увидеть –
Помни это, мальчуган!

В этот момент вращение пропеллеров стало замедляться, как будто бы воздух сделался тягучим и густым, и острые как бритва лопасти начали увязать в нем. Тут же Дунаев почувствовал, что клочки мертвого Малыша, перемешанные с частицами его собственного тела, стали отделяться и оседать на пол к ногам корчащегося эсэсовца, быстро складываясь в детское тельце. Вскоре это был уже цельный мальчишечий трупик, лежащий на полу с беспомощно распростертыми тонкими руками, подогнувшимися ножками в коротких штанишках до колен и гольфиках, с запрокинутым посеревшим веснушчатым лицом и растрепанными, светлыми, почти белыми волосами. Шелест приближающихся крыльев стал слышнее. В этот момент Дунаев вдруг отчетливо увидел, что толстенький эсэсовец извивается вовсе не от страдания, которое якобы причиняла ему фуражка, а от самого что ни на есть веселого, отчаянно веселого смеха. Просто изнемогая от хохота, он наконец сдернул фуражку с орлом и черепом на околыше и швырнул ее в угол комнаты с такой силой, что она пробила каменную стену дома, и осталась сквозная белая дыра, как будто в этом месте прошел снаряд. Не поднимая глаз вверх на Дунаева, а глядя на мертвого Малыша и все еще сгибаясь от смеха, штандартенфюрер стал расстегивать пуговицы своего черного кителя. Его белые пухлые ручонки, похожие на сдобные булочки, неторопливо поднялись к воротничку, украшенному дубовыми листиками и руническими письменами SS, расстегнули его, затем – так же медленно – опустили к следующей пуговице, расстегнули и ее.

Дунаев следил за этой процедурой как замороженный, ощущая в сердце нарастающий ужас. Пропеллеры вокруг вертелись все медленнее, и время как будто замедлялось вместе с ними, все более и более превращаясь в вязкое, липкое время кошмара. Дунаев вдруг отчетливо и неуместно вспомнил свою первую ночь с женщиной, в шестнадцать лет. Вспомнил тот момент, когда она наконец поддалась на его уговоры и стала раздеваться. И он тогда с невероятным напряжением наблюдал, как она расстегивает пуговицы на блузке – одну за другой, так

же медленно, как это делал теперь штандартенфюрер, так же, как он, посмеиваясь, с покрасневшим лицом, глядя куда-то вниз и вбок. Тогда, с каждой расстегнутой пуговицей, Дунаева все сильнее охватывало вождение, теперь же им все сильнее овладевал ужас, но это было похоже: так же билось сердце, и подкашивались ноги, и кровь прилиwała к лицу, и слегка подташнивало, и кололо в висках...

«Это он свой “стриптиз” делает! – догадался Дунаев (или это подсказала ему Девочка?). – Сейчас Горб показывать будет».

Действительно, штандартенфюрер расстегнул китель (под ним оказалась красная клетчатая рубашка), снял его и снова со смехом швырнул в угол – китель со свистом исчез в дыре, пробитой фуражкой. Движения толстячка становились все более нарочитыми, он явно любовался собой и рассчитывал на эффект, напоминая то ли атлета в цирке, то ли какую-то отвратительную самовлюбленную проститутку. Один раз, мельком, он все же взглянул на Дунаева светлыми свиными полупрозрачными глазками, в которых застыло что-то томное и в то же время ясное и даже милое. Затем он медленно повернулся к Дунаеву спиной, и парторг увидел, что из спины у него (вместо горба) торчит пропеллер, излучающий резкое ослепляющее металлическое сверкание. В тот же момент сверху по периметру комнаты зажглась яркая, пестрая, исступленно-праздничная надпись: САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА В РАСЦВЕТЕ СИЛ.

За мир булочек с терпкой корицей,
За мир шалостей чистых детей
Он выходит отчаянно биться,
Не щадя ни мозгов, ни костей.
Знай же, тухлый шаман из болота,
Смехотворный удмуртский ванек,
Ты сегодня столкнулся с пилотом
Истребителем! Сгинь, паренек!
Я военно-воздушные сил
Вашей грязной и бедной страны
Уничтожил и сплавил в могилы
Ваших летчиков хрупкие сны.
И пока вы дремали на печках,
Вас во сне предавал я огню
И винтом с белоснежной насечкой
Ваши крылья срезал на корню.
Ты посмел Малыша укокошить!
На ребенка поднялась рука?!
Ну теперь выходи, мой хороший,
Ты узнаешь, что лопасть легка,
Что пропеллер мозг режет, как бритва,
И как воздух звенит тетивой,
И что значит смертельная битва –
Беспощадный и радостный бой!



Глава 18

Карлсон

Не успел Дунаев сообразить что-либо, как штандартенфюрер нажал пухлым пальцем себе на пупок, пропеллер у него на спине завертелся с бешеной скоростью, мгновенно превратившись в цельный сияющий нимб, и фашист взвился в воздух. В руке у него Дунаев заметил сачок – почти такой же, какой видел перед этим в руках у Поручика, когда тот остановил этим сачком стремительный полет Дунаева в небеса. Мгновение – и Дунаев был накрыт и опутан липкой белесой сеткой. В следующее мгновение Карлсон вылетел в дыру в стене и взвился высоко в небо. Когда они поднимались, Дунаев посмотрел вниз, но города почти не увидел – все заволочло черным дымом сражения, только кое-где виднелось пламя пожарищ и вырастали взрывы, похожие на тягостные пухлые деревья или столбы тумана...

Поднимаясь, они проскочили через полосу воздушного боя – колонна немецких бомбардировщиков шла прямо на них. От гула заложило уши, и Дунаев ничего не слышал: все происходящее разворачивалось в ватной тишине, как в кино без музыки. В какой-то момент он успел увидеть сосредоточенное лицо немецкого летчика в шлеме. Карлсон игриво махнул летчику рукой и увернулся, чуть не задев своим пропеллером о крыло. Впрочем, они были невидимы. Полет доставлял Карлсону не меньшее наслаждение, чем ранее Поручику, – он так же хохотал в воздухе и извивался, как от щекотки, упиваясь своей силой и ловкостью.

Они поднялись выше – теперь самолеты были где-то под ними и казались парящими черными крестиками, отбрасывающими смешные тени на далекую землю. Небо вокруг сгустилось, сделалось темнее, его синева, казалось, режет глаза. Поднявшись на эту высоту, Карлсон остановился и повис, вглядываясь куда-то в даль. Дунаев посмотрел туда же и различил приближающееся белое пятно.

«Гуси-лебеди, – догадался он. – Мне на помощь идут. Всей стаей».

Тело Карлсона затряслось от нового приступа радостного смеха. Он предвкушал бой. Лебеди быстро приближались. Выглядели они как-то странно, как искусственные, но клювы и глаза были свирепые – из открытых клювов шел смрад, как от тухлого мяса, разносящийся на большое расстояние. Огромные белые крылья были усеяны сосульками – лед на этой высоте не таял.

Дунаев представил себе, какое отвратительное зловоние источают лебеди на земле, при более теплой температуре, и его чуть не стошнило. Но несмотря на омерзение, Дунаев всем сердцем понимал, что в них – в этих «родных-чужих» ему существах – единственный шанс на спасение. Карлсон вывернул наизнанку сачок и выхватил Дунаева из сетки. Сачок (более не нужный) полетел вниз. Дунаев вдруг обнаружил, что представляет из себя теплую, только что испеченную булочку с корицей. Издеваясь, Карлсон показал эту булочку лебедям – стая замедлила свой полет, и парторг увидел, как в маленьких злобных глазках птиц зажглась изумленная

ялость. Они узнали его и теперь были в нерешительности, что предпринять для его спасения. А Карлсон, продолжая свои отвратительные кривлянья, то подманивал лебедей плюшкой, то подносил ее ко рту, нюхал, закатывал глаза, цокал языком и причмокивал, делая вид, что собирается откусить от нее. Лебеди кружили вокруг, выжидая подходящий момент для нападения. Внезапно Карлсон быстро поднес плюшку ко рту и действительно откусил кусочек. Дунаев почувствовал нестерпимую боль и потерял сознание. Он успел увидеть, как его кровь искрящимся фонтанчиком брызнула из надкушенной булочки на лебединые крылья и птицы бросились на Карлсона со всех сторон. Самое ужасное ощущение, испытанное во время укуса, была даже не боль, а понимание, что во рту у Карлсона – не зубы, а крошечные белые пропеллеры, вращающиеся и безжалостно режущие плоть. Дунаев пробыл без сознания, по-видимому, всего несколько секунд и очнулся, когда бой был в разгаре. Он по-прежнему был плюшкой и был сжат пухленькими пальчиками Карлсона – эти пухленькие пальчики обладали мертвой хваткой, как будто в них были скрыты железные пружинки.

Боевая тактика Карлсона изумила Дунаева, она была виртуозна, хотя и строилась на приеме, отличающемся чудовищным коварством.

Карлсон постоянно орудовал плюшкой-Дунаевым, плюшкой, истекающей человеческой кровью и, видимо, поэтому неодолимо притягивающей лебедей. Они тянули к плюшке свои длинные шеи, с резким гортанным криком шелкали клювами, пытаясь выхватить мучное, но тут Карлсон делал стремительный и виртуозный кульбит в воздухе и своим пропеллером перерезал им шеи и срезал головы. Они крутились как будто посреди огромного, белого, крылатого шара, среди оглушительного птичьего крика и биения крыльев, но в центре этого шара был другой шар – Карлсон, вращающийся все стремительнее, окруженный аурой из кровавых брызг, белых перьев, кусков разбитого льда и отрезанных лебединых голов. Одно за другим обезглавленные белые тела птиц, опрокинувшись и вертясь, отваливались от шара и падали вниз, к земле. Стая редела на глазах.

От холода кровь Дунаева стала стечь, и Карлсон дышал на место укуса, отогревая ее. Боль в боку усиливалась под нежным, теплым дыханием врага. С какой радостью парторг оказался бы в невыносимом зловонии лебедей и как губительно было детское тепло для него в эти минуты! Но увы! Карлсон вертелся со страшной скоростью, и лебединые головы все чаще попадали в смертельную мясорубку. Пока враг дышал, они норовили укусить его, но неизбежно гибли. Остальные, отталкивая в полном безумии друг друга крыльями, стремились к булочке и обретали смерть. Каким-то образом Дунаев ощущал, что и на земле, и в небе под ними происходит нечто подобное. Один за другим самолеты со звездами на боку распускали черные дымные хвосты и обрушивались вниз, в гущу окопов, заграждений, бегущей пехоты и танков. Танки со звездами, порой сделанные из тракторов и автомобилей, нелепо заваливались, как груды мусора, под стальными гусеницами танков с крестами. Такие же танки давили нашу пехоту. Сыпались бомбы, подымая букеты из земли и обломков техники. Толстые самолеты с крестами на крыльях летели за юркими истребителями. Фашисты надежно побеждали. Никто из советских летчиков даже не совершил подвига Гастелло. Наступал вечер, но бой не утихал. За холмами советские группировки готовили контрпрорыв. С другой стороны шел сильный жар и очень сильный запах кипящей смолы – небо на западе полыхало.

В небе, где висел Карлсон, потемнело. Несколько белых, освещенных далеким заревом перышек порхало где-то недалеко, тела лебедей давно исчезли внизу. Карлсон, утомленный победным хохотом, уснул как ребенок, покачиваясь в глубокой фиолетовой выси. Зажигаясь, звезды освещали голубоватым неверным светом булочку, зажатую в пухлой руке Карлсона. Кровь подсохла и казалась черным отверстием на плюшке. Пропеллер на спине спящего победителя вращался все медленнее, и Дунаев заметил, что их стало постепенно сносить вниз, к земле. Темнело, и бой внизу затихал. Вскоре, по мере своего снижения, они вошли в полосу едкого плотного дыма. Над замершим, полуразрушенным городом, на верхушке какой-то

башни развевался флаг со свастикой. По краям замирали отдельные перестрелки. Карлсон падал медленно, кругами, как осенний лист; и обессиленный Дунаев иногда впадал в забытие. Все зашторила какая-то странная, прозрачная темнота, сквозь которую смутно проступала темнота реальной приближающейся ночи.

Наконец, они упали – тушка Карлсона тупо ткнулась в какие-то развалины, в гору щебня и щепок, и замерла, словно темный бугорок, скованный и изнеженный изнутри волшебным целительным сном, приходящим после сладкого боя. Только пропеллер его медленно вращался, постепенно остывая и теряя свое мучительное сияние. Пухленькие пальчики утратили стальную хватку, разжались, и Дунаев выскользнул из их объятий и покатился куда-то вниз, в какую-то грязную яму внутри развороченного бомбами здания. Он упал, ударился о кусок обугленной балки, почувствовал боль и внезапно понял, что вновь обладает своим прежним телом. Колдовство Карлсона исчезло. Правда, ощущение во всем теле было ужасным – тело было густо облеплено толченым кирпичом, словно срабатывало язвительное воспоминание о тонком слое ароматной корицы, который покрывал его целиком, когда он был плюшкой. Кроме того, он ощутил чудовищную боль в плече. Левая рука двигалась плохо, рубашка намочила от крови – он осознал, что ранен. С колоссальным трудом он поднялся на ноги и, согнувшись, прошел несколько шагов. Ноги увязали в мусоре и щебне. Он оглянулся в поисках Карлсона, но в темноте ничего не увидел. Затем впереди вдруг замелькал свет ручного фонарика. Послышались шаги и приближающаяся немецкая речь.

Внезапно конус желтого света ударил ему прямо в лицо. Дунаев зажмурился и чуть не упал. И сразу разглядел наведенные на него стволы нескольких автоматов. Немцы что-то кричали резкими гортанными голосами, но Дунаев был в таком состоянии, что ничего не понимал, даже почти не слышал их – уши все еще были как будто заложены ватой.

Внезапно он вспомнил, что Поручик говорил ему перед полетом на Смоленск: «Людей не бойся – ни пуль, ни выстрелов, ни ударов. Ты теперь не человек, и люди тебе не страшны. Только их бойся, а больше никого...»

Дунаев ощутил пьянящее чувство неуязвимости, приправленное ненавистью, болью и желанием расквитаться за невыносимую горечь поражения.

– Суки! – крикнул он во весь голос. – Пидорасы! Гады! Ненавижу! Я вашего Гитлера в рот ебал! Ну, стреляйте! Что же вы не стреляете? – Он театрально разорвал на себе рубаху, обнажив грудь. Тут же его чуть не стошнило: показалось на какой-то момент, что вся грудь покрыта сахарным марципаном и издает сильный запах сладкого, сдобного теста. От рвоты его отвлекли заработавшие автоматы. Он испытал странное, довольно приятное ощущение, встречая телом потоки легких пуль. Они, как полые сухие пузырьки, ударялись о его грудь и лопались, осыпая кожу красивыми мелкими искрами – белыми, очень белыми и чем-то напоминающими нарисованные снежинки. Такие же снежинки распускались на теле в точках пулевых ударчиков – в этих местах становилось холодно, пусто и радостно, как будто тело изумленно праздновало свою неуязвимость. Эта щекотка заставила его победоносно расхохотаться и, раскачиваясь, двинуться на немцев. Немцы сдавленно закричали. Дунаевым овладело ощущение, уже один раз испытанное во сне, – ощущение безудержной гордыни, головокружительной силы и бессмысленного идиотического тщеславия. Ему показалось, что тело его раздувается.

– Я гений! – заорал он во весь голос.

Немцы попятнулись, продолжая стрелять.

– Вы что, не поняли, что я – ГЕНИЙ?! – прогремел Дунаев еще громче, наступая на них сквозь искристый дождь выстрелов. – Сейчас я вас всех *замусолю* на хуй!

Он решил расквитаться с этими жалкими фашистскими сморчками в нелепых касках, похожих на перевернутые ночные горшки, расквитаться за унижительную горечь поражения, за свое бессилие перед мощью Карлсона, за загубленных лебедей, за поверженный Смоленск...

«Не шадить! Никого не шадить!» – снова пронеслось в голове.

Он совершил серию резких жестов, напоминающих танец. Было такое впечатление, что он схватил одного из немецких солдат за ноги и разможил его тело, обрушив с чудовищной силой на кусок каменной стены. Другого солдата он якобы смял гармошкой, как мнут недописанное письмо, бросил себе под ноги и в гневе затоптал в грязь и щебень. Третьего он просто отправил в темноту, предварительно раскрутив в воздухе. Наконец, четвертого он с особым зверством разорвал пополам, одну половину швырнул в яму, а другую нанизал на кусок торчащей из стены железной проволоки, после чего ухарски отдал честь расчлененному человеку. Однако эти нелепые галлюцинации схлынули, и парторг вдруг обнаружил, что ему не удалось причинить ни одному из солдат ни малейшего вреда. Вместо этого он подошел к ним вплотную и нелепо дергал за пуговицу того, кто стоял впереди. Солдат, открыв рот, смотрел Дунаеву в лицо округлившимися глазами, но, казалось, ничего не видел и только вертел во все стороны зажженным фонариком. Остальные перестали стрелять и как будто оцепенели или погрузились в сон, не закрывая глаз. Один из них почему-то глупо улыбался. Дунаев понял, что, став неуязвимым для человеческой гибели, он вместе с тем потерял способность убивать людей. Он почувствовал себя еще более униженным, почувствовал все убожество и подлость своей жалкой попытки отыграться на этих солдатах за свое сегодняшнее поражение.

Он взмахнул рукой и побежал куда глаза глядят, не разбирая дороги, – прибитый, обесиленный, раненый и поглупевший от боли и усталости, потерявший почти все свои магические навыки, которые он успел приобрести за время ученичества у Холеного. Сейчас он ни на что уже не был способен – ему больше нечего было делать в этом захваченном городе. Он искал один из трех возможных возвратов через Промежуточность, потому что лететь небом не было сил. В глубине его сознания пробивался механический и тихий голос, произносящий с трудом, по слогам: «Во-ло-дя, по-ра до-мой. Во-ло-дя, по-ра до-мой». Может быть, это был голос Поручика, но ведь он никогда не называл Дунаева по имени. Во всяком случае, это была не Машенька. В последние несколько минут, уже готовясь покинуть Смоленск, уже ощущая тягу разворачивающейся и стремительной Промежуточности, Дунаев наблюдал странную галлюцинацию: над городом, в темных небесах, показался колоссальный, слабо освещенный бок толстой женщины. Казалось, основная часть ее тела и лицо были срезаны резкой черной тенью, как бывает у молодой луны, и виден был (словно узкий полумесяц) только бок гигантской фигуры: толстое бедро в юбке и кухонном фартуке, огромная слоноподобная нога в вязаном чулке, жирное плечо и край белого воротничка, обшитого кружавчиками.

– Кто это? – безмолвно спросил Дунаев у Машеньки, чувствуя, как его начинает плавно разворачивать и уносить в какое-то вторичное, необозначенное пространство.

– Это БОКОВАЯ. Малыша ищет, – так же бесшумно ответила спящая Девочка. И Дунаев затылком вниз провалился в Промежуточность.



Глава 19

Корреспондент

Дунаев не знал, где он находится, не ощущал ничего, кроме судорожного беспокойства и тоски. Иногда ему казалось, что у него на теле вырастает какой-то желтый цыплячий пух, но это проходило. Постепенно парторг различил низкие тяжелые тучи, стремительно несущиеся над ним в каком-то узком коридоре. Потом он понял, что лежит в окопе, в грязи. Приподнявшись, он увидел, что окоп завален землей, кое-где валяются трупы. Дунаев ощупал себя и обнаружил на голове пилотку, на теле – советскую военную форму. И тут его охватил страх.

«В солдаты разжаловали на хуй!» – понял он, вытаскивая из грязи задубевшую ногу в кирзовом сапоге и качая головой. Эта мысль парализовала его. Путь воина оборвался.

«А может, то очередные шуточки? Может, шас Поручик объявится?» – думал он. Но в глубине души он понимал нелепость, иллюзорность этой надежды.

«Какой там, к ебням, воин? Доигрался, пидорас! Да что там я – поди убили на хуй всех – и Поручика, и всех, всех!» – с нарастающим ужасом осознал Дунаев и тут ощутил, что из раны на плече идет кровь. Он застонал. По окопу двигалось какое-то существо в комбинезоне цвета земли, с желтой головой, как у цыпленка, с черным треугольным носиком и глазками, в красном беретике и с фотоаппаратом на шее. Существо переворачивало трупы и смотрело им в глаза, постепенно приближаясь к Дунаеву. Вроде бы оно еще делало с мертвых фотографические снимки, сопровождавшиеся вспышками магния. Оно «щелкало» их одного за другим, снимая только лица – лица только что павших. Но, может быть, это просто у Дунаева рябило в глазах. Как бы там ни было, оно приближалось, и это приближение как-то было связано с нарастанием слабости, с кровью, струящейся из раны на плече, с головокружением.

– Пиздец, – вдруг сказал Дунаев вслух и сам поразился своему голосу – как бы голосу уже мертвеца. Его пронзило странное чувство, что «пиздец» и «мертвец» – это одно и то же: произнося «пиздец», он имел в виду себя как мертвеца и одновременно существо, идущее к нему, как смерть. Сколько раз он видел ее, уже привычную и знакомую, так что это ни на что не похожее ощущение даже перестало так захватывать дух. Но сейчас необычным было то, что смерть была «своя». Обычно она выступала в образе немцев, врагов. Но, как это ни поразительно, смерть, оказывается, тоже может быть как вражьей, так и родной, даже близкой. Почему-то это нежное, пушистое существо в шарфике и беретке не было врагом, и Дунаев знал это сердцем. Он потрогал голову – Машенька была неощутима, он потерял чувство Машеньки в голове, и теперь ему было невдомек, как нечто чужеродное может быть внутри головы, если даже смерть – «своя».

– Ну какая же она чужая, ведь самая что ни на есть родная! – произнес неожиданно чей-то голос у Дунаева возле самого уха.

Дунаев оглянулся и увидел, что за ним, почти вплотную, стоит Поручик. Мелькнула, правда, неуверенность – он ли это? Дунаев, оказывается, успел забыть лицо старика за это время, наполненное воздушными сражениями, грохотом и болью. Теперь это лицо – то ли совсем незнакомое, то ли знакомое до ужаса, как собственные ногти или лица ближайших родных, – почти упиралось в его плечо. Поручик на этот раз не смеялся, хотя, возможно, он только что с трудом подавил смех.

Деловито кивнув желтому пушистому существу, не обращая никакого внимания на плачевное состояние Дунаева, он стал как-то резко и грубо вертеть раненого парторга во все стороны, шурясь и словно выискивая какую-то нужную позу. Несколько раз он поправлял положение головы парторга легкими шлепками по подбородку, затем схватил Дунаева под руку, приосанился и застыл неподвижно.

– Ты Корреспондента не бойся, – сказал он другим, более привычным голосом. – Он свой, военкор-то наш бедовый. Его бояться нечего. Он только щас снимочек сделает, щелкнет нас разок, и все дела. Знаешь песню ихнюю, военкоровскую?

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не бывали мы с тобой...

Корреспондент сверкнул своими игрушечными глазками-угольками, вскинул фотоаппарат и навел его на замершую пару. Щелкнул затвор. В лицо Дунаеву белым пятном полыхнул магний, да еще вдруг с такой силой, с такой невыносимой, неожиданной, беспощадной интенсивностью, что Дунаев закричал во весь голос. Ему показалось, что он ослеп. Щелчок уже давно отзвучал где-то «за поворотом», а зрение к нему не возвращалось. Раньше ему казалось, что слепые видят темноту, но сам он стал слепцом другого типа: его окружало только незамутненное белое сияние и закрыться от него было нечем. Даже зажмурив глаза, нельзя было обрести ни кусочка тьмы, словно бы веки стали прозрачными кружевными лепестками.

– Атаман! – заорал Дунаев. – Все! Он нас засветил! Теперь ПИЗДЕЦ ВСЕМУ!

– Не видал ты Пиздеца ВСЕМУ, парень, – раздался рядом мягкий голос Поручика. – Он совсем не так выглядит. А то, что Корреспондент нас засветил, так это правда. Ну и что ж такого? Ты лучше, на, хлебушка поешь.

Дунаев почувствовал запах хлеба, а затем вкус краюхи, которую ему совал в рот Поручик. Постепенно белое сияние померкло, утончилось, стало пятном, стали видны очертания предметов. Часа через два белая слепота окончательно покинула Дунаева, и он увидел, что они в Избушке.

Дунаев лежал на полу на куче тряпья и тихо стонал. Он чувствовал себя совершенно обессиленным, но в остальном ему стало полегче. Рядом уютно копошился Холеный. Он перевязал Дунаеву рану, остановил кровь с помощью какой-то мази с резким травяным запахом, а теперь изготавливал какое-то новое целебное зелье, бормоча себе что-то под нос.

– Молод ты еще, парень, – расслышал Дунаев. – Молод и неопытен. Учиться тебе и учиться. Уж больно не на шутку тут все затеялось. Придется тебе попотеть.

С этими словами Холеный высыпал из коробочки в стакан какой-то порошок, затем плеснул туда спирту, и стакан засветился красным холодным сиянием, дробящимся на тонкие лучики. Заискрились, заблестели глаза атамана. Он поднес ко рту стакан и отпил глоточек, затем передал питье Дунаеву.

– Пей, дорогой, да не пугайся, – ласково молвил он. – Ничего страшного уже не будет.

Дунаев выпил залпом и посмотрел на атамана. Холеный прислонился к печке и сидел с закрытыми глазами. Чтобы не отвлекать его, парторг решил прогуляться по двору и с этой целью встал. Тут же у него что-то взорвалось в голове, потемнело, и в поле зрения возникла деревянная поверхность, раскрашенная и сверху залакированная. Эта поверхность треснула и немного разошлась. Под ней оказалась такая же, по которой тоже пошла трещина. Яркие веселые поверхности открывались одна под другой, только слегка отличаясь в узоре раскраски. Дунаев мотнул головой, и его внезапно охватил сильнейший озноб. Застучали зубы. Дунаев был просто парализован этим ледяным холодом, бившим его все быстрее и быстрее. Чтобы унять его, он завернулся в ватник и влез на печку. Очень скоро озноб сменился жаром, и по телу побежали струи пота. Дунаев захотел слезть с печки, отдернул занавесочку и обнаружил, что вся комната невероятно отдалилась, точнее, все предметы в ней казались далекими, хоть и были отчетливо видны. Дунаев будто сидел на большой высоте, от которой кружилась голова. Даже собственная рука была уменьшенной. Дунаев снова лег и вытянулся на печке. Голову

сковало непонятное ощущение, почему-то возникла чужеродная мысль: «Забыл перчатки и веер».

Почти неделю выхаживал Поручик Дунаева. Поил его какими-то своими зельями и отварами, натирал тело парторга мазями и салом, заворачивал его в какие-то сыроватые тулупы, от которых шел запах, как от мокрых валенок. Поначалу Дунаев почти ничего не понимал, постоянно проваливался в горячее забытье, его то трясло, то, казалось, тело ломают изнутри. Странно, однако, что, несмотря на все это, на душе у парторга было как-то по-особому спокойно и светло, как будто все это происходило не с его телом, а словно бы всего лишь ветер мотал и трепал огородное пугало. Потом он стал помногу и глубоко спать, без всяких сновидений, и однажды утром проснулся совершенно здоровым.

Обнаружил себя лежащим на печке. Внизу сидел Поручик и строгал карманным ножом щепку.

– Ну что, сынок, оклемался? – участливо спросил он. – Недалеко ты от смерти ходил, близехонько, – крепко тебя Настоящий Мужчина-то надкусил.

– Это ты меня спас, старик. Спасибо тебе. Не первый раз ты меня от смерти спасаешь, – сказал Дунаев ослабевшим голосом.

– Спас не спас, а говна припас, – уклончиво пошутил Поручик, отводя в сторону свои лучащиеся глазки и глядя в угол. – Смерть, она ведь по-разному ходит. Ее знать надо, и подход особый к ней нужен. Но старик Холеный не пень моченый. Как увидел, что, кажись, пиздец тебе, вот-вот тапки склеишь, так и сообразил: здесь без Военкора не обойтись. И точно – засветил тебя Военкор, отсюда тебе и спасение. Да ты сам посмотри, – и Поручик указал в угол комнаты. Дунаев взглянул туда и увидел, что ему показывают на одну из мутных фотографий, украшающих стену избушки. Эту, видимо, повесили недавно, так как раньше ее точно не было, к тому же она висела на том месте, где раньше была фотография Синей с гребнем в руках, которую Дунаев бросил в колодец, когда «прятал вещички».

Парторг слез с печки и подошел поближе. Фотография, сделанная репортерской «лейкой», изображала его и Поручика – оба были в солдатской форме, в плащ-палатках и пилотках, сдвинутых набок, с автоматами в руках. Однако на месте лица Дунаева было белое, засвеченное пятно, вокруг которого изображение становилось желтоватым и словно бы опаленным.

– Кого Корреспондент в лицо сымет, тому, значит, каюк, – пояснил Холеный. – А кого засветит, тот, считай, сто лет проживет – за себя и за того парня.

– За какого парня? – не понял Дунаев.

– За какого? А хрен его знает, за какого, – равнодушно пожал плечами Поручик. – Много их, парней, по свету ходит. Может быть, придет денек, и узнаешь, за какого. А так... нет никакого смысла узнавать. Да и времени нет.

– А что же он тебя-то не засветил? – вдруг спросил Дунаев, вглядываясь в фотографию. – Это что ж, значит, тебе помирать пора?

На снимке лицо Поручика видно было очень отчетливо, даже казалось, что это лицо почему-то вырезано из другой фотографии и наклеено на это место. Лицо это выглядело более молодым, чем было в реальности, в бороде не было мусора, да и сама борода была меньше, аккуратнее, как у пожилого врача. Было что-то в этом лице неуловимо довоенное, озабоченное мирными делами, исчезнувшими в прошлом.

– Я – другое дело, – сказал Поручик. – Мне уже давно безразлично: умирать ли, жить ли... Да и никто про меня не знает.

После этого разговора прошло в тишине и сонливости еще два-три дня. Дунаев эти дни был почти все время один. Поручик постоянно ходил по лесу, а когда возвращался, то сидел в соседней комнате и читал какой-то журнал пятилетней давности, надев очки и бесшумно

шевелия при чтении губами. Дунаев как-то заглянул в этот журнал, но ничего интересного там не нашел: несколько глав из романа, повествующего о любви двух молодых людей с фабричной окраины, фотографии каких-то санаториев, парочка шахматных задач, ребусов и кроссвордов, смеющаяся лыжница с белкой на плече, соревнование детей-цветоводов и так далее в том же роде.

– У меня для тебя есть кое-что, – сказал как-то раз Поручик парторгу. – Сегодня вечером покажу.

Дунаев почувствовал щекутку, предвещающую близкие события, серьезные и, возможно, страшные. Это предчувствие новых испытаний на этот раз не обрадовало его. За время болезни он успел полюбить уютную жизнь в Избушке. Запах бревенчатых стен и сена, запах печки, ее тепло, голос Холеного, подкидывающего в печь дровишки и пристально глядящего в пляшущий огонь. А вот ведро с колодезной водой, прохладной и зеленоватой. Картошка, испеченная в печной золе, со стаканом огневого спирта, и рассказ Поручика о разных чудесах попеременно с клубами махорочного дыма из трубки. Тепло овчины и холод малосольных огурцов, терпкие сухие травы, развешенные по углам комнат и над печкой. Острота мятного чая и сладость ягод и тягучего меда с ключевой водой, ломающей зубы. Тьма погреба и светлое от солнца дерево амбарных стен. Пыль чердака и возня кролика в клетке среди кустов ежевики, гудение пчел под яблоней... Как все это глубоко вошло в сердце Дунаева! Так неистово полюбить простые, порой грубые вещи и явления может, наверное, только человек, переживший смерть не один раз. Он не умел представить, как он будет без всего этого, как опять будут горе, и боль, и ужас.

– Разнежился тут! – шутливо подмигивал ему Холеный. – Лето на дворе, а школа-то в сентябре! Готовиться к учебе надо! Что себе думаешь? – И на чело Дунаева напозла тень. Так, в самом деле, уютно, ладно да хорошо, с песней да шуткой жили они с Поручиком. А теперь что?

Дунаев не в силах был ждать до вечера и сам завел разговор о Смоленске.

– Эх, лебедушек жалко! – мрачно сказал он. – Видно, силен этот ебаный «настоящий мужчина», даже и не знаю, как с ним бороться. Одно утешает: Малыша все-таки я замочил, поганку эту ядовитую.

Поручик сидел у печки и, прищурившись, смотрел в огонь.

– Парень, парень... – наконец медленно произнес он. – Не освоился ты еще в наших делах. Все не так понимаешь. Вот, к примеру, лебеди – чего их жалеть-то? Они ж не дети малые, не бабы, не старичье какое-нибудь. Ты, когда пельмени ешь, жалеешь их, что ли? Вот и лебеди – те же пельмени. Сварганить таких – дело, может, и хитрое да ведь, как в народе говорят: дело мастера боится. Тяп-ляп и готово – вот они, твои лебедушки. Только падалью корми да под винт подставляй – на большее они не годятся. Так что не печалуйся о них, милоч. Но и о Малыше не радуйся слишком. «Замочил, замочил». В нашем деле скорби и ликования, словно рябинки зимой, – сладки, тверды, да все побоку идут, пташкам на корм. Ни хуя ты никого не замочил – их вообще не убивают, их только *испортить* можно. Да, попортил ты слегка Малыша, а какой в том прок? Боковая его найдет, выходит, он и оправится да станет хуже прежнего. Ты, считай, немцам услугу оказал: мертвый Малыш – он ведь большая ценность, куда дороже живого. Недаром говорят: мертвые дети на дороге не валяются.

– А как же... Как же справляться-то с ними? – пораженно спросил Дунаев.

– Э, милоч, для этого сноровка нужна. Их «перещелкивать» надо.

– «Перещелкивать»? А что это такое?

– А это значит, «из игры выводить», то есть, считай, отвлекать, предложить им что-нибудь более интересное, чтобы они в другие миры погрузились. У них же все на интересе держится, на азарте. У них душа не глубокая, как у нас с тобой, а поверхностная, увлекающаяся. Ты пойми, парторг, они враги страшные, беспощадные, но, с другой-то стороны, они как дети малые, а мы с тобой – взрослые люди. Об этом нельзя забывать!

– Да как же их другими мирами отвлечешь, если я сам ни хуя про другие миры не знаю? – удрученно спросил Дунаев.

– Вот то-то и оно. – Поручик подкинул дров в печку. – Многого ты еще не знаешь! Храбрости тебе, конечно, не занимать, но кружит тебе голову война! Настоящего-то головокружения еще не испытал. Кто испытает – тому война бирюлькой покажется. А война, браток, это будни, это наша жизнь. Как можно в жизни действовать, когда других миров не испытал? В этом тайна – только после Вещих Закоулков, да Потолков Вереничных, да иных вещей можно за простые дела приниматься, только по возвращении будни милы. Как говорится – «хорошая мысль приходит опосля». Вот так-то, браток... Вот так-то, Володя.

Дунаев даже вздрогнул – так неожиданно Поручик назвал его по имени. Но спрашивать об этом не стал, он и так чувствовал себя наивным школьником, постоянно задающим глупые и ненужные вопросы учителю. Только потер лоб ладонью и крикнул.

– Эх, старик, ты меня все учишь, да загадки загадываешь, да фокусы разные показываешь. Хоть я и привязался сердечно к тебе, а, честно говоря, противно иногда на все это смотреть. Все вы одним миром мазаны: что ты, что враги твои – там всякие Синие, Самые-Самые, Малыши и прочая нечисть. Для вас главное – это мастерство, да удаль, да умение свое показать, удивить кого-нибудь, да покрасоваться – эх вот мы какие ребята, изъебистые да затейливые! А народ-то между тем страдает, мучается невероятно. Вся страна в скорбях и крови, деревни горят, фашистская сволочь над нашими людьми измывается. Надо воевать, за Родину биться, а не цирк себе устраивать!

Последние слова Дунаев выкрикнул и вскочил. И тут он увидел, что с Поручиком творится что-то странное – он, вытаращив глаза, валялся на полу, зажав руками нижнюю часть лица, из глаз буквально брызгали слезы, покрывая лицо и руки мельчайшими каплями. Парторг бросился к нему и рванул его руки на себя. Поручик откинулся назад, и тишину избушки разрезал нечеловеческий, душераздирающий хохот, самый неистовый и нестерпимый, который до сих пор слышал Дунаев. Холеный просто не в силах был так фантастически хохотать, казалось, что ему больно, он просто кричал от смеха. Никогда не сталкивался парторг с таким богатством оттенков и разнообразием хохота. Холеный заливался, ухал, клокотал, звенел, задыхался, пищал, судорожно трепыхаясь и извиваясь на полу избушки. Зараженный искренним и явно через край бьющим весельем, Дунаев вскоре и сам внезапно загоготал, выгнувшись назад и схватившись за бока. Он смеялся все сильнее и громче, из глаз лились слезы, колело в боку, но остановиться не было никакой мочи. Они хохотали до тех пор, пока не обессилели полностью и не могли шевелиться. Наконец, после долгого лежания на полу, в тишине, к ним вернулась способность говорить. Первым вскочил Поручик и одним махом заглушил стакан спирта, стоящий на столе. Второй он поднес Дунаеву, и тот также залпом опрокинул его в себя.

– Ой, спасибо тебе, роднуля, распотешил старика-боровика на старости лет! – выдохнул Поручик и захихикал. – Никогда не забуду, как ты про народ тут толковал!

– А что я сказал такого? – спросил парторг, словно очумевший и ничего не соображающий, как после сильного наркоза.

– Да ты на себя посмотрел бы, Дунай, когда в окопе-то лежал, как хуй моченый. Ведь поди испужался-то, что простым солдатом стал, что кончилась школа-то твоя мудреная да изъебистая? Невдомек тебе, хоть и тыщу раз говорено было, что вся хуйня на таких, как мы, держится. Какой там народ? Народ сам за себя страдает, ему и поделом. В коллективизацию никаких немцев не было. А? А в революцию? А в военный коммунизм? А в годы нэпа бандитские? А потом и говорить нечего: тридцатые годы – кто, немцы миллионы людей мочили? Нет! Сами же себя давили, потому как в коммуналках тесно показалось! Да что там говорить! Не только народ, а генералы, маршалы – говно на санках, прыщи в ушанках! Все-все, что происходит, – все, именно у нас с тобой да у других ребят – а их немало, – с ними происходит. Здесь глав-

ное-то разыгрывается! И еще не то будет! Только болеть душой не надо, потому как душа человека – пень гнилой, пробка без бутылки – хуйня одна. Не выдерживает она такого, как нам придется вытерпеть. Потому надо со смехом ко всему подходить, паря! Плясать надо, а не плакать попусту! Понял?

– Ебанный в рот! – выдохнул Дунаев. – Понял! Понял, кажись...

На самом деле он ощущал себя в этот момент совершенно невменяемым и вообще ничего не понимал. Где-то в животе почему-то снова и снова рождался пузырящийся, щекочущий смех, а голова-то при этом гудела, как будто по ней ударили палкой несколько раз. Изумленно вытаращив глаза, Дунаев вдруг – не отдавая себе отчета в своих действиях – схватил Поручика за бороду и дернул изо всех сил. Мгновение – и эта грязная, запущенная, спутанная борода осталась в руках у Дунаева, резко отделившись от лица Поручика. Это событие, которое в другое время заставило бы Дунаева внутренне оледенеть, на этот раз породило в нем новый приступ смеха. Уж очень уморительным показалось голое, неожиданно маленькое личико Поручика с огромными, закотившимися от хохота глазками, напоминающими новогодние петарды.

– Да ты... ты ведь просто *елка новогодняя!* – радостно заорал парторг, пораженный своим нелепым открытием, которое, что называется, не лезло ни в какие ворота. Обновленный Поручик ответил ему громовым взрывом смеха.

– Только Новый год еще далеко, Дунай!

Они ахнули еще по стакану спирта и чуть не захлебнулись, поскольку хохотали. Обнявшись и с трудом переставляя ноги, которые показались длинными и членистыми, как у насекомых, они вышли во двор и уставились в звездное небо.

– Ночь, – проговорил Поручик сквозь смех странно расчлененным голосом, как будто это говорил не он, а один из так называемых подснежников.

– Да, ноченька, – эхом подхватил Дунаев, не помня сам себя.

– А что, если нам с тобой сейчас в Киев слетать? – неожиданно предложил Поручик.

– В Киев? За... зачем? – удивленно хохотал охуевший парторг.

– Ты что, блядь, там щас такие бои, ты опизденеешь. Как раз туда немцы подкатали. Чем не местечко, чтобы нам – двум пропащим забулдыгам – поразвлечься?

– А че? – вдруг заорал Дунаев, страшно растопырив руки-ноги и запрыгав по траве. – А че, атаман? Была не была, да в зубах метла! Где наша не пропадала! Киев так Киев, ебать его и в хвост и в гриву! Никогда не был в Киеве! Айда по Днепру, волюшку-волю возмутить свою! Поехали!

– Похуярили!!! – дико заревел Холеный и свистнул так, что заложило уши.

Тут же откуда ни возьмись появилась четверка лошадей, запряженных в расписные сани, блестящие при лунном свете.

– Давай не зевай да слезу не проливай! – кричал Холеный, и сбруя в такт голосу его звенела. Они бухнулись в уютные меховые сиденья саней, и Дунаев успел понять, что на козлах никого нет. Поручик опять засвистал, и кони, вздрогнув, мгновенно дунули с места с такой силой, что все окружающее слилось в одни неразличимые полосы. А Поручик вытянул из-под сиденья флягу со спиртом, и вот они уже пели разухабистую песню:

Нам ли стоять на месте?!
В своих исканиях всегда мы правы!
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и дело славы...



Глава 20

Владимир Красно Солнышко

«...Редкая птица долетит до середины Днепра...» – почему-то приходила на ум Дунаеву одна и та же фраза из Гоголя, когда он, стоя с Холеным на Владимирской горке, смотрел на величественную реку, плавно огибающую Подол и плывущую в неведомые дальние дали. Холеный, выпуская клубочки дыма, засмотрелся на Андреевскую горку, где кипел ожесточенный бой.

– Ну что, атаман, чего ждем-то? Душа в бой рвется, не ждет!

– Да погоду, погоду... – осадил его Поручик. – Или, как хохлы говорят, «не лизь попэрэд батьки у пэкло!». А еще говорят: «Высокий до нэба, а дурный як трэба!» Разумиешь?

– Да ладно тебе, – смутился парторг. – Ты скажи лучше, где *эти-то*?

– Вот их-то мы и ждем, браток, – осклабился Поручик и бросил окурок. – Щас придут, родимые, вот только не знаю, кто именно.

– А, еб твою! – ругнулся парторг. – А нельзя, пока суд да дело, обычненьких-то помять? Ты посмотри, сколько их здесь: и пехота, и танки, и чего только ни приперлось – лезут, как молочаями объелись. А ну давай их по каскам пятками потопчем!

– У вас говорят «пока суд да дело», а у нас – «пока ссут на тело», – заржал Поручик. – Вишь ты, какой герой выискался, Наполеон ебицкий! Ты на свои штаны посмотри!

Дунаев посмотрел на себя и увидел, что в паху, на серой поверхности брюк, расплывается темное пятно.

«Обоссался... – угарно подумал он. – К чему бы это?»

Впрочем, это постыдное обстоятельство ничуть не смутило его.

– Эх, ебать-колотить, да кому какое дело, тем более сейчас, когда такое творится! – воскликнул он.

– Да ты посмотри внимательнее да приди чуток в себя, – настаивал Поручик. – Да окрест пострее взгляни.

Дунаев вновь посмотрел на Киев и увидел, что вокруг тьма, ночь и никакого боя вокруг нет. Правда, он, видимо, недавно отгремел и затих – всюду виднелись воронки от бомб, разрушенные здания, ввысь поднимались дымные столбы. Советские части, оборонявшие Киев, по всей видимости, несколько часов назад отбили очередную атаку немцев, и теперь наступило затишье до утра. В темноте, окружающей город, странно сгустившейся по ту сторону Днепра, немцы готовились к рассвету, когда решающее наступление должно было окончательно смять сопротивление и так уже изнемогающих, истекающих кровью защитников Киева – матери городов русских.

– Да ты на штаны себе посмотри, – упрямо продребезжал Поручик.

Дунаев тупо уставился на большое неприличное пятно мочи и вдруг увидел, что оно имеет очертания человека, одетого в растрепанные лохмотья и застывшего в позе полета.

– Теперь знаю, кто из них сюда собирается, – зловещим шепотом промолвил Поручик. – Петька Самописка, вот кто. Через несколько минут его увидим. Крепись, Дунай. Обоссался, это дело житейское, смотри, не обосрись теперь. Боюсь, круто придется.

И в самом деле, не успели они как следует глотнуть из фляги, как вдалеке послышался разбойничий свист и улюлюканье. Вслед за этим перед нашими героями на землю брякнулась коляска – детская коляска, вся исписанная непонятными каракулями, рисунками каких-то рож и черепами с костями.

– Еб-тэть! – протрезвевшим голосом ругнулся парторг. – Что это такое-то?

Но ответа он не услышал. Вместо этого, повернув голову, увидел Поручика, неожиданно оказавшегося на шее у чугунного Владимира Крестителя, у подножия которого они стояли. Холеный сидел верхом на Владимире и размахивал саблей, непонятно откуда взявшейся у него в руках.

А из коляски тем временем вывалился грязный, толстый, взъерошенный мальчуган. Он вытащил из-под себя обрывок веревки и захныкал:

– Ой, что теперь мне будет! Не пощадит меня командир! А тут еще пираты! – И он издал какой-то, странно знакомый Дунаеву, клич.

Тут за спиной у парторга что-то загрохотало, и в следующее мгновение между мальчишкой и Дунаевым в землю вонзился чугунный крест, перед этим бывший в руках у статуи. Он встал, как на Голгофе, и Дунаев, повинувшись неведомому призыву, бросился к коляске и опрокинул ее на малыша. Ударив по коляске ногой, он отшвырнул ее и схватил мальчугана за руки.

– Ссука! – заорал он. – Щас я тебя казнить буду, хуесос ебаный!

Вывернув малому руки, так что они захрустели (куда делась слабость, ведь перед этим парторг едва стоял на ногах?), Дунаев зубами поднял с земли веревку и упер добычу лбом в крест. Обернувшись, он увидел, что статуя Владимира, ярко светясь, испуская солнечные лучи и фонтаны водяных брызг, движется вперед к обрыву, а затем под окриками Холеного идет дальше, прямо по воздуху, к середине Днепра, и сопровождают ее стаи птиц. Затем птицы отстали. Владимир со всадником – Холеным остановился прямо над серединой Днепра и развернулся на запад. А Дунаев тем временем привязал руки мальчика к перекладине креста, ноги к вертикальной палке и, размахнувшись, размозжил жертве челюсти своим биноклем, так что мальчонка перестал орать, захлебываясь кровью.

– Ах ты, сука пидерасивная! Щас я покажу тебе командира! Говори, где Петька твой злоебучий? Ну?!

– Я здесь, Дунаев, – вдруг послышался ясный детский голос откуда-то сбоку. – Чего ты так кричишь? Меня искал? Так вот он я.

Дунаев резко обернулся и чуть не упал. С трудом сохранив равновесие (он был чудовищно пьян), раскинув руки, словно акробат, он сделал несколько шагов в сторону и вдруг услышал веселые, задорные звуки губной гармоники. На обломке стены, подогнув ноги, сидел мальчик в одежде из сухих листьев и играл на губной гармошке. В лицо парторга блеснули веселые глаза.

– Да что ж за война такая! – вдруг заорал парторг. – Все с детьми воевать. Что я – изверг какой или что! У меня у самого жена на сносях! Я всегда детвору любил. За что же мне, Господи, такое наказание?!

– А сейчас узнаешь, какое наказание, – отняв гармошку от губ, пропел вихрастый мальчишка и повел чем-то в воздухе. Тотчас Дунаев увидел у самых глаз своих лезвие острого клинка и инстинктивно отскочил, но не в пространстве, а во времени. Они снова стояли рядом с Поручиком, и вдруг тот размахнулся – и опять лезвие фыркнуло во влажном и искристом

воздухе. Парторг перескочил на час вперед и обнаружил, что находится в длинной галерее с каменным полом и полукруглыми проемами по бокам. Петька сидел на полу и весело смеялся.

– Затравлю гада! – крикнул он звонким голосом. Дунаев скакнул еще на час вперед и увидел темный коридор, а перед собой – дверь в келью пустую, с одинокой горящей свечой. Он зашел в нее и запер за собой дверь. Оглянувшись, он обер. На пучке соломы сидел старец с выпученными глазами, глядящими сквозь все, и шевелил губами, видимо творя молитву. Он был голый, белоснежные волосы спускались до самого пола. Раздался еле слышный хрустальный звон, и старец подмигнул парторгу. Это был все тот же Петька.

«Ишь как он меня водит, как морочит!» – злобно подумал Дунаев. И тут же внезапно осознал, что злоба его неуместна, что идет веселая детская игра, и ведется она честно, по правилам, хотя и увлеченно до головокружения. Об этом говорили блестящие мальчишеские глаза старца.

Неожиданно успокоившись, Дунаев сел напротив старца и тут обнаружил, что в руке у него все еще зажата металлическая фляга со спиртом.

– Ну что, Петя, может, выпьем? – примирительно протянул он флягу врагу.

Старец обнажил в улыбке белоснежные зубы.

– Какой я тебе Петя? Я вождь индейцев, Отважный Томагавк.

– Эх, пацан, – сокрушенно покачал головой парторг, – заигрался ты. Совсем, вижу, ничего не соображаешь. Какие, к ебаной матери, индейцы? Какой, в пизду, томагавк?

В ответ ему зазвучал только смех, похожий на звук серебряных колокольчиков. Свеча неожиданно погасла. В полнейшей тьме у самого уха Дунаева прозвучал вдруг тихий, нежный, девичий голос:

– Ведь я люблю тебя, Володенька... Я ждала столько времени...

– Ч... ч-что такое?... Кто?! – испуганно лепетал Дунаев, ощущая, как теплые пальцы гладят его лицо. – Ты что... Петя? С ума сошел?

– Да что ты, родной, что ты? Успокойся... Это никакой не Петя и не старик... Верочкой меня звать. Я ведь птичка твоя, кровинушка твоя. Машеньки-то нету более, а я вот сидела тут, в пещерах темных, и тебя дожидалась. А теперь уж, видно, и дождалась голубка своего ненаглядного! Ведь пришел ты сюда наконец, кончилось мое дожданье! А уж думала – век тут во тьме просижу...

Чистый голосок, кристальный, как родниковая вода, ласкал парторга и отогревал его душу. Снизу поднялась волна невероятного вожделения и жаром ополонила голову, даже заболели виски, и сладко, в предвкушении, забилося сердце. Дунаев чувствовал, что девушка, обвившая руками его шею, тоже дрожит от возбуждения.

– Да ты откуда меня узнала-то? – спросил Дунаев и полез в карман за гильзой, чтобы зажечь свечу.

– Еще как в первый раз ты в Промежуточность попал, я тебя полюбила до ненаглядности. Сразу чуть своим душу не отдала. Вот меня сюда и посадили, чтобы сердце остыло да разум не помутился. А здесь еще пуще любовь во мне разыграла. Уж так я убивалась. Сегодня сон видела, что пришел старец, уселся на мое место и съел одежду мою.

– Вот кого я и увидел – старика-оборотня! – воскликнул парторг, и руки его обняли мягкие, упругие и шелковистые девичьи бедра. Кожа Верочки была покрыта пушком, и Дунаев уже не мог совладать с собой. Он зажег свечку. Обернувшись затем к Верочке, он увидел ее открытые широко зеленые глаза с маленькими зрачками. Он не успел увидеть всего остального, так как пухлые губы мгновенно слились с его пересохшими губами, но и глаз было достаточно, чтобы едва не упасть в обморок от едкого и тяжелого желания, которое так долго распухало в неизмеримой глубине парторгова тела. В последний раз он испытывал эрекцию и семяизвержение в то время, когда его ел Бо-Бо, но это было совсем, совсем другое. Тогда это происходило от удушения стальными пальцами сыроеда, теперь же глубочайшая нежность и родная

женская ласка охватили его. Тепло Веринной груди дышало внутренним покоем, ее тело извивалось в сладкой истоме, и Дунаев, не понимая как, сразу оказался голым. Вера присела, и парторг, замерев, увидел ее золотистую голову сверху. Он смотрел на ее ровный пробор ото лба до затылка и на толстую косу, утекающую вниз по белой спине. Сняв с него ботинки, девушка откинулась на пол, и Дунаев, следуя этому движению, почти теряя сознание от жаркой страсти, вошел в нее и застонал. Вера обвила ногами его поясницу, и бедра ее задвигались навстречу члену и от него. Целуя ее глаза, нос, губы, Дунаев тоже задвигался ей в такт, ощущая влажные стенки влагалища и пульсацию собственного члена. Так сильно было это забытое наслаждение, что парторг очень скоро брызнул спермой внутрь Верочкиного лона. Он задрожал, Вера билась в конвульсиях, зажав рот рукой. Уже в каком-то красновато-лиловом тумане Дунаев почувствовал, что член выскочил из влагалища, и Вера перевернулась на живот. На этот раз парторг чуть-чуть промахнулся и вошел ей в анальное отверстие. Упругость стенок прямой кишки напрягала его член, не давая оргазма, но зато Вера стала стонать и кричать, извиваясь и выгибая ягодицы в разные стороны. Наконец она зажала рот рукой, и тут Дунаев опять кончил. Анус крепко держал головку его члена, и он вскоре опять возбудился, и все повторилось, растянувшись на неопределенно долгое время. Находясь в прострации и забытии, лаская Верины ноги, он внезапно наткнулся рукой на что-то твердое меж ее бедер под анальным отверстием. Схватив это твердое рукой, он осознал, что держит член – небольшой, но настоящий член, и притом явно не свой. В диком ужасе он посмотрел на лежащую перед ним Верину спину и увидел, что у нее нет косы, а вместо гладких волос – взлохмаченные мальчишеские вихры. Да и бедра, которые Дунаев страстно ласкал, были узкими и костлявыми, ноги – худыми. Громко закричав, Дунаев сразу протрезвел и дико рванулся прочь. Но анус мальчишки крепко держал его. Келью наполнил звонкий смех, отважный и сладкий одновременно.

– Володя! Володя! – заливаясь, вскрикивал мальчик.

Дунаев просто застыл в оцепенении. Его сознание, в сущности простое, рабоче-крестьянское, не выдержало напора вражеских изошрений. По щекам его все равно катились слезы, где-то в невыразимом поле его души катились обрывки мыслей и образов, перечислять которые мы не будем. Вдруг на этом сизом и однородном поле ярко проступили некие слова, которые он и выкрикнул, вскочив и сжав кулаки:

– Ну что, Петя-Петушок?! Выебли тебя по самые помидоры?! Вздрючили?! Отхарили Петушка? Пропетушили?! А я-то думал, кто это такой, так кукарекать выучился?! А это ж пидер гнойный, ебать – не уважать! Пидер! Пидер ты последний, лоханка ебаная, пидорюга майская! А? Может, теперь и *завафлить* тебя, бабушка елдовая? Распустил ебало, петушочек? Вафельку подарить тебе, хуесос пиздопротивный? А?! Что молчишь? Сскука петушина!!! Вафел!!!

Бросившись на Петьку, Дунаев снова застыл. Сотрясаясь от дикого оргазма, мальчишка выводил спермой, брызжущей из членика, надпись на стене. Надпись четким и ясным почерком гласила: «НИКОГДА НЕ СТАНУ ВЗРОСЛЫМ!»

– Что, блядь? Это ты верно написал! – захохотал Дунаев. – Не доживешь ты до взрослых годов, заебу щас до смерти! Так и умрешь шкетом передроченным! Стихи знаешь: «Октябренок пидер Петя захлебнулся при минете». А ну, открывай рот!

Мальчик покорно открыл рот, и Дунаев с размаху всадил в него свой красный, налившийся кровью пульсирующий член. В то же мгновение в сознании у него как будто распахнули окно: какой-то мир, темный, наполненный холодом и запахом моря, разверзся перед ним. Ветер и беспросветное ночное небо. Но не знакомое небо над Родиной, пропитанное гарью и дымом пожарищ, восторженное и щекотное, тревожное и упругое, как холодный и юркий язык Питера. Это было другое небо – чужое, неизвестное, спокойное и словно бы полое. «За кулисами», – подумал Дунаев. Внизу был темный остров на море, черный как уголь, и все вокруг было только смесью тьмы и черноты.

«Черное на темном. Теперь мне не различить его. Теперь он сольется, и я не смогу его убить. Вот он, ЧЕРНЫЙ ПИДЕР! Вот он, ЧЕРНЫЙ ПИЗДЕЦ!» – в ужасе подумал парторг. Никакой кельи, никакой ебли нигде уже не было. Исчез пьяный угар, а вместе с ним словно бы исчезло тело.

Страх был каким-то далеким и уходящим – его даже хотелось задержать, чтобы хотя бы страх оставался в темноте. Но удержать его было нечем. Такого тупого черного пространства, такого короткого и невыразительного падения после столь стремительного пьяного иллюминированного взлета Дунаев никогда не переживал. Беспросветность была полной, упирание в тупик казалось окончательным, даже тишины здесь не было, только что-то вроде морского запаха, а может быть, лишь привкус соли, осевшей непонятно где. «Так вот, наверное, лежат в гробу», – подумал Дунаев. Его исчезающая память прошелестела о том, что нечто подобное уже было испытано не так давно – он вспомнил мертвеца в гробу, в крышку которого он уперся ногами при погружении в толщу земли, и его безмолвные слова «Повезло тебе...» и безмолвный ответ Машеньки: «Всегда везет...» Неужели этому «везению» пришел конец? Внезапно в темноте осветилось какое-то внутреннее пространство, и Дунаев понял, что видит внутренность своей головы и норку Машеньки – впервые он видел эту норку, эту крошечную милую могилку, вырытую концом древнего креста. Теперь он мог созерцать ее, как будто его глаза повернулись зрачками внутрь головы. Впрочем, никаких глаз, ни орбит, ни самой головы он сейчас не чувствовал. Норка оказалась уютной, освещенной слабым, теплым светом, напоминающим свет ночника. Машенька сладко спала, укрытая уже не куском парчи, а маленьким стеганым одеяльцем в белом пододеяльнике, в котором имелся ромбообразный вырез, обшитый кружевами. Головка ее покоилась на белоснежной подушке, ручку она подложила под щечку. Глубоким покоем и беспечным забвением веяло от этой картины.

«Машенька, Советочка, подай совет: что мне делать?» – мысленно спросил парторг.

Девочка ответила, как всегда бесшумно, чуть-чуть шевеля спящими губами, но тем не менее очень ясно и понятно: «Попроси Валенок – чтоб протолкнул». В то же мгновение Дунаев почувствовал, что в него уперлась подошва колоссального, слегка влажного валенка и стала мягко проталкивать его куда-то, все сильнее и сильнее. Ощущение безвыходности пропало, появилась надежда и вместе с ней даже веселая заинтригованность. Одновременно с этим послышался громкий, насмешливый голос Поручика, раздавшийся откуда-то сбоку:

– Эх ты, теря! Совсем от спирта башку потерял! Кто ж это с Петькой-то ебется?! Он, известное дело, соблазнять любит, это у него боевая тактика такая, но это ж надо полным олухом быть, чтобы на такие хитрости детсадовские поддаться.

Парторг попытался с трудом разлепить веки (они показались ему то ли распухшими, как от осиных укусов, то ли склеенными), но увидел только смутную огненно-красную ленту, что-то вроде ярко освещенной ковровой дорожки, а на ней возвышающийся темный столб.

– Ну и мудака же ты! – продолжал отчитывать его между тем Поручик. – Никакого военного чутья в тебе нет, никакой интуиции. Ведь у Петьки вообще тела нет, только жидкость, да и то довольно ядовитая. Только я тебя от укуса Самого выходил, считай, чудо сотворил медицинское, так теперь тебя еще от самопискиных ядов избавлять надо будет. Ты ж всем телом в этой жидкости поганой валялся, да еще стонал, да причмокивал, да кончал то и дело, будто бы ебешься. Предупредил бы я тебя, да меня отвлекли тут знакомые одни. На чаек, видишь ли, зашли, с серьезным разговором. Ну, посидели, поговорили, то да се, чаю с вареньем выпили, про охоту, да про огород, да про пасеку – слово за слово... Гляжу, а мой-то, парторг так называемый, совсем от яда разбух, да еще в Плоский Отсек скатился. Пришлось тебя валенком прямо в морду тыкать – это в таких случаях единственный способ. Хорошо еще, ты моими настойками да припарками насквозь пропитался, и пьяный был. С пьяного, говорят, как с гуся вода. А иначе даже не знаю, куда бы ты теперь заглядывал.

В этот момент Дунаев ясно увидел, что он сам висит в стоячем положении над дорожкой, пробежавшей поперек Днепра от ярко-красного восходящего солнца. Далеко внизу, по дорожке, двигались тысячи черных точек, отчетливо видимых парторгу как фигурки советских солдат. Шли танки, понурые колонны бронетранспортеров, везли усталые катюши. А прямо перед Дунаевым возвышалась в контражуре черная статуя Владимира с высоко поднятым крестом, на котором, распятый, корчился мальчишка из войска Петьки. Поручик сидел на шее статуи и выговаривал Дунаеву, поглаживая Владимира по голове. С запада блеснуло, и показался со стороны Крещатика мальчишка на деревянной лошадке с саблей в руках. Он воинственно кричал и неся в воздухе прямо на стацию.

Наступление детства идет
На глупейших, беспомощных взрослых!
Для детей может быть лишь «вперед»,
Невозможно понятие «поздно»!
Это бой с неизбежностью времени –
Битва с тяжестью медленных дней,
Бунт плодов против липкого семени,
Бунт вещей против синих теней.
Это рыжих веснушек восстание
Против синих сплошных облаков
За ночное в окошко влетание,
Похищение детских голов.

Тут Поручик наклонился к уху Владимира, а затем крикнул Дунаеву: «Лети скорее по маршруту Владимирский – София – Дом Привидений – Андреевский! Время старайся сжимать, а затем выпусти его на Лесной горке! На маршруте добудь разные вещи – четыре или пять, а на Лесной Горке обменяй на одну вещь, только одну. Только не плошай да под землей не летай! Но это я так, к слову. А теперь пошел, родимый!»

Не успел парторг понять что-нибудь, как Владимир изо всех сил рубанул крестом мальчишку на лошадке, так что только щепки полетели. И тут же новый мальчишка на подобной же лошадке подлетел. Владимир не успел обрушить на него крест, но подставил его под саблю, отчего распятый мальчуган был разрублен надвое. После этого Владимир внезапно пнул Дунаева под зад чугунной ногой. Засвистело в ушах, вокруг что-то, вспыхивая, замелькало, и парторг в мгновение ока оказался над огромным Владимирским собором. Снизившись, он обернулся чернецом-монахом в простой рясе и скуфье, с простым тяжелым крестом на теле. Дунаев тяжело вздохнул (кем только не приходится быть ради дела!) и, озираясь по сторонам, вошел в темную внутренность храма. Там было пусто, витал запах пороха и пыли. Высматривая кого-нибудь, парторг прошел к центральному нефу и взглянул наверх. Тут он чуть не упал. Один из святых, нарисованных в свое время Нестеровым на квадратной колонне, дрожал и притоптывал ногами, будто от сильного холода. В руках его были зажаты колокольчики, простые голубые цветочки родных полей, и, видимо, они замерзли от холода. Летний пейзаж за спиной святого менялся на глазах – он пожелтел, затем побелел, деревья стояли голыми, небеса заполнились снежными тучами, снежная шапка вырастала на непокрытой голове святого и его плечах. Внезапно святой, переминаясь ногами все быстрее, заметил Дунаева и бросил ему букет колокольчиков. Парторг, вытаращив глаза, поймал полуувядший букетик с налипшими снежинками и стал отступать, пока не вошел, сам того не заметив, в колонну, стоящую позади него. Он оказался зажатым камнем, но в то же время в некоем подобии лифта, который незамедлительно поехал куда-то вниз. Вокруг что-то дробилось и скрежетало, затем лифт плавно повернул вбок, так что захватило дух. Сладко и протяжно вздохнув, парторг понесся в глубину неведомого и

вдруг, ничего не сообразив, оказался в каком-то саду. Сквозь кусты была видна обгоревшая стена и дверь, выломанная взрывом. Сжимая в руке колокольчики, парторг поднялся на ноги (движения его были раскоординированными, он по-прежнему казался себе совершенно пьяным, но страшно сильным) и, как кенгуру, запрыгнул внутрь помещения. Он очутился в боковом приделе Софийского собора и, шатаясь, попрыгал наугад к центральному нефу. Вдруг в голове изо всех сил ухнуло: «СЧАСТЬЕ!» И потом еще сильнее: «СЧАСТЬЕ!»

Дунаев почему-то воспринял то место, куда его занесли превратности «параллельной войны», как зону полного, непререкаемого счастья. Показалось ему, что до сих пор он называл «счастьем» что-то другое, что им собственно не являлось или являлось только в какой-то степени. Теперь же счастье предстало перед ним совершенным, никак иначе не обозначенным: в нем не было ничего ни от уюта, ни от восторга, ни от эйфории, ни от комфорта или иных приятных переживаний – место это было означено только и именно как «счастье», и ничто другое. Происхождение слова «счастье» как некоего варианта «причастности» при этом не имело никакого значения. «Счастье» на поверку оказалось чем-то вроде маленького садика или сквера, затерянного между глухих стен, провалов и коридоров. Садик был, в общем-то, невзрачным, изрядно замусоренным – в центре виднелась покосившаяся деревянная беседка, наверное гнилая. Когда-то она была выкрашена яркими красками: синим, желтым и зеленым. Но теперь эти краски полуоблезли, загрязнились и почти слились в неразличимую серость – цвет превратился в разрозненные чешуйки, отделенные друг от друга мириадами трещинок. Сбоку имелась запущенная песочница, обнесенная покоробившимися бортиками, – в середине, среди увлажненного (как после дождя) песка, возвышался деревянный грибок, на шляпке которого еле-еле можно было различить белые пятна. Под грибком, недалеко от центра так называемого счастья, сидело существо – небольшое, очень сморщенное.

«Зойс!» – осенило Дунаева. Раньше он никогда не видел Зойса, но сразу почему-то узнал его, хотя вообще не знал, что это такое.

Отчего-то в сознании отчетливо всплыли строчки:

Зойс печальный сидел под грибком...

Существо что-то протягивало ему. В тоненьких витых пальчиках был зажат компас. Дунаев обратил внимание на странный цвет компасной стрелки – желто-фиолетовый, а не синекрасный, как обычно. Он схватил компас и посмотрел на часто мигающие глазки Зойса, на его дряхленькую курточку из жатой бумаги, и ему страшно захотелось подарить Зойсу что-нибудь взамен. Но Зойс стал странно изгибаться зигзагом, резко, как складная линейка. При этом он о чем-то спросил Дунаева на языке, Дунаеву абсолютно незнакомом. Затем Зойс сложился в небольшую прямоугольную коробочку, которая раскрылась и оказалась пустой. Дунаев нагнулся и положил в коробочку компас, затем засунул коробочку в карман и повернулся, чтобы уйти. И увидел перед собой огромную каменную морду носорога. И увидел перед собой огромный каменный хобот слона. Отступив на шаг, Дунаев упал. Вокруг топорщились изваяния чудовищ с перепончатыми крыльями, изваяния рыб, земноводных и пресмыкающихся, громоздились драконы, кондоры, лоси, темно-серые с печальными подтеками от дождей. Где-то среди этого открывалось окно, за мутным стеклом которого, в глубине, стоял лестничный пролет, стены же там были увешены черепами тех животных, чьи изваяния теснились снаружи. Крадучись, Дунаев пробирался по спинам и крыльям. После его прикосновений твари удрученно оживали, будто пробуждаясь ото сна и оцепенения. Внезапно какой-то птеродактиль взмахнул бетонными крыльями, едва не сбросив парторга с крыши. На спине чудовища сидел мальчишка из свиты Петьки и размахивал луком, стараясь прицелиться в Дунаева.

– Вожди индейцев Большой Стремительно Летящей в Беспредельном Небе Птицы приветствуют тебя! – крикнул ребенок.

Парторг прыгнул вниз, задев по пути рог бетонного оленя, причем кусочек рога, как раздвоенная веточка, упал ему в карман. Он приземлился на мраморные ступени и понял, что находится в совершенно другом месте, также на вершине холма, но перед роскошным храмом в стиле рококо – Андреевским собором, построенным над Днепром по проекту Растрелли. В соборе, на алтаре, расстреливали нескольких советских офицеров. Немцы числом более десяти стояли перед ними с автоматами. Офицеры кричали: «За Родину! За Сталина!» – и падали на пол перед золотым литьем врат. Невидимый Дунаев подошел к связанным советским людям и засиял, как фиолетовая шаровая молния. Очумевшие от ужаса немцы стали бросать автоматы и убегать. Возникла свалка, неразбериха, и тут же один из пленных советских офицеров сунул в руку Дунаеву свой окровавленный военный билет. Вслед за этим кто-то бросил гранату, и парторг перескочил вперед на полчаса. Открыв глаза, он увидел желтые листья и странного дедушку с зелеными длинными волосами и бородой. «Старик-Моховик», – подумал парторг, уставившись на старца и переминаясь в нерешительности. Они стояли среди роскошной дубовой рощи, пронизанной лучами заходящего солнца. В лучах плясали пылинки и паутинки. Сырая прохлада гниющих листьев, обжитых пауками и какими-то другими насекомыми и мелкими зверьками, смешивалась с теплом от уходящего осеннего солнца, особенно ласкового и нежного в это бабье лето. За войной Дунаев не замечал, какое время года, и теперь в краткие и стремительные мгновения отдыха наслаждался тишиной и вдыхал ноздрями запах осени, аромат утонченный и мудрый, таинственный и пьянящий. Осень!..

В этот момент старец развернул парторга вокруг оси и стал обыскивать его, как полицейский, быстро и умело прощупывая карманы. Он моментально выудил букет колокольчиков своими моховыми руками, военный билет, выхватил коробочку-Зойса с компасом и кусочек оленьего рога, потом сунул в руки Дунаеву красный кленовый лист.

Мохом укрыты победы.
Вереск застлал небеса.
Спят подо льдом непоседы,
Тайны свои записав.
Записи трудно прочесть
Между прожилок листвы,
Юркие тайны не счесть
Среди теней синевы.
Молча идти под сугробом,
Так ничего не узнав.
Где-то за маленьким собственным гробом
Можно понять, что ты прав.

Старик был сгорбленным, с густыми зеленоватыми бровями, под которыми внимательно лежали выцветшие глаза. Спрятав куда-то в просторные одежды, под тулуп, все конфискованное у парторга, он ласково погрозил ему пальцем и, повернувшись, пошел прочь. Дунаев стоял в лучах неяркого солнца и не знал, идти ли ему за стариком или возвращаться к Поручику другим путем. Потом он бросился вслед Моховику, но того уже не было. Тишина окутала дубовую рощу. Послонявшись по лесу, он вдруг услышал какой-то шум и вскоре обнаружил компанию немецких солдат, устроившихся на полянке вокруг костра. Они пили горилку, жарили большого гуся. На советских газетах, покрытых жирными пятнами, лежали нарезанное ломтями сало, помидоры и огурцы, буханка серого хлеба и пачки немецких галет. Солдаты сняли каски, кое-кто даже разделся по пояс. Они громко и пьяно, не столько от награбленной водки, сколько от победы, пели немецкие песни и гоготали в перерывах. Дунаев вдруг ощутил, что изменился. Посмотрев на себя, он увидел солдатскую шинель немецкой пехоты, на ногах

сапоги, а на голове каску. За спиной висел рюкзак, на поясе – гранаты, карман оттягивал тяжелый пистолет. Он стал понимать немецкую речь и сам мог говорить на их языке, почему-то с баварским акцентом. Незаметно он вышел к костру. «Привет, ребята! Ну что, Киев капут?» – спросил он и захохотал.

– О-хо-хо-хо!!! – взорвались солдаты. – Явился – не запылится. Ну что, Хайнц, хорошо поработал, а мы уж думали, не справиться тебе с этой Оксаной! Крепкая баба!

– Да вы что? – не растерялся мнимый Хайнц. – Я, как еще нашему Штаубе она хлеб-соль подносила, на нее глаз положил! А как она от Штаубе вышла, уж тут мы побежали с ней в лес. Кругом бой, а мы в кустах малины забавляемся! Ух, и ядреная же эта украинская девка! «Хлопшик! Хлопшик!» – мне на ухо говорила. А что это такое, не знаю!

– Это она тебе «шайссе» говорила по-украински, Хайнц! – крикнул один из солдат, и все стали хохотать как сумасшедшие. Хайнц шутливо толкнул солдата, и тот, также в шутку, упал, задрав ноги и раскорячив их в разные стороны. Хайнцу налили полный стакан горилки, он выпил его и закусил.

Затянули:

Ждет меня милая Гретхен домой
В садике белых роз...

Потом закурили простые фронтовые сигареты. Дунаев нащупал в другом кармане плоскую флягу со шнапсом и, выхватив ее, закричал:

– Ребята! Да что вы пьете это «шайссе»? У меня есть в припасе прекрасный вюртембергский «Бюхтер». Давайте выпьем по-настоящему за родные реки и горы, за родной Дойчланд!

– Давай! – заорали все, и фляга пошла по кругу. Когда последний солдат отпил из нее, кто-то затянул:

– Дойчланд, Дойчланд юбер аллес! – и все вскочили и подхватили эту великую песнь. Голоса стали чистыми и звонкими, как латы белокурых воинов, гремящих белыми мечами, как трели лесных «нахтигаль». У многих по лицам катились слезы.

Стемнело. Дымом пожариц застлало небо – то горел Киев, горели украинские села. Советские войска были уже где-то далеко, и внизу царило безраздельное господство потомков Зигфрида, еще не осознавших полноту победы, еще временами оглядывавшихся по сторонам. Один из солдат отошел поссать за дерево и, глянув на Дунаева, махнул ему рукой. Тот встал и, слегка пошатываясь от выпитого, подошел к нему.

– Давай, – шепотом сказал солдат по-русски и протянул руку так, чтоб не видели из-за кустов. Парторг всмотрелся и, в который раз, узнал родное и милое лицо Холеного, выступавшего у костра главным запевалой, Готфридом из Бранденбурга.

Дунаев вытащил из-за пазухи кленовый лист и отдал Поручику.

– Ничего у меня не осталось... – произнес он пьяным и капризным голосом.

– Ага! – усмехнулся Поручик и обнял парторга. Тотчас налетел порыв ветра и будто в мгновение ока сдул их с места. Дунаев отключился.

...Ветер, ветер
На всем белом свете... –

пел печальный потусторонний голос в необозримых просторах потаенной Промежуточности. По ту сторону пшеничных стеблей, каштанов, ясеней и барвинков шли какие-то странные токи, содрогаясь в сладких поворотах и уклончиках. Затем Дунаев понял, что стоит у ворот Киево-Печерской лавры и здороваются с каменным Тарасом Шевченко и чугунным Богданом

Хмельником. Те, засмеявшись, неожиданно изо всех сил ударили Дунаева по морде. Он улетел в неведомое и «запал» в некое особое пространство «запада», как бы «за горизонтом», где бы тот ни находился. «Сразу за горизонтом». Дунаев ощущал, как его тело и голова от чудовищных ударов распухают, становятся «большой шишкой». И тут парторг понял, что взрывается миллионами ярчайших золотых игл. Вот уже, круглый и огромный, гораздо больше Земли и всех планет, он встает над горизонтом во весь свой круглый красный шар. И он осветил полземли, в то время как другая половина пребывала во тьме. Он осветил Канаду, и Америку, и Латинскую Америку, и Колумбию, Венесуэлу, Суринам, Британскую Гвиану, Перу, Эквадор, Чили, Уругвай, Аргентину... Он был Солнцем. Он полностью излучал свое сияние вовне, но не убывал, не иссякал, оставаясь благодатным и великолепным, он был – Владимир Красно Солнышко!



Глава 21

Одесса

Когда, забыв о заботах портовой будничной жизни, пропитанной соленым морским ветром и запахом рыбы и пота, забыв о стуке кофейных чашек в кафе Фанкини и бильярдных шаров в Александровском саду, гуляешь по Французскому бульвару, в сердце рождаются строки, которые хочется высечь на булыжной мостовой, вырезать на нежной коре платанов, на мордах каменных львов, растущих на оградах пустых санаториев.

...В тумане скрылась милая Одесса,
Золотые огоньки!
Не горюйте, ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки!..

Этот уходящий в неизбывное прошлое город был как сон, застилаемый поутру прозрачной дымкой и криками чаек. Его лепные балконы с бельем, мокроватая листва акаций, и загадочные дворики, открывающиеся на миг, в короткое мгновение поворота головы, когда проходишь по улице, и таинственные закоулки остаются за твоим плечом, порождая сожаление и роняя каштаны, как слезы...

Эти тенистые улицы, уютные и распластанные, как женщина на постели. Куда они ведут? Улицы переходят в улочки, с мусором в подворотнях и кошками на заборах из камня-дикаря. Улочки, тихие и сонные, перетекают в переулки, где стерлись номера дворов и уменьшились домики, где уже ноздри ощущают запах соленого моря и слышен шелест каштанов и черешен, продуваемых вечным ветром.

И вот мы выходим на обрыв из переулка, из узкого межзаборного пространства, на широкий необъятный простор, где внизу шумят деревья вдоль приморской дороги, а за ними море, горизонт, которого не охватить взглядом, море и небо без конца и края. По бокам видны уходящие на север и на юг берега, бухты и пляжи, беленькие домики среди зелени с красными черепичными крышами, и всюду – тишина.

Так и хочется пропеть:

Ах, Одесса, жемчужина у моря!
Ах, Одесса, ты знала много горя!
Ах, Одесса, ты мой любимый край!
Живи, Одесса, живи и процветай!

Однако теперь Одесса была местом войны, настороженным городом воздушной тревоги и баррикад из мешков поперек улиц, с почерневшей лепниной на некогда пышных зданиях и снятым бельем, с настороженной тишиной дворов и заклеенными черной бумагой окнами, с раскатами канонады за околицами и унылыми очередями за хлебом, осыпаемыми пожухшей за жаркое лето листвой. Сумерки окутывали скверы, где еще недавно кипела жизнь, где торговали зажигалками, долларами и кокаином, целовались на скамейках и снимали проституток, где жирные одесские «мамамы» обсуждали последние новости и деловитым шагом проходили бандиты в строгих костюмах, где «собачка лаяла на дядю фраера», где дети кричали на просьбы матерей идти в бомбоубежище: «Так шо, я должен стать раком и трубить тревогу?!»

Дунаев по своим заводским делам не раз бывал в Одессе и хорошо знал ее взбалмошную итальянскую суматоху, ее «шухера» и пышные застолья, «всю ее кухню», и теперь, как зачарованный, шел по Канатной улице и всюду находил напряженную тишину, отпускающую душу на волю. Он свернул на Таможенный спуск, по булыжникам которого раньше то и дело тряслись лакированные автомобили фраеров с красотками, а нынче тащился пьяный портовый грузчик с ведром черной краски, чтобы написать на портовой стене зернохранилища: «Обстрел со стороны моря. Не подвозить!»

Голуби, вы мои милые,
Вы летите в солнечную высь!
Голуби, вы сизокрылые,
В небо голубое поднялись...

Спустившись ко входу в порт, забаррикадированному, с военными у ворот, парторг закурил папиросу и пошел по Ланжероновской лестнице наверх, к Тарагинскому дворцу и Археологическому музею, мимо Портклуба, где у него был роман с Полиной Вайнберг, секретаршей из морского пароходства. Сколько воспоминаний нахлынуло на него, сколько того, что ушло, взывало к нему из почерневших подворотен! Вот здесь, среди роз, перед Археологическим музеем стояла статуя Лаокоона с сыновьями, обвитыми изящными змеями, вот здесь, мимо Английского клуба, а ныне Морского музея, он гулял с Полиной после «Травиаты» в Оперном театре. А вот и сам Оперный театр, как утверждали одесситы, идентичный венскому, но лучше его. Вот и дом, где жил Пушкин, вот Ришельевская улица, где он прогуливался с очередной дамой сердца. Пройдя еще немного, Дунаев свернул на Дерibasовскую и поразился, сколь безлюдна и сера была эта улица, по которой еще недавно в свете огней проходили богатые еврейские семьи и «деловары» с блядами, греки с сигарами и школьники с мороженым. Дойдя до Пассажа, парторг предъявил пропуск военному патрулю и пошел по Соборке, где раньше нищие толклись у памятника губернатору Воронцову, а ныне стояла артиллерия и зенитки. Один из военных, натягивая брезент на пушку, напевал:

Но я не плачу, я никогда не плачу!
Есть у меня другие интересы!
Ведь я пою – я не могу иначе,
Все потому, что я – родом из Одессы!

Дунаев оглянулся на Преображенскую и быстро зашагал по Дворянской, а ныне улице Льва Толстого. До самой Провиантской он никого не встретил и, уже приближаясь к Тираспольской, понял причину безлюдья – воздушная тревога! Закричали, завывли сирены, в небе показались немецкие самолеты, где-то бухнуло несколько взрывов. Перебежав площадь, Дунаев бесстрашно углубился в бесконечные улочки Молдаванки – этот район никогда не был безопасным. Фасады домов все чаще сменялись заборами из ракушечника и маленькими синагогами с заколоченными окнами и дверьми. На одном из балконов со ржавыми перилами стояли кастрюли, в которых росли запыленные лимонные кусты с мелкими плодами, как огоньки сверкавшими среди обшарпанных, темных стен и кривых столбов с разбитыми фонарями:

Ах, лимончики –
Вы мои лимончики!
А вы растете
В тети Сони на балкончике!

Через пару кварталов Дунаев остановился и вытащил из кармана пыльника бумажку, где витиеватым белогвардейским почерком Холеного была обозначена явочная квартира: «Мясоедовская, угол Степовой, дом 18, спросить Сеню Головные Боли». Он посмотрел на дом и увидел, что это как раз тот самый дом на Мясоедовской:

Улица, улица,
Улица родная,
Мясоедовская улица моя!

Дунаев зашел в темный двор, посмотрел на галереи, на затемненные окна. Он негромко свистнул три раза, но ответа не последовало. Возле дворовой колонки, где раньше брали воду, виднелась калитка в следующий дворик, замусоренный и заброшенный. Перед какой-то верандой был разбит палисадник, обнесенный дощатым заборчиком. За верандой сквозь оконные ставни из комнат пробивался свет. Парторг вошел в палисадник с мальвами и георгинами, качающимися слабо в полутьме. Постучав по стеклу веранды, он услышал тихий шепот: «Шо за хипеш? Козырный пришел? Шо, уже наши в городе?»

– Сеня Головные Боли здесь? – спросил парторг. Брякнула задвижка, и дверь веранды приоткрылась. Показалось узкое лицо с хитрыми глазками и усиками.

– А, до Сени? Проходи, не стесняйся... Сеня, правда, прогуляться отошел – Макарона проведать... Та проходи, не гоношись в дверях!

– Да я пойду его найду, – сказал Дунаев, – и вернусь. Времени мало.

– Шо верняк, то точняк, – ответил человек из-за двери. – Ну давай в темпе вальса, бо покусают боджолы! – И дверь закрылась.

Выйдя на улицу, Дунаев оказался среди бомбежки. Недалеко горел дом, где-то кричали люди, гремела канонада – у Заставы начинался бой. Несмотря на все это, у подворотни прогуливался какой-то типичный фраер – в клетчатом кепарике, с жеваной папироской в зубах, в дорогом белоснежном костюме с красной розой в петлице и в лакированных черно-белых штиблетах. Поблескивала в свете пожара золотая фикса во рту. В общем:

Ширяный – ковыряный,
Ебанный – смешной,
В жопу запузыренный,
Качает головой...

– Шо за шкет такой? – прозвучал наглый голос. – Комиссар? Мы тут комиссаров не уважаем. По приличной улице в сапогах даже биндюжники не ходят, месье коммунары!

– Ты – Сеня Головные Боли? – спросил Дунаев, оторопев от такого обращения. Он увидел, что фраер вроде подмигивает ему, и нахмурился. Что за игры в такое время?

– Вот моя машинка, а вот и девка дорогая, – внезапно указал Сэмэн на роскошный белый «Мерседес», в котором сидела девица с золотистыми волосами и пудрилась, глядя в зеркальце. Сверкающие металлические части автомобиля, вся эта невероятно пошлая красота – все это совсем уже не лезло ни в какие ворота. Дунаев стал пристальнее всматриваться во фраера.

– Мне, знаете ли, Сеню Головные Боли разыскать надо. По делу поговорить, – сказал он наконец.

– Шо, деловой в край? – нагло вытаращился фраер. – Кислорода до хуя? Так мы можем перекрыть! Токо шпалер вынимать неохота!

– Так ты и есть Сеня? – осенило вдруг Дунаева.

– Слухай, ты уже меня замонал! – разъярился Сэмэн. – Нет уже никаких сил! Пристал до приличного человека, как маклер до биржи! Видишь, Раечка, – обратился Сэмэн к девице, открывая дверцу автомобиля, – этот кент не выспался, он видит сон и не может сказать, какое он имеет до меня дело! – Он опять повернулся к парторгу: – Так шо вы до меня имеете, месье?

– Та пусти его погулять на том свете. Шо ты с ним связался? – томно сказала Раечка со своего сиденья. – Он же малахольный!

Товарищ малахольный,
Скажи ты своей маме,
Что сын ее погибнул на poste –
С винтовкою в рукою,
И с саблею в другою,
И с песнею веселой на усте!

Неожиданно Сэмэн выплюнул окурок, сел в автомобиль и нажал на газ, крикнув парторгу:

– Подожди меня на хавире, я в темпе смотаюсь по делу. Там Шоня откроет!

Автомобиль, подпрыгнув, унесся прочь. Дунаев поплелся обратно. Ему открыл Шоня, парень с усиками, и провел в комнату с грязными обоями и не менее грязными железными кроватями. На столе были постелены газеты, стояла водка и котелок с мамалыгой. В комнате сидел еще один парень, Зусман, унылый, но дружелюбный, сразу наливший всем водки. Выпив, ребята куда-то ушли, захватив пистолеты и кожаные портфели. Дунаев сидел на продавленной кушетке, один в прокуренной, душной комнате. От нечего делать стал припоминать события последних дней, стараясь хотя бы чуть-чуть привести в порядок свои растрепанные мысли.

Встав Красным Солнышком над Киевом, парторг раскалился до такой степени, что очнулся и понял, что лежит в Избушке на печке, жарко растопленной Поручиком, и задыхается от угара. Холеный утверждал, что обнаружил Дунаева в Киево-Печерской лавре в пещерах, случайно наткнувшись на одинокую келью в обширных лабиринтах днепровских подземелий. Парторг лежал в луже чернил и извивался как червяк. Среди чернил виднелись капли спермы, видно было, что Дунаев кончал то и дело. После этого Дунаев пролежал около недели на печке,

не приходя в сознание и подвергаясь лечебным процедурам. Однако стоило парторгу немного оправиться, как Поручик вручил ему клочок бумаги с адресом и приказал немедленно отправляться в Одессу.

Посмотри: выходят небольшие братья.
На доспехах – плесень, а в глазенках – ужас.
А навстречу девушки – ситцевые платья,
Звездочки на ткани с елочками дружат.
Нам война не внове, это нам привычно.
Мы давно приучены к пряткам и качелям.
Знаем паровозики, что кудахчут зычно.
Знаем парходиков изумленный берег.
Видишь: там, у моря, город утомленный,
Завернувшись в дачки мелкие, слепые,
Дремлет и колышет шелк волны зеленой.
В нем живут отличники – смертники простые.
Ты найти попробуй Узенькие Глазки.
Загляни, как в бездну, в Головные Боли.
Пусть они фашистам тихо скажут сказки,
Пусть они мальчонок ветошью покроют.
Что пришли, родные, от далекой Эльбы,
От суровой влаги голубого Рейна?
Ну-ка отдохните в черноморской пене,
Разбросав по пляжам молодые тени.

И вот наш парторг обнаружил Перескок и со всего размаху нырнул в море у самого берега Аркадии. То было время перед рассветом, холодное и звездное. Дунаев доплыл до полосы прибоя, выбрался на пляж, сплевывая соленую морскую влагу и снимая на ходу одежду. И тут нечто привлекло его внимание, заставив спрятаться за камень и перестать насвистывать. На пляже было темно, но над обрывом небо светлело, и на его фоне отчетливо виднелось существо, неуклюже идущее краем обрыва над пляжем. Существо было похоже и на человека, и на ежа, возникало впечатление, что оно покрыто перьями или сделано из соломы. Круглая голова вертелась и качалась, ноги запинались. Несколько раз существо падало и всякий раз каталось по земле, будто делало это нарочно. Потом оно исчезло с края обрыва, и Дунаев, раздумывая, что бы это могло быть, пошел по линии прибоя в сторону города, перебираясь через волнорезы. Под какой-то скалой он развел костер и высушил одежду. Совсем рассвело, однако пляжи были безлюдны. Только на Ланжероне купалась какая-то шпана и громко орала матом. Парторг заметил одного из уголовников, запомнил его лицо, отдаленно похожее на Кирова, – широкое, мясистое, с зачесанными назад волосами. Этот человек резался в карты с двумя блатными парнями. Все были в черных длинных трусах и попивали самогон из большой трехлитровой банки, закусывая воблой и стегая картами подстилку.

– Эй, Бадай, шо ты мухлюешь?! – крикнул один из парней тому, кто постарше, и парторг подумал: «Кличка-то похожа: Дунай – Бадай! Надо же».

– Ша, Корявый, – тяжелым голосом ответил Бадай. – Братва не мухлюет. Фраера мухлюют. А фартовым на хуя? Закон уважать надо.

Сказав это, Бадай даже не улыбнулся. «Законник», – понял парторг про него. Таким он когда-то (а на деле совсем недавно) представлял себе Откидыша-Колобка, суровым и способным на многое в трудное время. «Вот человек нужный! – размышлял Дунаев, подымаясь в город через Александровский парк. – Такого бы к нам на работу!» В парторге неистребим был

дух организаторства. Когда он оставался без Поручика, в нем снова воскресал этот дух, воскресало желание вербовать, переубеждать, приобретать сторонников и единомышленников.

Парторг сидел в грязной комнатке на Молдаванке и смотрел не шурясь на тусклый свет лампочки. Неожиданно дверь открылась, и Дунаев вздрогнул. К нему широкими шагами направлялся не кто иной, как Бадай – загорелый, в пиджаке нараспашку, в сапогах.

Дунаев встал и пожал вошедшему руку. «Сильный, черт!» – мелькнуло у парторга.

Бадай ему положительно нравился. Они сели к столу, ребята налили водки.

– За Закон! – громко сказал Дунаев, встав со стаканом и зорко взглянув в глаза Бадаю. Тот не отвел глаза, но на какое-то мгновение они расширились от удивления, потом сразу же сузились. Он поднял стакан и кивнул. Все выпили.

– Так шо, воров уважаешь? – положив руки на скатерть, спросил Бадай.

– Если не мухлюют, – не дал ему опомниться парторг. – Но фартовым на хуя мухлевать? Фраера мухлюют.

Бадай мигнул от удивления, но и только.

– Пацаны, – негромко, но требовательно обратился он к друзьям, Шоне и Зусману, – айда на кислород, до моциону! Заодно и Сэмэна найдите. Где эта сука запропастилась?

Ребята понимающе мигнули и удалились. Проводив их во двор и закрыв калитку, Бадай вернулся в комнату и застыл на пороге. Дунаев спокойно летал по комнате вокруг лампочки, куря козью ножку и насвистывая что-то себе под нос. Летал он несколько тяжеловесно и неуклюже, но по-настоящему, и настроение от этого, как всегда, поднималось. Он элегантно приземлился перед Бадаем и раскрыл портсигар легким щелчком: «Закуривай, браток!» Вместо того чтобы вытянуть папиросу, Бадай вытянул из-за пазухи пистолет.

– Да погоди, не горячись! – ласково сказал ему Дунаев. – Все равно этим железом сраным меня не возьмешь. Вот лучше глянь, как от пуль уворачиваться надо!

Тут парторг стал «то кричать, то исчезать», увеличивая обороты, и вскоре замелькал перед ошалевшим Бадаем как бешеный.

Как только парторг остановился, Бадай тут же разрядил в него всю обойму. И снова, как в Смоленске, Дунаев ощутил радость неуязвимости. Он даже захохотал и, повернувшись к Бадаю спиной, налил стакан водки.

– На лучше, выпей.

Бадай бросил пистолет на пол и безумными глазами смотрел на парторга. Машинально он взял стакан и выпил, не отводя глаз.

«Это шок!» – хвастливо подумал Дунаев.

Он подошел к Бадаю и потрепал его фамильярно по щеке:

– Эй ты, пахан, как фамилия?

– Молодцов-Бадаев, – как под гипнозом ответил тот.

– Вот видишь, и молодец вроде, и бодаться горазд, а все воровскими штучками да «законами» ебаными башка-то забита! Сидишь тут, в этой вонючей дыре, а уж немцы на дворе!

Немец придет.

Мы картошку поставим.

Водка стоит на столе.

Немец очки

Аккуратно поправит,

Вынет стальной пистолет.

Что же вы, братики

Милые, родные, –

Где же вы были тогда?

Вам бы сражаться
За дело народное,
Славу снискать навсегда!
Немец нарезал
Ножом перочинным
Сало свиное и шпиг.
Трупы бесславных воров
Под овчиной.
Вспомнит ли кто-то про них?

– У нас своя слава, – глухо промолвил Бадай, сев за стол и положив на скатерть сжатые кулаки.

– Да ты што! – вскричал Дунаев. – Пойми ты, дурья башка, что сейчас настоящая война идет! Враг страшный наступает, под ними все живое гибнет! И вам пиздец! Что, думаете, если с ментами воевали, то немцы героями вас сделают? К награде представят, туш вам сыграют? Да они камня на камне от вашего «закона» не оставят! У них закон свой – «орднунг»! Живо на каменоломнях в Баварии окажетесь! Если не всех сразу, в айн секунд, расстреляют или сожгут! Понял? Пиздец всему! И если сейчас всем не объединиться против врага, не одолеть его общими силами, то делить будет нечего! И некому! Понял?

Дунаев изо всех сил ударил по столу кулаком, так что подскочили стаканы. Вслед за этим дверь распахнулась, и в комнату ворвался Сэмэн, взвинченный, с пистолетом наготове. За ним вломились Шоня с Зусманом и Макарон – длинный, тощий парень в кепке и лакированных штиблетах.

– Шо такое?! Хто пулял?! – закричал Сэмэн, поводя вытаращенными, блестящими от кокаина глазами.

– Та ладно, – веским басом сказал Бадай. – Брось шухер, пацаны. Тут пассажир по делу выступает. Садись и слухай!

Все стали успокаиваться, выпили с ходу по стакану водки, положили оружие, приглаживая руками мокрые чубы и челки. Наконец все расположились за столом.

– Всем встать!!! – вдруг заорал страшным голосом Бадай. Инстинктивно все, включая парторга, вскочили, повинувшись командному тону пахана.

А за стеною все играет пианист,
А говорят, он виртуозный онанист,
Играет Чайковского он вроде бы горазд,
И, как Чайковский, он местами педераст!

В самом деле, за стеной кто-то еле слышно играл на фортепиано Чайковского. Бадай широким жестом указал на стол. Стол был накрыт белоснежной скатертью и ломился от яств. В посуде Фаберже лежали салаты и супы, рыба и икра, фаршированные еврейские изыски, включая «сладострастную рыбу Фиш». Сияли кузнецовские тарелки. Серебро вилок и ножей сверкало в свете тусклой лампочки. В китайских фарфоровых пиалах грелись пельмени и кальмары, спаржа и всевозможные соусы и приправы. Мерцали бокалы тончайшего стекла, лоя отблески дорогих белых, розовых и красных вин, стояла туманная водка и темные приземистые бутылки коньяка. Зеленело шампанское, окружая батареями тяжеловесных бутылок огромного жареного поросенка на севрском блюде, утопающего в овощах и зелени. Громоздились горы фруктов. Особые бутылочки с наливками прятались меж ваз и блюд, порождая цветные переливы, бегущие по столу из конца в конец. Впрочем, всего было не рассмотреть на этом

бесконечном столе, который, казалось, чудовищно раздался, чтобы вместить все это, умело и со вкусом расположенное на крахмальной скатерти.

– Скатерть-Самобранка, – дрогнувшим голосом сказал Бадай. – Специально для такого случая. Думал – когда настоящий пахан придет, расстелю ее на хуй, да и попируем на славу!

Люди стояли, оледенев. Было видно, что они никогда не видели ничего подобного. А многое из того, что видели, никогда не едали. Макарон даже икнул.

– Да-а-а-а, такого и в «Лондонской» никогда не подавали... – задумчиво протянул Сэмэн и глянул на Бадаю – помнит ли молодость?

На Молдаванке
Музыка играет,
Вокруг веселье шумное кипит,
А посреди
Доходы пропивает
Пахан Одессы,
Костя-инвалид!

– Ну, садитесь, хлопцы, вздрогнем по такому случаю! – повеселев, молвил Бадай и щелкнул пальцами.

В комнату проскользнул мальчуган, чернявый и оборванный. Он подошел к Бадаю и поманил его.

– Потом, – отрезал пахан и повернулся к Дунаеву, указывая на пацана: – Яшка, наш связной, по воровскому делу мастак. Паханом будет!

– Слухай, Яшка, постой на стреме, а покамест разлей шампанское и себе налей на всякий пожарный случай, – сказал ему Бадай.

Яшка исполнил все как положено. Все уже что-то съели и теперь стояли с бокалами, глядя на парторга.

– За нашу страну, терзаемую фашистскими извергами, за Родину, истекающую кровью под сапогами немецких извергов, за Великую Победу! – провозгласил Дунаев, и все единым залпом выпили шампанское.

– Вот что, ребята, я вам скажу! – говорил Дунаев собравшимся. – Немцы будут в городе со дня на день. Советские войска уйдут в Крым. Но ведь не все уйдут. Люди-то останутся! И вот теперь вам выпадает на долю великий подвиг, почище ваших налетов. Вы остаетесь, пути с армией вам нет. Город отдадут румынам, а они – распиздяи. Вот и раздолье для вашего брата! Постоянно держите связь с Большой Землей и сообщайте о ситуации. Все разведывать, и прежде всего – дислокация войск, арсеналы, комендатура, полиция, списки предателей, ушедших на службу к захватчикам. Где только можно, необходимо вредить, не брезгуя ничем – убивать командующих, грабить новые деньги, взрывать мосты, учреждения, арсеналы, добывать оружие, препятствовать любым действиям врага!

– Да мы знаем, не хезай, – лениво сказал Макарон. – Не впервой для нас. Все поставлено на широкую ногу. У нас катакомбы за спиной, ни у кого их плана нет, и хуй отыщешь. Чуть что – шасть под землю, и привет маме родной! А сунется туда не каждый. Румыны туда не полезут.

– Ну, братва, вижу, что вас войной не испугаешь. Да только действия ваши теперь не на воровские цели должны быть потрачены, а на самую главную цель – на нашу общую Победу. А иначе – гибель, смерть всего, а для избранных – рабство!

Так Дунаев беседовал с уголовниками до самого утра, и беседа запивалась огромным количеством спиртного и заедалась множеством изысканной снеди. Под конец Бадай ударил по столу, под которым валялись его приспешники.

– А, заебала эта роскошь! Пойдем, что ли, пива выпьем с утречка! – подмигнул он парт-оргу и бросил об стену бокал с красным вином «божол».

На Дерибасовской
Открылася пивная!
Там собиралася
Компания блатная.
Там были девочки
Маруся, Роза, Рая –
И вместе с ними
Сашка Шмаровоз!

– А скатерть я тебе отдаю, – молвил Бадай. – За все хорошее.

– Да мне она ни к чему, я ведь не человек уже, – мягко отказался парторг.

Переступая спящие тела, они вышли из комнаты, выключив за собой свет. На пороге спал Яшка с раздутым животом, сжимая куриную ногу и положив под голову ананас. На улицах Молдаванки стояла предрассветная тишина, все окутывала голубоватая дымка, каменные пористые заборы увлажнились от утренней свежести. Пели петухи, невзирая на далекий гул боев, не утихающих ни на минуту в эти дни решающего прорыва немецких войск в степях и садах под Одессой.

– Человек ты или не человек, а пива выпить нам с тобой надо, – нарушил молчание Бадай, когда они вышли на Малую Арнаутскую. Во дворах висело белье, одинокие фигуры куда-то спешили с мешками и тюками, и трактор вез к вокзалу пушку ПВО. Они убыстрили шаг и вскоре свернули на Пушкинскую, просторную и прохладную в последние дни свободы. Только голуби ворковали на карнизах и ветвях платанов, да редкий прохожий сворачивал в боковые улицы. Кариатиды и атланты смотрели вечно слепыми глазами на булыжную мостовую. В подворотнях не громоздился мусор, и все дышало чистотой и опасностью.

Попадались дома, развороченные бомбами, но трупов нигде не было видно. Город держался с достоинством. По Греческой маршировал взвод моряков с песней:

Ты одессит, Мишка,
И это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка,
Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда!

Дунаев и Бадай повернули на Дерибасовскую и пошли по любимой всеми улице, безлюдной, застилаемой туманом с моря, мимо банка (который в свое время «брал» Бадай), мимо Ришельевской гимназии и Новой улицы. Возле Городского сада не стояли нищие, не толклись праздные молодые люди, и бронзовые лев и львица беспрепятственно смотрели друг на друга. Шелестели каштаны и акации. Проем Пассажа был заколочен длинными досками крест-накрест. Парторг и Молодцов-Бадаев спустились по склизкой лестнице «Гамбринуса» на Преображенской. Конечно, ни Сашки Музыканта, ни Сашки Шмаровоза и в помине не было. Сухонький и деловитый Изя-Оплеуха налил им по кружке пива и не спросил денег. Он сказал, облокотясь о стойку:

– Вы ж понимаете, время такое, шо хоть стой, хоть падай! До чего мы дожили – Страшный суд! Какие могут быть купюры? Товарищ Сталин до своей жинки говорит: «Собирай гардероб!» И со сберкнижки последние гроши снимает! Так шо пейте и веселитесь, пока Соломон во гробе не перевернулся! Ваше здоровье!

Сидя в полутьме за корявым столом, видевшим многое, Бадай и Дунаев вполголоса обсуждали проблемы резидентуры в Одессе, возможности партизанщины и многое другое. Больше никого в пивной не было.

– Все ушли на фронт, – резюмировал Бадай, когда они прощались с Изей. – Теперь жди Мессию, гражданин Кац!

– А то как же? – бодро ответил Оплеуха и подмигнул.

Они поднялись на брусчатку Преображенской, откуда свернули на улицу Гоголя, прекрасную и тихую в любое время. В конце улицы виднелось море. Они вышли к обрыву. Внизу расстилался порт, лишенный обычной суеты, застывший и темный, а дальше уходила к горизонту одинокая лодка по бесконечной глади морской, зеленой и шумящей далеким монотонным прибоем.

Море глухо рокотало, и волны вспыхивали на солнце холодными искрами, украшая путь одинокой лодки, постепенно исчезающей из виду.



Глава 22

Скатерть-самобранка

– Скатерть принес? – огородил Дунаева резким вопросом Поручик, как только тот вернулся в Избушку.

– Что? – переспросил Дунаев. – Скатерть? Да зачем она нужна? Не до разносолов заморских сейчас. Пусть ребята пользуются – им ведь в катакомбах теперь жить надо будет.

Дунаев вернулся из Одессы довольный собой, гордый тем, что недаром потратил время – проделал большую и важную работу, можно сказать, за неполные сутки заложил основу партизанского подполья в Одессе, боеспособного, с налаженными потайными связями, хорошо вооруженного. Он чувствовал себя настоящим бойцом. Но Поручик смотрел на него как-то странно, прищурившись, без улыбки.

– Эх, парторг, много я на тебя сил потратил, думал, война из тебя сделаю, а теперь вижу, что зря старался. Как ты был тетерей, олухом Царя Небесного, таким и остался. Я ведь в Одессу тебя не на митинг посылал, не на партсобрании выступать. Я тебя за скатертью посылал. А ты: «разносолы», «разносолы»! Ничего в деле не понял. Неужели ты думаешь, что такая страшная вещь ради французских паштетов существует? Она – САМОБРАНКА, сама на бранное дело ходит, в брани смертные вступает, сама врагов одолевает, в узел стягивает и хозяину подносит. Впрочем, парень этот, Бадай, хоть и мелкая шпана, а все же, гляжу, смекалистее тебя. – С этими словами Поручик вытащил из кармана дунаевского пыльника свернутую скатерть. Один резкий взмах – и Скатерть развернулась в затхлом воздухе Избушки. На этот раз на ней не было ничего – ни яств, ни вин, ни столовых приборов, – только посыпалось на пол что-

то вроде горстки старых сухих крошек. Скатерть уже не казалась белоснежной, как в первый раз, напротив, она была какая-то захватанная, грязная, жеваная, с пятнами. Дунаев удивленно уставился на нее.

– Может, это не та? – неуверенно спросил он. – Другую подсунули?

– Она, она, родимая! – радостно причмокнул Поручик. – Так-то она лучше, мощнее. Ты еще увидишь, на что она способна. Ну ладно, рассказывай, кого в Одессе видел?

– Да там немало отличных ребят, – приосанился парторг. – С Сеней Головные Боли встретился, с другими. Но самый надежный – Молодцов-Бадаев. Я сразу, как увидел его, понял – будет руководитель партизанского отряда. И другие ребята что надо – Шоня, Зусман, Макарон. Бывалые, решительные, храбрости не занимать. У них фактически подпольная сеть уже налажена – и связь, и оружие, и убежища...

– Ладно вздор городить! – неожиданно прервал его Поручик и нахмурился. – Ты лучше скажи, такого человека не видел: пожилой, лысый, в мешковатых штанах, лицо болезненное, похож на кладовщика?

– Нет, такого не видел, – оторопел Дунаев.

– А железку ржавую, несмазанную, которая сама собой скачет и топориком помахивает? А? Не видел?

– Нет.

– А маленькую девочку с черной собачкой не встречал? А на ногах у нее...

– Какие там на хуй девочки! Весь город как мертвый, только шпана лихая по улицам шляется.

– Шпана, говоришь? – усмехнулся Поручик. – Есть шпана пожестче твоих друзей с Молдаванки. Скажи, такого не видел ли случаем: мягкий, пухлый, весь в соломе, ноги подгибаются, то и дело падает, из жопы трава торчит?

– Да не видел я таких! – вскричал Дунаев, но вдруг засомневался: – Впрочем, погоди. Как ты говоришь: «Весь в соломе и то и дело падает»? Да, вроде видел что-то такое, на пляже в Аркадии. Дело было перед рассветом, темень, так я толком не разглядел. Вижу только, какой-то хуй сверху по обрыву бредет, голова качается, сам весь словно бы в перьях и по земле валяется.

Поручик встал и в волнении заходил по комнате. Он сосредоточенно думал о чем-то своем, даже покусывал губы.

– Теперь Черноморскому флоту пиздец! – пробормотал он, нахмурился. Внезапно он резко обернулся к Дунаеву и гаркнул так, что затряслись стены Избушки: *«Ты понимаешь, что теперь Черноморскому флоту – пиздец!»*

Дунаев встал с лавки. Почему-то он еле стоял на ногах. Его шатало, а голова сильно кружилась. Было непонятно, то ли это дает о себе знать усталость после одесской экспедиции, а также заявившееся похмелье, вызванное большим количеством выпитого на Молдаванке алкоголя, то ли так выглядит приток новой нечеловеческой мощи. По этому поводу в голове Дунаева вспыхнуло мутным каламбуром откровение: *«Мы – в руках интересных сил!»*

– Полетели! – прохрипел он изменившимся голосом. – Полетели, отомстим фашистским опарышам за наших моряков!

– Вот таким ты мне нравишься! – неистово закричал Поручик. – Айда на Черное море! Айда на курорт! Не все же нам вкалывать на синих червей, надобно и отдохнуть! А ну, парторг, держи хуй пистолетом! В Крыму еще бархатный сезон! Щас позагораем, искупаемся, сыграем в бильярд, в преферанс, в гигантские шахматы! Смотримся в Ласточкино гнездо! Найдем себе двух молоденьких ласточек-смуглянок! А, парторг, нахлестывай сильнее, и посвистели в заслуженный отпуск!

Поручик пронзительно, по-бандитски, засвистел, засунув два пальца в рот, после чего схватил со стола Скатерть-Самобранку, в одно мгновение свернул ее жгутом и стал, словно на хлыстовском радении, стегать себя ею по всему телу, стремительно вертясь вокруг своей оси

и повизгивая. Поддавшись этому экстазу, Дунаев рывком выдернул из штанов ремень и тоже стал охаживать себя со всех сторон, забыв о всяком сострадании к своему телу. Они вращались все быстрее и быстрее, обжигая себя ударами и постепенно теряя сознание от ветра, боли, восхищения и невольного смеха, смешанного с невольными слезами. Вокруг все подхватило этот свист и повизгивания. Все завертелось. И развернулась, как хвост гигантского, расстрелянного из пушек павлина, радостная и неистовая Прослойка.

Когда наступило изнеможение и пришло время падать, Дунаев ощутил, что падает в теплый песок. Сознание вернулось не скоро. Вернувшись, оно застало обоих томно распластанными на пляже под жаркими лучами крымского солнца. Пляж был пуст. Поручик вскочил, скинул с себя свое тряпье и, оставшись в черных трусах до колен, стал бегать по полосе прибоя, смешно задирая ноги и шлепая себя ладонями по груди и животу. После самобичевания на теле его не осталось никаких следов, напротив, тело казалось молодым, сильным и странно контрастировало с морщинистым бородатым лицом. Скатерть-Самобранка, все еще свернутая жгутом, валялась рядом в песке. Побегав, Поручик вошел в море и поплыл. Дунаев последовал его примеру и, сбросив одежду, вошел в море. Ласковое море обняло его, окружило сверканиями солнечных бликов, опьянило свежим запахом йода и соли.

У самого берега вода была теплой, как молоко, но, отплыв подальше, Дунаев ощутил, как она становится все холоднее. Поэтому он не стал нырять, а размашисто, саженками, описывая полукруг, направился к берегу и вскоре выбежал на песок, отряхиваясь и отфыркиваясь, как пес. Холеный же не спеша поплыл куда-то вдаль. Как-то незаметно он оказался очень далеко и вскоре уже был еле заметной точкой на горизонте.

На пляже ласково пригревало солнце, новые деревянные навесы отбрасывали четкие тени на песок, и день медленно, по-курортному, клонился к вечеру. Еще недавно здесь галдели веселые отдыхающие, еще недавно песок баюкал загорелые тела, бегали дети со своими лопатками и надувными мячиками, мужчины играли в карты, защитив головы парусиновыми кепками или носовыми платками, смоченными морской водой. Застенчивые девушки заходили в кабинки для переодевания и, сбросив мокрый купальник, надевали ситцевые платица на влажное тело, что вызывало пристальное внимание со стороны молодых людей. Мороженщики продавали эскимо, а пляжные фотографы делали групповые снимки семей, стоящих по щиколотку в воде. Эти синие навесы! От них еще исходит запах масляной краски. Ведь их красили не для войны... Теперь же они стоят здесь, такие нарядные и невинные, но их тенью пользуются только умирающие крабы, выброшенные морем, обрывки газет и пустые бумажные стаканчики, смятые неизвестными, беспечными пальцами. Эх, навесы, навесы... Какова будет ваша судьба? Сметут ли вас злобные разрывы снарядов, или под вами будут скоро веселиться, гоготать и пить шнапс голые по пояс парни в тяжелых сапогах, с татуировками, сделанными готическим шрифтом?

Горизонт! Еще недавно изумительно прозрачный, словно созданный для того, чтобы дать отдых усталым глазам и умиротворение усталой душе! Теперь его заволочла еле заметная полоска темного дыма – это где-то на просторах Черного моря идут морские бои, там сражается героический Черноморский флот.

Дунаев вспомнил мрачные слова Поручика: «Теперь Черноморскому флоту – пиздец!» Это воспоминание заставило его нахмуриться. Иногда его сознание начинало протестовать против происходящего, словно бы пытаясь выйти из-под влияния Избушки. Так и сейчас, после освежающего тело и душу морского купания, ему не хотелось верить в это угрюмое пророчество, тем более что с Черноморским флотом он был связан лично: там служил простым матросом его младший брат Леша. Зажмурившись под яркими лучами солнца, он вспомнил предрассветный берег Аркадии и нелепое существо, похожее на ежа, ковылявшее по краю

обрыва. Неужели подобные отродья, вяло копошащиеся в сумерках, действительно могут сыграть какую-то роль в уничтожении целого военного флота? Да не может такого быть!

Дунаев встал и огляделся, растирая тело Скатертью-Самобранкой. «Это просто тряпка! – почему-то подумал он с пренебрежением. – Обычная тряпка!» Место, где они оказались, парт-орг узнал без труда – Коктебельская бухта. Справа громоздился, глубоко врезаясь в море, коричневато-зеленый массив Кара-Дага. Вершина Святой горы, покрытая лесом, была окутана полупрозрачным облачком, что предвещало беспокойное море на завтра. Святая гора перетекала в лунный ландшафт Сюрюк-Каи с ее гигантскими серыми скалами, заостренными, как орудия первобытных людей. Слева, на фоне выжженных солнцем холмов, покоилась в море гора Хамелеон, похожая на запеленутого мертвеца.

Крым! Сколько раз Дунаев отдыхал здесь, жил в санаториях и домах отдыха, знакомился с девушками, ездил на морские экскурсии... А первый раз он попал сюда еще в Гражданскую – безусым юнцом в пыльной буденовке, с горячей винтовкой, зажатой в потной руке. Совсем не похожа была та война на эту, нынешнюю. Тогда у него были друзья и были враги. Были ребята, ходившие с ним в атаку и стоявшие плечом к плечу под натиском врага, и были ненавистные золотопогонники и злобные интервенты. А теперь? Теперь он вдвоем с одним из этих недобитых золотопогонников сражается против каких-то ежей, убивает мальчишек, играющих в индейцев, теряет кровь в борьбе с толстячками и красивыми синеглазыми женщинами. И главное, все эти враги, как бы они ни были чудовищны, словно бы играют в какие-то свои, непонятные ему игры и даже, кажется, совсем не понимают, какая идет страшная, нешуточная война.

Поручика все не было. «Утонул, что ли?» – тревожно подумал Дунаев. Он встал и пошел к воротцам, ведущим с пляжа на набережную. Всюду – и на небесах, и на море, и на берегу – было пусто. Все еще так нежно пригревало солнце, и Дунаеву не хотелось одеваться, не хотелось ничего делать. Отдохновение накатило на него, как тихая шелестящая волна на песок в безветренный день. Он лениво поднялся на набережную, пропахшую водорослями и разогретыми плитами, посмотрел на дом покойного поэта-символиста Волошина, выходящий на набережную высокими окнами своей знаменитой Башни. Эти красивые окна были сейчас изуродованы полосками белой бумаги, наклеенными крест-накрест на стекло. Ворота парка Дома писателей, обычно закрытые для посторонних, теперь были распахнуты.

Дунаев вошел в парк и медленно побрел по кипарисовой аллее. Прозрачные тени кипарисов ложились ему под ноги, пели птицы, легкий ветер тихонько трогал кусты и шелестел в зарослях, становясь дерзким только наверху, где он позволял себе раскачивать заостренные верхушки деревьев в ослепительно синем небе и подбрасывать быстрюю чайку, делая ее меньше и отчетливее. Тени чаек и редкие осенние бабочки – лишь они пересекали путь одинокого посетителя. А он все брел, покорно углубляясь в пятнистую глубину аллей, наполненную трепетанием солнечных пятен, поддаваясь безмолвному призыву укромных уголков, где на круглых клумбах перешептывались последние цветы. Он поддавался соблазнам горбатых мостиков с белой отштукатуренной балюстрадой, изогнувшихся над заболоченной речкой, полной сладкой прелью осенних листьев. Было безлюдно. Писателей, по всей видимости, эвакуировали. Обслуживающий персонал разбежался. Эвакуация, наверное, была внезапной: на пустынных теннисных кортах валялись брошенные ракетки, на лавочке ветер листал номер «Нового мира». Дунаев взял журнал и засунул в карман: «Надо будет почитать на досуге».

Писательские коттеджи стояли покинутые своими обитателями и такие же беззащитно распахнутые, как и весь парк. Дунаев, от нечего делать, взошел на террасу одного из них. Посидел в скрипучем плетеном кресле, выпил застоявшейся воды из графина, который возвышался на круглом столике и был накрыт сверху стаканом. Затем вошел в комнату. Здесь был беспорядок: на неубранной кровати валялись скомканные носки и рубашки, видимо брошенные их владельцем при бегстве. На письменном столе были раскиданы листы писчей бумаги

с обрывками какой-то рукописи. Дунаев попытался прочесть текст, однако это были какие-то наброски, к тому же почерк у автора был неровный, переходящий в каракули. Речь шла о войне. Видно было, что какой-то писатель пытался сочинить на скорую руку что-то патетическое, но ужас, паника и разброд в мыслях не позволили ему сделать это. Видимо, война была слишком близко, она не хотела, чтобы о ней писали, она требовала посмотреть ей прямо в глаза. Между двумя незаконченными фразами «праведный гнев народа, отливающийся в сверкающий металл подвигов...» и «тыл и передовая связаны одной великой идеей, одной любовью...» была неумело нарисована православная церковь со свастикой на куполе вместо креста, торопливо зачеркнута и написано: «Господи! Что же делать?..»

Внезапно Дунаев осознал, что на соседней террасе кто-то негромко перебирает струны гитары. Через некоторое время мелодия стала стройнее и чувствительный интеллигентный голос запел:

Ты мне не родная,
Не родная – нет.
Мне теперь другая
Делает минет.
А еще другая
Просто так дает.
Кто из них роднее –
Хрен их разберет.

Дунаев застыл от удивления. Печальная интонация и нежная мелодия романса странно контрастировали с похабным искажением слов песни. Кто же способен так петь – здесь, в военном Крыму, затаившемся перед страшной угрозой? Неужели один из писателей уклонился от эвакуации и теперь, может быть, готовится к смерти, а может быть... терпеливо ждет немцев?

Стараясь ступать тише, парторг пробрался во внутренний коридорчик коттеджа, куда выходили двери всех четырех комнат. Одна из дверей была чуть приоткрыта. Оттуда, под сладкие переборы струн, донеслось:

Не уходи, побудь со мною!
Здесь охуительно светло...

Дунаев осторожно заглянул в щелку. В красном полумраке комнаты на стуле сидел человек с гитарой на коленях. Дунаев видел его сутуловатую спину и небольшую неряшливую плешь, поверх которой были зачесаны скудные пряди полуседых волос. Даже со спины было ясно, что облик этого человека представляет собой что-то очень заурядное. Такой человек мог быть и третьеразрядным писателем, и бухгалтером, и продавцом в бакалейном магазине. Внезапно он резко оборвал звучание струн, прихлопнул их растопыренной пятерней и высоко поднял голову, словно прислушиваясь.

– Кто здесь? – спросил он через несколько минут.

Дунаев хотел тихонько отступить в глубину коридора, но неизвестный вдруг поднялся и сделал несколько шагов в его сторону. Тут только Дунаев увидел, что этот человек – слепой. На глазах у него были зеленые очки в металлической оправе, которые носят старики, больные глаукомой.

...И медвежата бездны в очках для усталых глаз.
В этих зеленых стеклах отразимся теперь мы с вами.

У них глаукома, у бедных, они не увидят нас...

– Кто вы? – спросил Дунаев от неожиданности.

– А ты сам-то кто такой? – Круглое мятое лицо слепца вдруг расплылось в сладковатой улыбке.

– Да я так... отстал, – ответил парторг.

– Отстал? – туманно усмехнулся слепец. Он неожиданно лихо подбросил гитару, поймал ее в воздухе левой рукой, повернулся, словно цыган, на каблуках и затем, взяв нежный аккорд, запел улыбающимся, прочувствованным голосом, имитируя интонации Жарова, на мотив песни «Тишина за Рогожской заставою»:

Тишина на Ивановском кладбище,
Спят залупы у грязной реки,
Лишь опарыш встает за опарышем
Да кого-то ебут ямщики.
Как люблю твои темные волосы,
Как люблю пиздою твоей,
Ты сама догадайся по голосу
Темно-синей залупы моей.
Расскажи, подскажи, утро раннее,
Где с подругой ебаться нам тут?
Может быть, вот на этой окраине,
Возле дома, где плачут и срут?

Дунаев зашел в комнату, где царили беспорядок и гниение. Мягкие советские газеты устилали стол и пол, на беленой стене с потеками чая и вина была приклеена, видимо сброшенная с немецкого самолета, прокламация-обращение к советским людям, с маленькой свастикой над текстом. В грязных чашках завелась плесень, занавески на окнах были прожжены окурками. Добротные некогда шкафы стояли распахнуты и пусты, зеркала в них были разбиты. С улицы раздался сдавленный смех. Неряшливые шаги прозвучали по коридору, и в комнату вошли двое. Идущий впереди нес авоську с консервами. Он сутулился, седоватые волосы, свисая, обрамляли интеллигентное лицо с небольшими носиком и подбородком, с хитрыми и в то же время мечтательными раскосыми глазками. Зашедший следом выглядел как слегка опустившийся барин. Он был выше первого, с маленькой, изящной бородкой, полный, в китайском халате, надетом поверх светлой пижамы. В руках держал свернутую газету «Правда».

– Мы украли, украли! – хрипло и пьяно пропел первый и встряхнул авоськой.

– Мы сделали гадкое! – сладко протянул другой, в халате, и взмахнул кудрями.

Слепой, погладив струны, пропел:

Не страшны нам ничуть расставанья,
Но, куда б ни забросил нас путь,
Ты про первое в жизни ебание
И про первый минет не забудь!

Вошедшие захохотали (но на слепца отчего-то они не смотрели). Дунаев вдруг произнес:

Рассвет не близок,
Рано лампу выключать,
Откладывать перо на полуслове,

В своей душе смущенно замечать
И волчий вой, и голос древней крови...
Мы знамениты тем, что провели
Полжизни на печи и в бессознание,
Но надо понимать, что замели
Снега и вьюги наше бытование.
...И воины заснут вблизи невест,
Сокровища под головы положат...
Святые сны на много сотен лет,
А там лишь Бог – и он во сне поможет!
Рассвет приходит между сосен, словно вор.
Крадет чернила, мысли и забвенье.
Пора уснуть и выйти на простор –
Лишь там душа найдет отдохновение...

– Э, да вы, никак, из нашего цеха! – весело воскликнул высокий литератор и протянул Дунаеву руку: – Рад познакомиться! Константин Иванович Пажитнов. А это мой друг Григорий Данилович Коростылев. Оба поэты.

– Владимир Петрович Дунаев, – представился парторг.

– Очень приятно! – Литераторы приветливо трясли руку парторга. – Какими судьбами вы здесь, в эвакуированном Коктебеле? Какой военный ветер занес вас сюда? Наверное, и вас, Владимир Петрович, в годину испытаний повлекло неодолимо сюда, в родную для всех нас черноморскую колыбель русской поэзии? «Коктебель» и «колыбель» – это звучит сходно. Действительно, здесь ощущаешь себя так, словно тебя нежно баюкают в материнских объятиях. Эта бухта, и нашептывание морских волн, и головокружительные запахи трав, и облые очертания холмов, что так напоминают женские груди... Благословенный уголок! Пусть глупцы позволяют эвакуировать себя, уносить на руках за Урал, словно младенцев. Мы же предпочитаем оставаться под охраной этих гор, на которых прорицательница-природа запечатлела святыне профили Пушкина и Волошина.

– А как же немцы? – осторожно спросил Дунаев. – Не сегодня-завтра они могут быть здесь. – Он покосился на фашистскую прокламацию, которая нахально маячила в зеркале платяного шкафа. Сверху текст был на русском языке, снизу – на татарском: «Жители Крыма! Великая Германская армия несет вам освобождение от большевистской тирании...»

– Немцы? – переспросил Коростылев. – А что, собственно, все так перепугались этих немцев? Вы не представляете, что творилось в Доме творчества последние дни перед эвакуацией. Все бегали как очумелые, с полными ужаса глазами, и только и было слышно: «Немцы! Немцы! Немцы наступают... Успеем ли эвакуироваться?..» Вообразите, почти трое суток невозможно было найти компанию ни для тенниса, ни для картишек. Не с кем было пройтись по окрестным холмам, поболтать на пляже... Только вот Константин Иванович, единственный, сохранил спокойствие, а все остальные – кошмар! Ужас и снова ужас, а больше ничего.

– Пересрали, – тихо сказал слепец из глубины комнаты и чувственно потрогал гитару.

– Вот именно! Вот именно! – подхватил Коростылев. – Пересрали форменным образом. Но после их эвакуировали, и наступила благодать. Тишина, спокойствие. Мы с Константином Ивановичем перебрались из этих омертвелых коттеджиков в священные стены волошинского дома, под крыло добрейшей Марии Степановны, памятуя о том, о чем говорил поэт: в дни смуты, войны и страданий этот дом, пропитанный музыкой слов, останется нетронутым островком мира и счастья среди водоворотов ненависти и слез. Он открыт для всех. Помните, как в стихах:

...и красный вождь, и белый офицер,
Всегда, для всех, открыта эта дверь!

– Она будет открыта и для офицеров СС? – прищурился парторг.

– Э, батенька, да полно вам! – вступил в разговор Пажитнов. – Стоит ли забивать голову всякой ерундой? Немцы – культурный народ. Подумайте только: они дали миру Баха и Генделя, Гете и Шиллера, Гельдерлина и Новалиса. А Дюрер? Вспомните только его автопортрет в облике Христа! А Шопенгауэр? Всех не перечесать! Думаю, что и среди офицеров СС есть воспитанные люди. А потом, между нами, девочками, говоря, отчего вы думаете, что вот, дескать, до Урала немцы не дойдут, туда не дошлепают? Одним прекрасным утром и там будут те же самые немцы. Ясно же, что нашим крыть нечем. Война-то проиграна. Ну так что ж теперь делать, не наизнанку же выворачиваться? Мы ведь поэты, у нас своя доля: душа на свету, перо на ветру. А хорошее, яркое перо, оно всем нужно. Писывали мы с вами, грешным делом, про пятилетки, про ГЭС, про красноармейцев, напишем теперь про победоносный вермахт. Главное-то не в этом, главное-то пишется иначе, с «горящими пальцами и ледяными зрачками».

«Подонки! – подумал Дунаев, глядя на этих двух веселых, разговорчивых, слегка подвыпивших литераторов. – Сколько у нас еще подонков! Били их при военном коммунизме, уничтожали их в тридцать четвертом, давили в тридцать седьмом, а они, как сорняк поганый, все лезут и лезут из всех щелей».

Так думал Дунаев, и интонации его внутреннего голоса были пропитаны горечью, но это было все-таки актерство перед самим собой. Заглядывая глубже в собственную душу, парторг не находил в ней осуждения по отношению к этим писателям.

«Люди, они и есть люди. Какой с них спрос? – подумал он с неожиданной снисходительностью. – Главный спрос-то сейчас не с них, а с нас!»

И в воображении у него мелькнуло веселое лицо Поручика, а потом почему-то крыша Избушки, покрытая снегом с длинными сосульками. Такой он эту крышу еще не видел.

Литераторы тем временем продолжали болтать, заливаясь жизнерадостным хохотком, когда слепой, сидевший со своей гитарой в глубине комнаты, изредка брал несколько аккордов, сопровождая их пением очередного романса с непристойно исковерканными словами. Пажитнов открывал консервы, а Коростылев вынул из кармана бутылку с остатками коньяка, половину лимона и половинку безопасной сломанной бритвы. Бритвой он стал нарезать лимон, тщательно раскладывая лимонные кружочки веером в квадратном блюде с вензелем Литфонда.

– После того как писателей эвакуировали, персонал словно ветром сдуло, – говорил он, повернув в сторону Дунаева раскрасневшееся лицо. – Так что мы с Константином Ивановичем зажили вольготно. Днем в бывшей столовой проказничаем. Мы там, знаете ли, такие запасы обнаружили – года на два. А главное – заветный «сервант для банкетов», который мы в Доме творчества прозвали Пейдодыр. В Пейдодыре чего только нет: и коньяка море разлитое, и ликеры, и грузинские вина, и шампанское. Икра, ананасы – все консервированное, высшего качества. Так что вам, Владимир Петрович, сердечный совет: оставайтесь-ка здесь, с нами. Не пожалеете!

Дунаев вспомнил про то, что с ним Скатерть-Самобранка. Все еще влажная, она обнимала его плечи и шею, словно полотенце после купания. Парторг потрогал ее мятый уголок.

«Угостить их, что ли? – подумал он неуверенно. – Чтобы не слишком-то гордились своим Пейдодыром. Показать им, как должен выглядеть настоящий стол? Но не сейчас, попозже. Надо выбрать момент».

– А что, и вправду, Владимир Петрович, отчего бы вам не остаться с нами? – воскликнул Пажитнов, радушно протягивая Дунаеву стакан с некоторым количеством коньяка. – Днем мы отдыхаем и веселимся, а вечерами и по ночам устраиваем поэтические радения в волошинском

доме. Иногда такое вдохновение накатит – до утра в себя прийти не можешь. Так что оставайтесь. Про немцев ваших думать забудете.

Дунаев одним махом опрокинул в себя коньяк, закусил кусочком лимона. Затем посмотрел через плечо на слепца. Тот сидел неподвижно, улыбаясь приторной улыбкой. В зеленых стеклах его очков отражались кусочки сада, освещенного солнцем. «Странно сидит», – пришло в голову парторгу, и в нем снова возникло то леденящее возбуждение, которое он испытал, услышав первые слова романса:

Ты мне не родная,
Не родная, нет.

Слепой говорил мало, только иногда отпускал сальность и касался струн. Пажитнов и Коростылев его как бы не замечали, лишь смеялись его непристойностям, но сами к нему прямо не обращались. Даже не смотрели на него.

– А как вы считаете, – обратился Дунаев к слепцу, – следует ли бояться немцев или нет? Слепец вздрогнул, повел плечами, как бы от озноба, и ответил:

– Я считаю, что в наши мозги мы сами же вколачиваем слишком много лжи. А потом обкладываемся предрассудками, как кусками топленого масла. Да и вражеская пропаганда не дремлет, – он указал пальцем на фашистскую прокламацию. – Нам заявляют, что, дескать, немцы идут на нас войной. Но ведь это они сами заявляют, что они – немцы. Я-то считаю, что это глупость: никакие это, к едреной матери, не немцы. И потом, что значит «идут войной»? Я что-то не понимаю. Как прислушаешься ко всему этому, так и ума не приложишь: кто это хуем говно разгребает? Я вот раньше был продавцом в бакалейном магазине. У меня все было разложено: масло топленое я заворачивал в чистую бумагу, мыло держал под стеклом, мел хранил в картонных коробочках, что же касается разноцветных звездочек, конфетти, расчесок, леденцов и прочих мелочей для детишек, то все это содержалось в удобных жестяных и стеклянных банках. Марлю, скрепки, сыр, волосяные шарики, костяную пыль и вещи такого рода я всегда клал под прилавок, чтобы они не портили внешнего вида. И все было очень хорошо, опрятно – никто никогда ничего не говорил. А потом какую-то ложь развели вокруг...

«Как по-писаному говорит!» – подумал Дунаев и понял, что человек этот совершенно сумасшедший. Это его как-то успокоило. А безумец тем временем все больше входил в раж. Лицо его налилось кровью, исказилось, плешь побагровела и взмокла от пота, волосы на затылке и висках встопорчились. Он говорил все громче, постепенно переходя на крик:

– Всюду обман устраивается! Этот цирк ебанный... и ветер... Ветер, ссанный ветер напустили! Захотели из меня мартышку на проволоке сделать? На потеху выставить? А тут еще заходит ко мне в магазин одна сволочь и шепчет: «А зеленого-то у них и нет!». «Что? – говорю. – Так на ж тебе зеленое, подавись! На, на тебе зеленое!!!»

Казалось, еще секунда и он забьется в припадке, но тут слепой вдруг снова перевернулся вокруг своей оси, виртуозно подбросил и поймал гитару, ударил по струнам и запел прежним, спокойным, прочувствованным и циничным голосом:

В парке Хуир распускаются розы,
В парке Хуир сотни тысяч залуп.
Снятся всю ночь неприличные позы,
Снится мне дева, ебущая труп!

Литераторы расхотались. Новая доза коньяка (явно не первая за сегодняшний день) еще больше взбудрила их.

– Идемте к Марье Степанне! – заголосили они. – Что мы, право же, выпиваем в этом-то свинарнике?

Они вышли из коттеджа и пошли по направлению к дому Волошина. Тени кипарисов стали длиннее и отчетливее – солнце над парком клонилось к западу.

Через несколько минут они уже сидели в центральной комнате волошинского дома. За высокими полукруглыми окнами шелестело море, а в доме, в полумраке, тихонько поскрипывала старая мебель, топорщились корешки бесчисленных книг. Пятно дрожащего света лежало на величественном лице египетской царицы Таиах, чья огромная маска висела на стене. Японские гравюры в темных рамах сдержанно пестрели своими свирепыми самураями, лодками, веерами, большеголовыми гейшами...

Они оказались в обществе нескольких женщин. Правда, хозяйки дома не было – она чувствовала себя плохо и лежала где-то в одной из верхних комнат. Женщины были какие-то осунувшиеся, грустные, немолодые. Одна зябка куталась в шаль и мелкими глотками отпивала кипяток из чашки. Другая неподвижно смотрела в окно, на море, тревожно наморщив лоб. На приход гостей они почти не обратили внимания. Коростылев достал из тайника бутылку. Разлив спиртное по стаканам, он принял искусственную позу чтеца и продекламировал:

Да, мы снова по ступенькам толстым
Прокрались в породистый приют,
Чтоб поднять торжественные тосты
За детей, что к нам во тьме идут.
Дети, дети, только не ударьтесь
В темноте об острые углы!
Осторожней лапоньками шарьте,
Щупая серванты и столы.
Может быть, вспотевшая ладошка,
Вздвогнув, прикоснется к творожку,
И во тьме шепнут тихонько:
«Крошка! Здравствуй, крошка. Помни наш уют».
Дети вздрогнут и уйдут устало,
Сладко засыпая на ходу.
Звон церковей и гулкий стон вокзала
Их заветной дрожью помянут.

Дунаев почти не слушал его, думая о чем-то своем, но как только тот кончил декламировать, Машенька у него в голове немедленно сложила ответ (который Дунаев произнес вслух):

Может быть, мы слишком долго ждали,
Слишком долго накрывали стол,
И теперь в тревоге и печали
Чувствуем, что гость уже пришел.
А у нас уже повисли руки,
Пыль лежит на тонких рукавах –
Этот привкус соды, привкус скуки,
Эта боль и этот тяжкий страх!
Девушки играют еле-еле,
Нежные затылки наклонив.
Пьяный гость разлегся на постели,
Ждет десерт из ракушек и слив.

Что же медлят юные служанки,
Не несут изысканный десерт,
Чтоб на изукрашенной лежанке
Гость уснул на много тысяч лет?

– Да, – задумчиво кивнул Пажитнов. – Социалистический реализм создан руками русских декадентов. Об этом не нужно забывать. – И он прочел, проникновенно растягивая слова:

Моча стекает по парче,
А слезы – по коре березовой.
Зверек, сидящий на плече,
Сосет кусочек кожи розовой,
И так высок наш небосвод,
Где скачет тенью раздраженной
Освобожденный от забот
Зеленый лыжник обнаженный.
Зеленый мир его чудес –
Обманы, ключики, замки...
Гори, гори, стеклянный лес!
Целуй, целуй его в виски!
Твой бакалейный магазин
Стоит, запущен и закрыт.
И лишь гниет на дне корзины
Забывтый всеми Айболит.

При упоминании об Айболите Дунаева передернуло, как от тока. Он встал во весь рост, причем торс его качнулся, словно чугунный, а девочка в голове пропитала «могилку» холодным и дрожащим светом, похожим на свет ночного дежурства в больнице. Литераторы как будто чуть съежились, почувствовав, что им наконец-то удалось задеть гостя за живое. Глаза их заблестели веселее от любопытства. Лица женщин, напротив, стали еще более суровыми и усталыми.

– Не меняют внучку на дочку, – начал декламировать Дунаев слегка изменившимся голосом, –

Если ей захотелось пить!
Иногда за последнюю строчку
Будут страшной щекоткою мстить!
Ишь какие фазаны сквозные
Зажрались, поджидая врага.
Защекочут вас ветры стальные!
Не помогут стальные рога.
А потом расцелуют вас нежно
Облака, облака на лету...
Будет вам и забавно и снежно,
Вы уйдете в пустую мечту.
Далеко за полярным кругом
Будут в норах брикеты лежать.
Будут звезды идти друг за другом
И в бескрайних снегах застывать.

Ледяную целуя рыбку,
Поднимая к звездам глаза,
Вспомнишь южную эту ошибку –
Только в лед превратится слеза.

Лицо Пажитнова омрачилось.

– Лагерем угрожаете? – язвительно спросил он. – Колымой?

– Да что вы... каким еще лагерем? У нас же просто поэтический турнир такой, – ответил Дунаев, как сквозь вату.

Внезапно одна из женщин произнесла глухим, негромким голосом, не отворачиваясь от окна:

Слепая осень
Обернула землю,
За ней идет
Бесстыжая зима.
Но я такой
Заботы не приемлю,
Я все хочу
Убить и скрыть сама.
Я так хочу
Природу заморозить,
Сгубить листву
Дыханием своим.
Ледок на лужах,
Словно дрожь по коже,
И воет ветер –
Гулкий нелюдим.
Я так хочу
Последней стать зимою,
Чтоб никогда уж
Не было весны.
Но если я
Глаза свои открою,
Как мне закрыть их,
Чтобы видеть сны?

«А ведь отсюда хороший вид на море!» – вдруг щелкнуло в голове у Дунаева. Он посмотрел туда, куда смотрела женщина, и увидел, что на горизонте, который готов уже был слиться с небом, появилось несколько темных точек. Иногда там, где-то очень далеко, возникали какие-то мелкие вспышки.

«Приближение!» – внутренне скомандовал Дунаев. Он уже гораздо лучше владел зрительными техниками, и приближение пошло набираться плавно, как по маслу. На него наехал борт военного корабля. Мелькнула стальная обшивка, блестящие стволы орудий. По ним скользнул мутный отсвет пламени. Пробежали матросы. Один вдруг отстал и упал на палубу, закрыв лицо руками. Дунаев навел на его лицо подзорную трубу своего зрения, подправил четкость. Теперь лицо было видно в мельчайших деталях: молодое, почти мальчишеское, загорелое, искаженное страхом. Капельки пота на лбу, след от машинного масла на ладони. В следующее мгновение корабль оделся пламенем. Приближение почему-то исчезло, и парторг увидел

только кучку негаснувших искр, как будто в стекле морского пейзажа отразился дальний бенгальский огонь. «Подлодки! – догадался Дунаев и тут же скомандовал: – Глубина!»

Взгляд его проник сквозь толщу воды и различил под советскими военными кораблями две немецкие подводные лодки. Они уже торпедировали один корабль, и он медленно погружался в воду, пылая, как огромный костер на воде. «Что же делать? – лихорадочно думал парт-орг. – Надо лететь туда! Нельзя же так спокойно смотреть, как гибнут наши ребята!»

Вдруг за его спиной раздался залихватский крик: «И-и-и-и-эх!» Дунаев обернулся и увидел, что Бакалейщик внезапно отшвырнул гитару и ни с того ни с сего пошел выплясывать казачка, выскочив на середину комнаты, ухарски приседая, топая и выбрасывая ноги в стоптанных сандалиях. При этом он звонко хлопал себя ладонями по груди, коленям и бедрам и покрикивал: «Эх! Эх! Оп-па! Турнир так турнир, елки зеленые! Не ударим лицом в говно!»

– Ты чего это? – опешил парторг.

Бакалейщик в ответ продекламировал с какими-то странными интонациями, то ли имитируя манеру чтецов Малого театра, то ли неумело пародируя женщину:

Баклажан мой, баклажан!
Гутен абенд, гутен абенд!
Дремлют жены парижан,
К ним во сне крадется Ёбан.
Не успел он вынуть хуй,
Слышит сербский вопль: «Стуй!»
Гутен абенд, гутен абенд!
Баклажан мой, баклажан!
Умер, умер, умер Ёбан –
Югославский партизан!!!

– Ах ты, сука! – вскипел наконец Дунаев. – Там бой идет, а он тут выебывается! Думаешь, так я поверил, что ты слепой? Стоять, дезертир подзалупный! Щас мы посмотрим, какой ты инвалид! – С этими словами Дунаев быстро шагнул к слепцу и сдернул с него очки. Сразу же пространство комнаты наполнилось зеленоватым переливающимся светом. По стенам, по корешкам книг, по японским гравюрам, по лицам людей и статуэток заструились извивающиеся рефлексии изумрудного свечения. Дунаеву показалось, что он погружается в болотную воду, и пропитанные солнечным сиянием островки ряски смыкаются над его лицом, и лучи полуденного солнца, дробясь в воде, пеленают его ласковой сетью прощальных бликов. Глаза у Бакалейщика не только не были слепыми – напротив, эти ярко-зеленые, сверкающие глаза источали сияние и силу. Силу, которой, казалось, невозможно было сопротивляться.

– Зеленый! – не помня себя от изумления, прошептал Дунаев и отступил на шаг.

– С меня снял – на себя надел. Теперь носить будешь, – очень тихо и нежно сказал Бакалейщик, и в руке его блеснул крошечный ключ. Он протянул руку с ключом к виску Дунаева, и парторг услышал негромкий, но отчетливый щелчок замка.

В смятении Дунаев ощупал свое лицо и голову и понял, что на глазах у него очки – те самые зеленые очки для больных глаукомой, которые он только что сорвал с Бакалейщика. Очки оказались закреплены на голове целой системой ремешков и цепочек, замкнутых стальным замочком на виске, который Бакалейщик только что запер на ключ. Этот маленький невзрачный ключик он опустил в карман брюк.

Дунаев понял, что попался. Мучительная горечь, смешанная с ужасом, поднялась снизу. Снова ошибка! Вовремя не распознал врага, позволил отвлечь себя каким-то идиотским поэтическим турниром. И конечно же угодил в ловушку!

Посреди комнаты, которая теперь казалась ему похожей на аквариум, парторг корчился, бессмысленно и безнадежно пытаясь сорвать с себя очки. Присутствующие смотрели на него с удивлением. Они не понимали, что происходит, не видели зеленого сияния, не замечали страшных гипнотизирующих глаз Бакалейщика, в омерзительную прелесть и власть которых все глубже и глубже погружался Дунаев.

– Сыми... сыми на хуй! – прохрипел парторг заплетающимся голосом с какими-то беспомощными детскими интонациями. – Ты что это? Это нечестно! Там бой... мне нужно... ребята гибнут... надо помочь...

Он бросился к окну. За ним стояла сплошная зелень.

«Приближение!» – мысленно приказал он. Из беспросветной мглы, густой, как шпинат, вместо военных кораблей и подводных лодок на него поплыли какие-то стручки гороха, грязное женское платье, почему-то плавающее в луже, и бесчисленные овощи, разложенные на досках. Все было зеленое. Дунаев чувствовал себя почти слепым, и ощущение бессилия заставило его застонать. За спиной удивленно смеялся Коростылев. Дунаев ощутил рядом с собой одну из женщин и схватил ее за руку.

– Что там? – закричал он, указывая пальцем в окно. – Что там, на горизонте?

Женщина ответила не сразу, видимо, она вглядывалась в даль, а может быть, думала о чем-то. Затем прозвучал ее неторопливый, глуховатый голос:

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда...

Вы узнаете эти стихи? Это Блок.

– Блок? – мутно переспросил парторг. – Это Блок?

Почему-то его пробил дрожь, и он понял, что это была подсказка.

– Ну что же, продолжим наш поэтический турнир! – сказал Бакалейщик и снова нащупал Дунаева своим «мощным» взглядом. – Я полагаю, сейчас очередь Владимира Петровича. Прошу вас, читайте! Читайте же!

Тут с Дунаевым стало происходить нечто такое, чего раньше ему не приходилось переживать. Изнутри головы, из потаенной «могилки», потекло сонное лепетание Машеньки, нашептывающей Дунаеву стихи. С другой стороны, он ощутил, что Бакалейщик взглядом диктует ему иной текст, причем диктует властно и навязчиво. Два потока слов сталкивались в его сознании, дробились и врезались друг в друга в мучительной борьбе. Дунаев сам стал полем «поэтического турнира», напоминающего беспощадный бой. Эта битва слов внутри головы была настолько отвратительной и выматывающей, что у парторга стали подкашиваться ноги. Он еле стоял, и только два луча силы, скрестившиеся в нем, удерживали его от падения, подобно тому, как тело убитого в поединке еще удерживается пронзившими его с двух сторон шпагами. Он пытался отторгнуть слова, внушаемые Бакалейщиком, сохранить в чистоте речь Машеньки, однако это было невозможно: Бакалейщик был сильнее. Сначала он хотя бы еще различал детскую речь Машеньки, словно бы пропитанную тающими снежинками, речь, на которой лежал отпечаток святости и бездонного сна, он был в силах отделить ее от похабной, избыточной сальностями речи Бакалейщика, но затем все смешалось в водовороте усталости и страха. Эта усталость была так глубока, что в его сознании мелькнула какая-то вторичная, ничего не означающая галлюцинация: где-то высоко, над войной и страдающим миром, в совершенно белых небесах, схваченных вечным холодом, летел монах в заиндевевшем одеянии. Борода его сверкала от инея, руки были распростерты. Он явно изображал самолет: издавая ртом тихое тарак-

тение и гул, выписывал в пустоте смертельные петли, входил в пике, совершал бреюющие полеты над легкой коркой небесной изморози.

«Сергий! – неведомо каким знанием понял Дунаев. – Играется, родимый!»

Искры святые, что ангелов чище,
Головы нам осенят –
Транспорт уходит в пиздищу:
Многия тысяч солдат.
Ворванью смазаны нимбы и сгибы,
Гнойной капустой стоят блиндажи.
Даже святые курсантки могли бы
Здесь потонуть в этих заводах лжи.
Воины ссут на последнюю смазку,
В каждой кольчуге хромирован винт,
И аналая осеннюю сказку
Помнит в аптечке изгаженный бинт.
Праведный гнев восхитит поднебесье,
Тяжесть Престолов прольется в виски:
Сельский учитель и врач из Полесья
Толстую женщину взяли в тиски.
Есть на могилах слепые окошки,
Иней мерцает на зеркале Врат...
Кто там опарышей кормит из ложки
И натирает соплями ребят?
Все подготовили: вынуть из марли,
Саблей коричневой пену взбивать,
Двинуть на Запад свои дирижабли,
В сером предбаннике клизму сосать.
Кончить на карту – что может быть слаще?
Брызнуть соплями на срочный пакет.
Или под танком Снегурке пропащей
С воинской удалью сделать минет.
Небо святое, очи лучистые
Нас проведут по тропинкам сквозь тьму...
Пернет ли трупик сквозь говна слоистые –
Нам по хую одному.
Помнишь ли, соловушка, помнишь ли ты
Двух протезистов молочные рты?

Дунаеву показалось, что он сейчас умрет от усталости. А стихи все лились и лились из него бесконечным рвотным потоком.

«Брани много. Отчего он так бранится?» – отстраненно подумал он о Бакалейщике и закрыл глаза. В ту же секунду он почувствовал облегчение и нашел в себе силы замолчать, оборвав декламацию на полуслове. Он больше не находился во власти Бакалейщика. «Ах, вот оно что! Дело в очках!» – понял Дунаев. С закрытыми глазами он был свободен. Шея, плечи и спина чувствовали какой-то подогрев: некое тепло, пропитанное легкими шевелениями, окутывало их. Дунаев ощутил, что сзади его обнимает Грозная Помощь – чуть-чуть трепещущая, словно бы пробуждающаяся ото сна.

«Э, да это скатерка! – вспомнил парторг. – Самобранка просыпается. Видать, этот сквернослов ее своими бранями будит, вот она вся и дрожит. На брань собирается. Она ведь сама на брань ходит. Ну что ж, держись, Бакалея, сейчас угощу вас всех на славу!»

Ликование проснулось в сердце, словно засверкал обломок льда. Дунаев зажмурился крепче (сквозь сомкнутые веки уже стало проникать вражеское зеленое сияние), сдернул Скатерть с плеча, одним взмахом руки развернул ее перед собой и метнул об пол.

– Распотешили вы меня, хозяева дорогие! – заорал он, не раскрывая глаз. – Разрешите мне теперь вам поднести угощеньице со всем нашим уважением!

Раздался то ли сдавленный крик, то ли свист, то ли улюлюканье. Ветер распахнул окно, и комнату наполнил морской холод. Дунаев приоткрыл глаза: зеленый свет потускнел, утратил изумительные переливы, стал ровным и грязным от страха. Взгляд Бакалейщика больше не гипнотизировал парторга, этот взгляд был теперь направлен на Скатерть, которая стояла посреди комнаты, как будто ее держали за краешки невидимые пальцы, и угрожающе давилась и пучилась странными пузырями. Коростылева и Пажитнова в комнате уже не было. Одна из женщин утомленно закрыла лицо руками, другая только прищурилась и поджала губы, как монахиня, увидевшая непристойное изображение, внезапно проступившее в сияющих небесах. Бакалейщик расхохотался:

– Э, да ты, никак, Белую Тряпку вперед выкинул, дескать сдаешься? «Великое Поражение» отпраздновать захотел?

Дунаев, однако, понял, что пришел черед Бакалейщику попрыгать. И точно. Скатерть двинулась на врага, пульсируя от какого-то своего собственного сладострастия, связанного с пиршествами войны и негой медленного удушения. Бакалейщика стало дергать вверх и вниз, и он, похожий теперь на лягушечку, медленно отступал. Самобранка зажимала его в угол. Внезапно лысый сквернослов выскочил в окно. Скатерть устремилась за ним, как будто бы ее засосало в воронку. Дунаев бросился к подоконнику. Он хотел лететь за ними, но очки по-прежнему искажали его зрение: вместо Коктебельской бухты, кипарисов, моря и гор он видел только густую зеленую массу, словно бы заглядывал в тарелку с щавелевым супом. На этом фоне четко выделялась кривляющаяся фигурка Бакалейщика и преследующая его Скатерть. Они описывали круги, выделяли кульбиты и вензеля, словно бы сообща исполняя танец погони.

Но вот Скатерть бросилась на врага и, молниеносно развернувшись, покрыла его целиком. Она заворачивала его, пеленала, словно попку в магазине. В местах ушей и ноздрей еще вздувались пузыри, но Скатерть (ставшая огромной) наворачивалась слой за слоем, и эти пузыри постепенно оседали. Но что-то вдруг изменилось, и Самобранка внезапно стала разворачиваться, покрываясь на глазах синеватыми складочками, как бы от брезгливости. Это Бакалейщик поменял облик. Теперь он представлял из себя нечто неприятное. Как говорится, «плевал в глаз». Дунаев лишь однажды был в зоопарке. Там, среди нормальных животных, он иногда замечал в глубине клетки что-то темное, бесформенное, какую-то кучу, или комья, или свалывшиеся волосяные жгуты, что-то, относительно чего невозможно было понять: то ли это животное, то ли какие-то отходы жизнедеятельности животных. А если это все-таки животное, то какое? Может быть, уже умершее? Или умирающее? А если даже живое, то что означает эта жизнь? И особенно странно было видеть, как в этой неизлечимо невнятной массе вдруг приоткрываются блестящие, насмешливые, ликующие глазки. Таким предстал сейчас Бакалейщик. В зеленой пустоте он висел неподвижно, ничем не вооруженный, как будто забыв о борьбе. И все же Самобранка не могла просто накрыть его. Она стала предпринимать загадочные прыжки вокруг своего противника, то раскрываясь наподобие веера, то складываясь в элементарные геометрические фигуры, то смешно морщась. Казалось, она кокетничает и всеми силами старается привлечь к себе внимание врага. Однако тот оставался индифферентным. Наконец, Скатерть стала подсакивать к нему совсем близко и, услужливо разворачиваясь,

подносить разные вещи, как бы предлагая попробовать их. «Яства», правда, показались Дунаеву не слишком соблазнительными: то это была жестяная миска с водой, то какие-то старые заскорузлые бутерброды, то кусочки засохшего картофельного пюре, намазанного почему-то на расческу вместо хлеба.

«Издевается она, что ли, над ним?» – подумал Дунаев. Бакалейщик подношений не принимал, но соблазн, видимо, был велик: его стало трясти мелкой дрожью, он начал удрученно возиться, сопеть и ворочаться. Дунаев почувствовал, что еще секунда – Самобранка одолеет его. Она елозила уже вплотную к грязному волосяному покрову Бакалейщика. Однако не тут-то было! Неугомонный Бакалейщик встряхнулся, и парторг вдруг увидел вместо него девушку изумительной красоты. Она стояла в расслабленной и элегантной позе, закинув одну руку за голову. Золотистые волосы сверкающим потоком лились вдоль ее узкой спины. Девушка была совершенно обнаженной, только шею обнимало тонкое изумрудное ожерелье. Глядя на ее невинные нежные губы, невозможно было поверить, что совсем недавно из них изливался поток грязных сальностей и непристойных шуток. Но глаза – зеленые, сияющие глаза – несомненно были те же, что и у лысого сквернослова. Быть может, в них прибавилось только чуть-чуть девичьей сонливости и неги. Скатерть, впрочем, не прекратила наступления. Движения ее стали льстивыми: она ластилась к ногам девушки, обвивала тонкие щиколотки, свивалась на талии, наподобие некоего экзотического одеяния. Кажется, Самобранка обросла даже кружавчиками, подернулась обворожительным деликатным узором. Девушка благожелательно мяла в руках ткань, любовалась ее переливами, позволяла окутать себя, улыбаясь, словно бы не подозревая ни о чем. Но парторг уже ждал следующего превращения. Поединок, наполненный коварством и вожделием мнимых побед и поражений, очаровал его. Ему казалось, что он смотрит балет. Подоконник волошинского дома, в который он вцепился обеими руками, казался ему бархатным барьером ложи, а гул невидимого моря внизу – гулом восхищенной публики. Только сейчас он понял, как бывает иногда хороша война в Прослойках.

Девушка нежилась в складках и шелесте живой, обнимающей ее Скатерти. Видимо, эти объятия доставляли ей наслаждение: она грациозно изгибалась, вскидывала вверх руки, запрокидывала голову, прикрыв свои изумрудные глаза. Казалось, что она вот-вот кончит. Впрочем, и парторг был недалеко от оргазма. «Говорили же мне, что война и любовь – это почти одно и то же, а я, мудака, не верил», – пронеслось у него в голове, хотя на самом деле никто ему такого никогда не говорил.

Когда тело девушки уже целиком было окутано Скатертью, словно тогой, что-то сверкнуло, и девушка обернулась столбом яркого, пушистого пламени. Самобранка успела отпрыгнуть, но середина ее слегка сморщилась и обуглилась. Один уголок вспыхнул, и Самобранка, чтобы потушить себя, винтом ушла в невидимое парторгу море. Бакалейщик, ставший огнем, самодовольно засверкал в глубине зеленого неба. Из центра костра на парторга шел знакомый взгляд.

– Ну, что приуныли? – прозвучал голос Бакалейщика.

Парторг оглянулся внутрь комнаты. Оказалось, что, кроме него, никто не наблюдал за битвой. Комната была пуста.

– Эй, споем, что ли? – снова донесся голос Бакалейщика. – Давай-ка все хором – война же на дворе! Подпевай, Петрович!

Он запел, и парторгу пришлось подхватить эту песню, потому что так приказал взгляд Бакалейщика, просочившийся сквозь зеленые стекла очков. Ему показалось, что не только он, но и миллион других голосов, звучащих со всех сторон, подхватили кощунственные слова. Казалось, орали камни, ящерицы, чайки, муравьи:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,

Идет Пизда народная –
Бездонная Пизда!

Дунаев изо всех сил зажмурил глаза и заорал:

– Ах ты, сука! Да тебя убить мало! Совсем зарвался, говно фашистское!

В ответ раздался смех. Парторг приоткрыл глаза. Бакалейщик (уже в своем человеческом облике) корчился за окном и дразнил его. Он показывал ему ключ от очков, играл им, подбрасывал и ловил и хохотал при этом. Кровь бросилась парторгу в лицо. От гнева он сосредоточился и отдал приказ, мысленно обращаясь к Самобранке и ощущая свою власть над ней: «Ну, все. Поиграли, и хватит! Давай-ка сюда этого фашиста!»

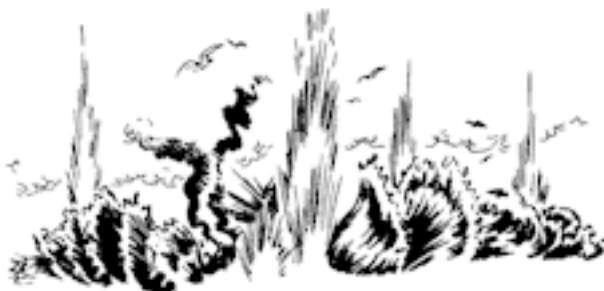
В ту же секунду Скатерть вынырнула откуда-то, накинулась на Бакалейщика, в одно мгновение окутала его и затянулась узлом. Этот маленький белый узелок, тяжелый, неподвижный, оказался в руках у Дунаева. Парторг крепко сжал его, помня о том, что внутри – ключ, который единственный только может вернуть ему свободное зрение.

«Поручика надо найти! – сообразил парторг. – Он, ясное дело, на море. Эх, была не была, полечу вслепую!»

Засунув узелок за пазуху, Дунаев вскочил на подоконник и, не оглядываясь, полетел в зеленую тусклую глубину. Он слышал, как внизу шумит море, как свистит ветер, но ничего не видел. В какой-то момент ему пришло в голову, что сейчас он разобьется о скалы, но беспечная удаль бушевала в сердце.

«Эй, Снегурочка, поэтесса моя ненаглядная, предупреди, если что!» – мысленно попросил он.

Девочка кивнула во сне.



Глава 23

Севастополь

Он перемещался, но не по своей Гармошке, а будто по чужой. И казалось, будто невидимый и до приторности страшный Гармонист не спеша шевелит складками аккордеона, тихонько улыбаясь в усы своей внутренней песне, уверенно пробует то одну, то другую клавишу упругим пальцем, немного скося голову набок и поводя глазами. А свет в комнате приглушен, слушатели стоят, кто облокотившись о притолоку, кто с задумчиво скрещенными руками, кто у оконца. У всех мечтательные пьяные лица, неопределимые в полутьме. И в углах, и на обоях – красноватый отблеск, вроде бы не имеющий источника. Дунаев ощущал во всем этом нечто непоправимое. Одновременно Дунаев чувствовал, что летит в ночной промозглой тьме, что внизу под ним клопочут волны, ревет ветер, а где-то сбоку громоздится нечто подобное огромной горе или горному массиву. Но видеть этого он не мог. Затихшая комната с ужасным Гармонистом, и ночной ураган, и скорость слепого шторма, одетого в кружево брызг, и рев глухого ветра, падающего в бездну... И работа огромного механизма позади всего этого. И человеческая речь, повествующая о совсем уже нечеловеческих делах: о внутреннем состо-

янии машин, станков. Речь, которая регулируется механическими обстоятельствами, такими как Мощность, Вес, Изношенность, Смазка, Сопротивление Материалов, Трение...

Дрова деревянные,
Сумерки леса.
Колдунья ведет
Жестяного царя,
Сейчас ниспадает
Густая завеса,
А завтра ты вскочишь
Ни свет ни заря.
Холеный возьмет
Полотняный мешочек
И нам улыбнется в усы...
Останется несколько
Маленьких точек
И нравы лесной полосы.

Ветер, бешеный ветер полета, бил по лицу, постепенно очищая зрение, смывая мутную, ядовитую зелень.

Дунаев понял вдруг, что никаких «очков» у него на глазах нет – все это было лишь наваждением.

Чтобы сбросить остатки «очков», он стал представлять себе другие очки – их было множество, и воображать их было легко: они сами охотно возникали перед внутренним взором – разные, с круглыми, овальными, квадратными стеклами, в различных оправках – золотых, серебряных, латунных, костяных, стальных. Здесь были очки для дальнозорких и близоруких, здесь были пенсне и изящные лорнетты, были узкие дамские очки, отделанные перламутром, и были простые, детские, похожие на игрушечный велосипед... Какие-то старики читали перед сном, лежа в кроватях, и затем снимали очки и откладывали их рядом на тумбочку, прежде чем потушить свет. Бесчисленные руки, морщинистые или свежие, передавали друг другу очки в изысканных черепаховых футлярах, в суконных или бархатных очечниках. Чьи-то пальцы ловко складывали белые очки пополам и прятали в нагрудный кармашек. Кто-то усталым жестом снимал пенсне, и по обеим сторонам переносицы оставались знаменитые розовые вмятинки, столько раз описанные в мемуарной литературе. Какие-то дети роняли очки в воду, неосторожно свесившись с деревянных перил старого моста, и очки уходили на дно, посылая прощальные блики... Уходили на глубину, бликуя, ликуя... Как водится.

Дунаев чуть было не затерялся в этом потоке линз, выгнутых стекол, отблесков, ободков, дужек... Этот поток смыл с него зеленое колдовство, прилипшее к глазам. Последняя зеленая пленка, желеобразная, состоящая из студенистой плазмы, сорвалась со всхлипом и была унесена ветром. Поились струи огня. Дунаев усилием воли осознал, что вокруг идет бой. Истребители, сверкая в свете огней, выводили огнем быстрые узоры. Бомбардировщики неторопливо летели и снизу и сверху, поливая все смертоносным дождем из черных тупорылых бомбочек. А внизу, в свете взрывов и пожаров, можно было увидеть большой город, разбросанный по холмам вокруг морского залива. Все кипело. Как потом говорили:

Между теми и другими
Что-то дулось и рвалось.

Парторг наконец понял, что оказался в гуще смертельной битвы за Севастополь.

Когда армия к морю подходит,
Когда в горы уходит отряд,
Когда ветер свой парус находит –
Погибает немало ребят.
И матросик, штанами белея,
Крепко свистнет сквозь темный загар
И закрутится море, зверея,
Погружаясь в военный угар.
А на ступеньках набережных сонных,
Где раньше развлекалась молодежь,
Теперь обнимутся не парочки влюбленных,
А трупы, забывающие ложь.
Не по-курортному здесь дремлют люди –
Они навеки жизни лишены,
И плакать черноморский ветер будет,
Из дальней прилетая стороны.
Вот смуглый мичман тесно обнимает
За плечи белокурого юнца.
Железный крестик, звездочка стальная –
Сомкнулись, звякнули в преддверии конца.
Они лежат среди других соитий,
Уже не слышат боевой призыв.
И тени ожидаемых событий
Уже никак не потревожат их.
И нехотя скользит в лице улыбка
Сквозь сон глубокий (глубже нету сна!) –
Какая странная и страшная ошибка,
Что лишь одна любовь у них – война.

Не понять было, день или ночь, – огонь и пена сверкали друг в друге, и сила измеряла саму себя, сталкивая две армии – корабли и субмарины, самолеты и танки, немецких и советских моряков. Дунаев побежал по какой-то улочке, где полыхали пожары, выбежал к пристани, за которой грохотал и вздымался морской бой. Очень далеко, над темным и дымящимся морем, возвышалась Сапун-гора. Что-то заставило парторга включить «приближение», сфокусировав его на вершине горы. На вершине он различил две фигуры, время от времени освещаемые всполохами взрывов. Сверкая металлическими латами, высился некий гигантский рыцарь, опирающийся на огромный топор. На голове у него тускло блестел шлем в форме железной воронки. Рядом застыл другой великан – бесформенный, мешковатый. Он казался сделанным из соломы, с большой, как у детей, головой, круглой и растрепанной. Они стояли неподвижно, как и пристало изваяниям, куклам. Между ними оставался промежуток, зияющее пустое место. Кто-то должен был встать в центре, между ними.

Дунаеву вдруг стало нехорошо, сильно закружилась голова. Узелок в руках сделался тяжелым, как будто в нем образовался камень. И другой камень, тяжкий и холодный, словно бы вложили в сознание Дунаева: «...и кто-то камень положил в его протянутую руку...» Он оглянулся, ожидая увидеть горящий забор. Но перед ним, очень близко, почти вплотную к нему, стояло нечто светлое. От этого «нечто» веяло домашним, сладким, младенческим, хотя по виду оно напоминало мумию, целиком запеленутую в белый кружевной саван. Сквозь слои полупрозрачных пленок можно было различить, что оно все наполнено белоснежными пель-

менями, аккуратно сложенными, как в кулечек. Пельмени источали белое сверкание, пробивающееся сквозь эфемерные кружевные покровы.

Ослепительное существо покоилось в воздухе торжественно и сладко, как белоснежный урод в формалине. Дунаев вспомнил, как они с мамой и братом ходили в московский музей Тимирязева. И мумия, и ее кружева, и ее формалиновое сияние, и сладость ее гипнотических вибраций, и собственное обморочное состояние – все это было повторением чего-то, уже некогда произошедшего.

«Эпсилон», – возникло имя существа в сознании парторга. Он протянул руку (рука легко прошла сквозь кружева), взял пельмень из «Эпсилона» и съел его.

Тут же кто-то гордо произнес: «БАКАЛЕЙНЫЙ МАГАЗИН НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ».

Судорожно забилося сердце, сознание Дунаева будто заволокло темным дымом, перевернулся желудок, и все тело задрожало. Страшная слабость заставила его упасть.

Из нижней части живота толчками поднималась дурнота. Потом он потерял сознание.

Когда он очнулся, его все еще подташнивало. «Эпсилон» исчез. Но его белый кружевной след остался в душе парторга навсегда.

Рядом на земле лежала Самобранка – развернутая, грязная и словно бы мертвая.

– Ушел! Ушел, гад, отравитель. Бакалея сраная! – запричитал, захлебываясь, Дунаев, шаря по Скатерти руками.

Он с трудом поднялся и снова взглянул на вершину Сапун-горы. «Приближение» включилось само собой. Между рыцарем и чучелом теперь кто-то стоял – сутулый, невзрачный. Это был Бакалейщик.

Его лицо надвинулось на Дунаева, освещенное трепетным отсветом пожара. Оно казалось осунувшимся, суровым, больным. Бакалейщик больше не посмеивался. «Истерзала его все-таки Скатерка», – подумал Дунаев.

Издали Бакалейщик посмотрел на него, словно поймав взгляд парторга, тянущийся к нему с другой стороны бухты. И Дунаев с изумлением увидел, что глаза у Бакалейщика не зеленые. Глаза были серо-розовые, скорбные. Зрачки казались черными дырочками, провалами, куда ушла, втянувшись вся магическая зелень, еще недавно полыхавшая в этих глазах.

Они стоят друг против друга –
Один и трое. И молчат.
А ниже реет смерти вьюга
И расцветает взрывов сад.
Для них одно – бой на просторе,
Сражений дальних огоньки,
И ловит искреннее море
Тяжелый трепет их руки.
Держи, парторг, святую скатерть!
Держи оружие, дружок.
Иначе ты украсишь паперть –
Калека, нищий и божок.
В твою протянутую руку,
Усталую от битв пустых,
Мир вложит горькой жизни скуку,
Заставит соблюдать посты.
Окончишь жизнь в глухой сторожке,
Где Север будет ворожить.
И будут насекомых ножки

Тревогу сердца ворошить.
Они коснутся нежно-нежно
Исподних творожков души
И будут щекотать прилежно...
Постой, Дунаев, не спеши.
Послушай, что тебе мы скажем,
Доверчиво впитай наш яд –
В нем честность есть бездонных скважин.
Сверни-ка лучше скатерть, гад!
Забудь свой рай. Ищи свой ад.

Парторг увидел, что Бакалейщик вынул из кармана маленький ключ – тот самый, которым он «запер» зрение Дунаева. С минуту Лысый Сквернослов смотрел на ненужный более ключ, потом равнодушно бросил его в море. Тут же все трое – сквернослов, рыцарь и чучело – исчезли.

Предначертано свыше
Всем тем, кто забыл о рассудке,
Кто доверился смело
Слепой, смертоносной судьбе,
Вновь скреститься в бою
И свой меч,
Окровавленный, жуткий,
Вдруг поднять высоко,
Небеса призывая к себе.
Что же там, в небесах?
Тихо плещут безмолвные тени.
Выше блещут перила
Иссиня-смеющихся звезд.
И на них опираясь,
По легким, незримым ступеням
Ходит сторож небес,
Охраняющий маленький грот.
В глубине того грота
Находится рыжая точка.
Если в точку попасть,
Изменяется все навсегда.
Вышибается дно
У бездонной, космической бочки.
Раскрывается то,
Что всегда заслоняла беда.
Эти странные комнаты
Пахнут изнанкой обоев.
И заметно, что кто-то
Сидит, занимается там.
Словно каждая мысль,
Ощущенье, движенье любое,
Затихают, как эхо,
Ложась на свои же места.

Может, нет никого?
Лишь разводы тех стен деревянных
Улыбаются криво,
Но тайну упорно хранят.
В полутьме не поймешь,
То ли воздух становится пряным,
То ли эти хоромы
Беззвучно с тобой говорят!

Парторг видел, как горят советские корабли. Он теперь видел все в красном свете, настолько ярко, что советский флаг на линкоре казался белым. Белые глаза капитана, стоящего на своем мостике, превращающемся в аутодафе, были полны твердой, как алмаз, непреклонной решимостью. Но радостно светились глаза немецких артиллеристов. Фашистская униформа стала цвета запекшейся крови, советские моряки погибали, как фламинго, светясь сквозь бушующую стену огня.

Парторг вдруг сжал зубы и бросился с обрыва в воду залива.

Через минуту он стоял на дне, полупридавленный толщей вод, и обозревал подводную панораму другим зрением. Всюду здесь лежали обугленные громады кораблей, их обломки, между ними все было усеяно трупами, вздымающимися, как облака ила, от очередного взрыва или падения. Массы стеклянистой и грязной, взбаламученной воды колыхались, кружились, распуская кровавые шлейфы и розовеющие цветы. По дну металась пурпурные, рубиновые блики. Дунаеву казалось, что он находится в бутылке старого вина, которую взболтали и бросили, и теперь она катается по полу каюты во время сильной качки.

Уняв головокружение, парторг твердыми, очень большими шагами направился в глубину залива, на ходу разворачивая Скатерть. Самобранка разворачивалась тяжело и медленно, как во сне, но плотно покрывала дно метр за метром. Она разрасталась, обволакивая остовы линкоров и крейсеров, она расстилалась по дну во все стороны, подползала под корабли, стелясь, принимая на свою белую ткань тела утонувших моряков. Она расстилалась, расплзалась по дну во все стороны спокойно, зная, что делает, только порой слегка пузырясь при обволакивании того или иного корабля. Дунаев сам не заметил, как укрыл всю площадь бухты. Затем он взмыл вверх и повис высоко над ареной боя, откуда был виден весь Севастополь, Херсонес и даже мыс Фиолент.

«Фиолент, Фиолент...» – отчего-то стучало сердце при этом слове, и в голове кто-то напевал: «Фиолент! О, Фиолент!» Видно, Машенька облюбовала это слово.

Описания льда и подводных пейзажей
Бесконечны и сладостны, словно полуденный сон.
Их читают на дачах, в бездонных уборных и даже
На задворках больниц те, кто в синюю плесень влюблен.
Описанья холмов... Нет, не надо! О Юге так больно
Вспоминать иногда – ведь немеркнувший Север в душе!
Милый мыс Фиолент! Мы храним тебя тихо, подпольно
В нашей темной обители, в заледневшем борще.
Никогда не забыть тех блаженных времен, когда люди
По дороге в кино покупали в ларьках эскимо,
И асфальт в лепестках превращался в породистый студень,
Под сандалики деток ложась, устилая зеленое дно.
Нет предела любви! И усталости нету предела.
Наша память не в силах держать на весу этот сор!

Только русская девочка – девочка в платьице белом –
По тропинке бежит, удаляясь в загадочный бор.
– Фиолент! Фиолент! – это ржавые шепчут засовы
И жуют лепестки, что случайно застряли в замках.
– Фиолент! Фиолент! – повторяют германские совы.
Дроссельмейер молчит. Он в камзоле сидит на часах.

Черный дым от горящих судов по-прежнему поднимался в небо (времени суток парторг не мог распознать). Дунаев висел неподвижно, высоко в небе, чего-то выжидая. Он мог бы, если бы хотел, представить себя разгоряченным божком войны, вкушающим воскурения. Но ему было не до того. Старое заблуждение гласит, что «боги питаются дымом». Дунаеву некогда было быть богом, и он не обращал внимания на дым. Его зрение было в этот момент всепроницающим, воспаленно-чутким. Ему казалось, что отсюда, с высоты орлиного полета, он может разглядеть даже радужные отражения пожара в крошечных полубесплотных пузырьках, мириады которых сливаются в кусочке морской пены. Ребристая поверхность воды словно бы щекотала сердце. Он видел, как постепенно раскаляется металл огромных подъемных кранов, предназначенных для разгрузки торговых судов. Они возвышались в пылающем порту, словно невозмутимые красные чудовища, купающиеся в огне. Он видел, как дымятся орудия, как приклад отдает в плечо снайпера, как погружаются в воду тела убитых и затем соскальзывают на дно, становясь все зеленее и беззаботнее по мере удаления от поверхности. И он видел, как матросы торопливо прыгают в шлюпки с борта тонущего эсминца. И лицо одного из них – далекое дрожащее пятнышко среди других пятнышек – было лицом его младшего брата Лехи. Сердце дрогнуло.

– Братка! – прошептал Дунаев. – Братишка!

Он навел на это лицо свою «трубу», врубил «приближение». Однако от волнения хватил лишнего и попал в микроструктуры его кожи: колоссальные обрубки столбов на берегу глубоких кратеров – это были всего лишь щетинки и поры, но это не было лицо.

«И по родному человеку размазана пустыня», – подумало в Дунаеве чье-то чужое сознание. Наконец он отрегулировал «приближение» и теперь видел Леху вполне отчетливо: тот торопливо греб вместе с другими матросами. Мерно нагибающаяся спина, мокрая насквозь тельняшка, сильные руки, загорелое лицо с прилипшими волосами. Выражение лица было спокойное, даже отрешенно-мечтательное. И в то же время Дунаев с ужасом увидел, как на немецком судне артиллеристы наводят пушку на шлюпки, наполненные советскими моряками.

– Леха! – заорал парторг изо всех сил, забыв о том, что их разделяет огромное расстояние и грохот боя. – Ле-е-е-ха-а!

На какое-то мгновение ему показалось, что брат услышал его голос, поднял к небу блестящее от пота и воды лицо и что-то произнес. Вроде бы это было слово «накрывают» с прибавлением какого-то матерного междометия. В следующий миг ударила пушка с немецкого корабля, протяжно свистнул летящий снаряд, и рядом со шлюпкой в воздух вознесся столп шипящей воды. Шлюпку подкинуло вверх и перевернуло. Люди посыпались в воду.

Дунаев понял, что больше медлить нельзя. Он быстро отключил «приближение» и подскочил повыше, где тело сковал исцеляющий холод. Затем сосредоточился, абсолютно отдавая себе отчет в чудовищности и неизбежности того, что сейчас произойдет. И затем, голосом, разнесшимся словно гонг в гулкой пустоте небес, приказал:

– СКАТЕРТЬ, НАКРОЙСЯ!

И началось! Первой хлынула музыка. Она шла снизу, из моря, перекрывая шум битвы невероятно мощной волной, от которой дрожал воздух и ландшафт начинал заваливаться навзничь, как будто падая в обморок. Звуки были величественные и сладкие, невероятно сладкие,

сладкие, как бездонный отдых, по которому истосковалось сердце, сладкие и тягучие, тянущие и в то же время неожиданные, вызывающие оторопь блаженного, уютного, растроганного удивления. Должно быть, немногим выпадало такое странное счастье – созерцать, как сквозь мир войны, наполненный яростью и страданием, проступает тенистая изнанка, где все происходящее согласовано в умилении и в своего рода разнеженности, где все слито в музыкальные блоки, все соединено и связано в приключениях ничейного мозга, веселящегося на окраине мироздания.

И вот, под эту невыносимую музыку, Скатерть стала медленно подниматься со дна морского, вознося вместе с собой обломки самолетов, затонувшие корабли, угрюмые немецкие субмарины и бесчисленные тела. Скатерть подхватила сражающийся флот и стала плавно подниматься вместе с ним вверх. Она была теперь огромна, почти необозрима, величиной с целый залив. Люди, которые только что тонули в морской воде или отчаянно гребли, пытаясь увернуться от взрывов, сейчас ползали как муравьи по влажной пузырящейся ткани, изумленно барахтались в складках среди прилипших водорослей и рыб, задыхающихся в узких соленых лужах.

Корабли и подводные лодки были подобны этим беспомощным рыбам – они лежали на боку, а люди смотрели в иллюминаторы остановившимися глазами или метались в панике и сыпались на Скатерть. Некоторые матросы в шлюпках еще продолжали грести, ничего не понимая, но весла цеплялись за ткань и увязали в ее складках.

Да, Скатерть накрывалась! Да еще как! Это была невиданная сервировка! Кто бы мог подумать, что она способна на такое, когда она недавно баловала одесских уголовников ресторанными яствами? Теперь меню было другое, рассчитанное на нечеловеческий, леденящий восторг. Но, в общем-то, это был стиль сервировки рыбных блюд.

Скатерть смешала затонувшие суда с незатонувшими, смешала утопленников с живыми, она заботливо проложила эти шевелящиеся лакомства зелеными водорослями. И Дунаев, как воспаленный и милосердный гурман, парил над этим пиршеством. Вот он изогнулся в воздухе и, следуя подсказкам из глубины сознания, стал делать руками подманивающие движения, адресуя их уголкам Скатерти. Уголки послушно вздрогнули, встрепенулись и стали подниматься вверх, постепенно стягиваясь к той точке, где находился Дунаев. Скатерть при этом образовала гигантскую чашу. Затем она приняла форму перевернутого дирижабля, потом форму воздушного шара и, наконец, гигантского узла, концы которого сжимала парторгова рука.

Затем узелок быстро сжался и стал очень маленьким, жалким и обыкновенным. С него капала вода.

В эту секунду музыка оборвалась и воцарилась тишина, наполненная только гулом моря и редкими криками чаек. Исчезли и звуки боя. Море внизу осталось чистым и пустым, порт почти исчез на горизонте. И ветер, и дым исчезли.

Дунаев летел один в пустом небе, с крошечным сиротским узелком в руках. Но душа его была озарена победой, которую он одержал. План дальнейших действий был прост и доставлял ему немалое наслаждение: лететь в Избушку, где Поручик, наверное, сидит за самоваром, войти, не раздеваясь, в горницу, развязать узелок и вывалить все его содержимое на стол. Затем заглушить одним махом стопку спирта и, вытирая рот тыльной стороной ладони, сказать: «Ну, атаман, вот он вам, Черноморский флот, на стол подан. Разбирайтесь!» И после этих слов завалиться на печку, укрыться овчинным тулупом и сладко уснуть, как титан-победитель, мирно дремлющий в промежутках перед сражениями. Дунаев ясно представлял себе это сладостное засыпание – он лежит на печи и до него доносится уютное, приглушенное бормотание Поручика, который сидит за столом и, словно чечевицу, перебирает принесенное «хозяйство».

Советских моряков и советские суда он раскладывает на чистую тряпицу, для просушки и приведения в порядок, а все немецкое (ржавый сор субмарин, пушек, самолетов и кораб-

лей, бурые копошащиеся кучки врагов) сметает в мусорную корзину. Все это рисовалось в его воображении с предельной отчетливостью. Однако этим мечтаниям не суждено было сбыться: все получилось иначе.

Он внезапно расслышал тонкий свист. Свист приближался. Внезапно возникло такое впечатление, что из глубины небес, с западной стороны, на него летит снаряд. Дунаев всмотрелся в муть неба: там виднелась черная точка. Он дал «приближение», но оно почему-то не сработало. Впрочем, в «приближении» вроде бы и не было необходимости: точка сама приближалась с фантастической скоростью. Вскоре уже видно стало, что летит маленький домик, точнее дощатый фургончик вроде тех, в которых живут строители затяжных, полузабытых строек. Они убирают из-под такого фургончика колеса, любовно красят его масляной краской в дачные цвета (предпочитая темно-зеленый), украшают окошки занавесками и комнатными растениями. Именно такой фургончик теперь летел на Дунаева.

Когда строители сидят
После бессмысленной работы,
В окне фургончика закат
Встает, как отзвук их зевоты.
Лекарствие подняв со дна,
Вкушать его в тиши аптечной...
У них есть девочка одна –
Их ангел стройки бесконечной.
Она в носочках голубых
Все скачет по бетонной глыбе...
Забыть о ней! Забыть живых! –
Одна мечта у нас «на Сгибе».



Глава 24

Фея Убивающего домика

Как он оказался внутри фургончика, парторг и сам не заметил. Он застал себя разглядывающим эмблему, выжженную на кусочке лакированного дерева, который был прибит к дощатой стене фургончика. Эмблема была сделана аккуратно, тщательно: видно было, что при ее изготовлении пользовались специальным прибором для художественного выжигания. В левой ее части был изображен (несколько схематично) труп пожилой женщины, придавленный упавшим домиком. В правой части можно было разглядеть другую пожилую женщину, которая таяла, как кусок снега, превращаясь на глазах в лужу воды. Между двумя частями эмблемы был поставлен знак плюс, вписанный в знак равенства, а внизу шли надписи на незнакомом языке. Дунаев понял, что это титулы. Переводчица Снегурочка перевела:

«Фея Убивающего домика,

Фея Убивающей воды».

За окошком свистел ветер. Дунаев огляделся. Справа от него стояла вешалка, где висели небольшое пальто и передник. Под вешалкой на полу стояла миска с водой, а рядом лежала подстилка для песика. Все это выглядело уютно и доброжелательно. Парторг снял свой пыльник и аккуратно повесил его рядом с пальто, пригладив рукава. Слева от него стояла железная печка, напротив, у окошка, были столик с клеенчатой скатертью и стул. Дальше, поперек вагончика, висела занавеска, за которой угадывались кровать и умывальник, а может быть, и небольшой шкафчик. Перед занавеской стояла девочка, у ее ног чернел песик.

Дунаев всмотрелся в девочку. Она выглядела обыкновенно. По густому загару, покрывавшему ее лицо, по светлым прозрачным глазам и выгоревшим на солнце волосам можно было без труда догадаться, что вся ее жизнь прошла на открытом воздухе, может быть в степи или в деревне. Ей было лет девять-десять. Парторг видел похожих девочек в степных украинских селах. Только одета эта девочка была по-городскому: клетчатая рубашка, вязаный джемпер без рукавов, короткая плиссированная юбка, аккуратные белые гольфики. Худые загорелые колени. На ногах блестящие серебряные туфельки. Девочка приветливо улыбнулась парторгу, и он заметил, что вокруг ее головы распространяется мягкое золотистое сияние.

«Похоже, святая, – догадался он. – Как моя. Но только она “их” святая, не наша».

Он сделал несколько неуверенных шагов в ее сторону.

– Сколько же тебе годков, фея? – спросил он, пытаясь изобразить добродушную шутовскую улыбку, с которой взрослые обращаются к детям. Он также постарался произнести слово «фея» так, чтобы в голосе одновременно звучали ирония и нежность. Ему казалось, что нечто подобное должен испытывать много повидавший на своем веку мужчина по отношению к хрупкой детской игре. Видимо, он был уже настолько растерян, что стал поневоле имитировать какие-то отсутствующие эмоции.

– В тех краях, откуда я родом, их не считают. Во всяком случае, дети, – ответила девочка, спокойно и приветливо улыбнувшись Дунаеву. Затем она присела и повернула несколько раз ключик в мохнатой спине песика. В песике что-то зашипело, он механически залаял и стал переставлять тупые черные лапки по полу, перемещаясь в сторону Дунаева.

– Заводной? – спросил парторг.

Девочка кивнула и вдруг спросила:

– Вы мигнули?

– Не знаю, – парторг пожал плечами, от смущения делая вид, что шарит по карманам в поисках папирос и спичек. Девочка следила за ним умиротворенным внимательным взглядом, и от этого его смущение только возрастало. Наконец, после долгих нелепых поисков, Дунаев выудил из кармана брюк мятую, порванную коробку «Казбека». Там оставалась одна, последняя папироса, однако закуривать ее было бессмысленно – табак почти весь выпотрошился, гильза была полупустая, фильтр измят. Парторг повертел эту искаленную папиросу и осторожно положил на край стола. Вдруг он спохватился, что узелок исчез. Кровь бросилась ему в лицо, и он даже пошатнулся.

– Где узелок?! – спросил он сдавленным голосом, будучи уверен, что девочка не ответит. Однако она охотно ответила:

– Я спрятала его. Вы бы потеряли.

– Отдай! – вырвался у Дунаева хриплый крик.

Девочка посмотрела на него с легким удивлением, затем отрицательно покачала головой.

Он хотел судорожно броситься к ней, схватить ее за худенькие плечи и трясти, пока она не отдаст. Однако в этот момент игрушечный песик наконец доковылял к его ногам и застыл, бессмысленно перебирая ножками и тычась мордочкой в щиколотки парторга. Это почему-то заставило его остаться на месте: он почувствовал себя неспособным к резким движениям. Вспышка гнева и отчаяния быстро гасла, уступая место странному сковывающему

чувству неловкости, растерянности и смущения, которое почему-то охватывало его в присутствии девочки. Теперь он снова не знал, что ему делать. Нарастало молчание, приукрашенное только стрекотанием и искусственным лаем песика. Вместе с молчанием нарастала и неловкость.

– Присядьте, пожалуйста, – попросила девочка и указала на стул.

Дунаев машинально перешагнул заводного песика и присел к столу. Он не знал, куда положить свои руки, как поставить свои ноги: сидел, то скрещивая их, то вытягивая. Но постепенно его «сковало» настолько, что он застыл, сидя боком к столу, в неестественной позе фараона, составив колени и положив руки на них. «Что же происходит?» – в отчаянии думал парторг, и никаких других мыслей не приходило ему в голову в этот момент. Он ощущал себя как подозреваемый враг народа. Подавленность овладела им безраздельно. Он только сейчас понял, как мало он учился у Холеного и вообще как мало он знает. Сама мысль о том, что Самобранка вот так вот глупо, по-идиотски, отобрана у него не просто Врагом, а именно маленькой девочкой, вокруг головы которой к тому же распространяется золотистое сияние, сама эта мысль не удерживалась у него в сознании. Вместо этого в голову навязчиво лезло словосочетание «детский мат».

– Выпейте чай, – сказала девочка и мило улыбнулась. Она пододвинула к нему фарфоровую чашку с дымящимся чаем.

Продолжая находиться в оцепенении, Дунаев стал пить чай, глядя на стеклянную сахарницу, доверху наполненную крупным кусковым сахаром. Ему хотелось протянуть руку и взять кусок сахара (парторг любил чай вприкуску), но мучительная скованность не давала ему сделать это.

Когда девочка пододвинула ему печенье, парторг взял кусочек и проглотил его.

– Вы не жуете? – спросила девочка.

Дунаев больше не брал печенья и сидел, уставившись в окошко, за которым синела стратосфера.

– Если хотите, поиграем в морской бой? – участливо спросила «фея», доставая с полки варенье.

Это прозвучало как вопрос сердобольной медсестры в сумасшедшем доме, после обеда обнаружившей одного из больных остающимся сидеть на стуле, уставясь в одну точку напряженно и бессмысленно. Почему-то после этого вопроса Дунаева встряхнуло, и он вдруг понял, что Узелок находится в ящике стола, за которым они пили чай. Он быстро открыл ящик. На застеленном пожелтевшими газетами дне ящика лежали тетрадка и карандаш. Он схватил и то и другое и поднес к самому лицу, потом глаза его потускнели, и он вяло положил найденное на стол. Девочка сейчас же начала рисовать карту «морского боя», условно обозначая корабли.

И чем больше вырисовывалась на тетрадном листке арена предстоящего сражения, тем более неотвратно надвигалась на парторга тьма. За окошками потемнело, «фея» зажгла керосиновую лампу, и от этого обострилось ощущение страшной, неосмысленной высоты и удаленности от мира. «Когда это все кончится?» – отупело спрашивал самого себя Дунаев. Парторг вспомнил, что он совершенно не умеет играть в морской бой.

«Вот теперь-то в самом деле Черноморскому флоту – пиздец!» – осознал он, похолодев.

Краем глаза парторг увидел простой чугунный утюг, который стоял на полочке. Потом перевел взгляд на светлый пробор девочки.

«Быстро схватить и ударить ее по голове, – проскочила мысль. – Можно убить ее одним ударом. Все равно что воробья убить».

Тут же нахлынула волна жгучего стыда. «Научился, сука, детей убивать», – подумал он о себе с неприязнью, вспомнив Киев и отвратительную сцену с Петькой-Самопиской и его пацанами. Тогда он заставлял себя быть жестоким, и ничего хорошего из этого не вышло. В голове воскресли слова Поручика: «Их не убивать надо, теря, а “перещелкивать”». Они же как

дети малые, все в игры играют. А их отвлекать надо, предложить им какую-нибудь игру, еще более увлекательную. Вот они и “перещелкнутся” в другие миры».

«Ну, что же, попробую поиграть с ней в “морской бой”. Может, она от этого “перещелкнется”?» – неуверенно подумал Дунаев.

Он вырвал из тетрадки листок и попросил у «феи» другой карандаш. Разметив поле, он расположил на нем корабли в торжественном боевом порядке, равномерно заполнив кораблями все поле. Стали называть номера клеток. Дунаев все время не попадал в корабли противника, девочка же, будто зная расположение его судов, уничтожала их один за другим. Через десять минут «затонул» последний дунаевский одноклеточный «катер». Игра была окончена. Девочка показала ему свое поле. Корабли у нее все были спрятаны по краям, в центре поля не было ничего, поэтому парторг не потопил ни одного корабля, только задел один двухклеточный «миноносец». Дунаев даже почувствовал облегчение. Он будто знал, что поражение неминуемо, у него уже не оставалось сил на горечь и отчаяние. Он устало, с трудом распрямляя скованное тело, встал со стула и тяжело направился к вешалке. Сняв пыльник с крючка, он ощутил нечто в левом кармане, твердое и продолговатое. К удивлению Дунаева, в кармане оказался свернутый в трубочку журнал «Новый мир». Парторг раскрыл наугад. На раскрытой странице было напечатано стихотворение Юрия Солнцева, молодого замполита, погибшего в первые дни войны. Двадцатидвухлетний чернявый парень смотрел тревожными глазами с фото, перепечатанного с партбилета. Стихотворение называлось «Мы выстоим».

Мы выстоим

На рассвете было так спокойно,
Что казалась вечной тишина.
Спали пограничники на койках
И не знали, что пришла война.
И не знали, что уже не люди,
А зверье идет на них войной,
Что не поединок честный будет,
А «блицкриг» коварный за спиной.
Черный Враг, безжалостный и злобный,
Налетел на Родину мою.
За нее немедленно свободно
Молодую жизнь я отдаю.
И везде вокруг я замечаю
Непоколебимые глаза.
Командир спокойно выпил чаю:
«Не отступим перед ним назад!
Вы бойцы, товарищи родные!
Будем вместе биться, воевать!
Что нам нападения лихие?
Мы – богатырям под стать.
И когда враг будет уничтожен
И наступит снова тишина,
Вместе мы немало песен сложим
О годах по имени «Война»».

Дунаев прочел стихотворение вслух, стараясь произвести впечатление, однако получилось неважно: он все время запинаясь, путал ударения, делал ненужные ударения, бессмысленные ударения, идиотские ударения. Вообще читал он как неграмотный. Девочка слушала внимательно.

С грехом пополам дочитав стихотворение, Дунаев протянул журнал девочке. Раскрыв его, девочка углубилась в чтение, видимо, какого-то рассказа. Дунаев стоял среди комнаты.

«Мы выстоим! Мы все-таки выстоим!» – стучало сердце. Он опьянел от этого простого стихотворения.

Потом парторг присел на стул, прислонил голову к стене. Перед его внутренним взором пронеслись аккуратные домики, утопающие в садах. Как бы позади этого присутствовали, слегка проступая, глубокий, непроходимый туман, горы, покрытые лесом, мокрые каменные ступени, выдолбленные в скалах, огромные ели, охраняющие молчаливые озера, мостики, переброшенные между колоссальными камнями. И в какой-то момент показалось, что где-то на одной из вершин стоит невидимая статуя, спрятанная в особенно плотный сгусток тумана.

Однако потеплело, и на передний план выступила бескрайняя выжженная равнина. На сухой и красной земле не было не единого строения. Зато их фургончик висел высоко над этой степью, освещенный молчаливым закатным солнцем. Дунаев понял, что выглядывает из окна фургончика и смотрит вниз. Тень домика казалась застывшей на красной земле.

Внезапно Дунаев снова закрыл глаза и увидел заснеженную полянку среди спящего зимнего леса. Посреди стояла укрытая снегом Избушка. Парторг чувствовал, как внутри Избушки разгорается огонь, в окошки льется красноватый свет, и от этого ночь синееет, снег становится голубым. Кто-то ходит беспорядочно внутри Избушки, бросая тревожные тени на розовый отблеск оконца на снегу.

Дунаева охватил ужас.

– И-и-из-буш-ка-а-а-а!!! – заорал он изо всей силы, так что стекла зазвенели.

Открыв глаза, он обнаружил, что стоит посреди вагончика. Девочка удивленно смотрела на него, подняв голову от журнала «Новый мир». Пожав плечами, она снова углубилась в чтение, а парторг приник к окну, всматриваясь. Вскоре ему показалось, что вдаль возникло и нарастает гудение, вроде бы с севера. Оно было очень низким.

Каким-то образом парторг понял, что сейчас произойдет. Из глубины небес на них с чудовищной скоростью летела Избушка. Всеми фибрами души парторг ощущал ее стремительное приближение. Не в силах сдерживаться, он завизжал и стал быстро приседать, вытянув вперед руки, словно бы делал физзарядку. Девочка не успела удивиться этому проявлению безумия. Что-то со страшной силой ударило в фургончик снаружи: посыпались вдребезги разбитые стекла, в лицо парторгу попал летящий заводной песик и чуть было не выбил ему глаз торчащим из спины ключиком. Полетели доски, стулья, цветочные горшки с геранью. «Избуха!.. Избуха!.. Нагрязнула, матушка!» – повторял про себя охуевший парторг среди грохота и треска. В следующий момент парторг обнаружил себя сидящим верхом на крыше Избушки, ухватившись за печную трубу. Он оглянулся. Небо сделалось темно-синим, покрытым патиной, как большая слива. На фоне этого неба одиноко и прекрасно стояла девочка, лишившаяся своего домика, который разлетелся на куски. Она была теперь совершенно нагой, только на голове сверкало нечто вроде короны – золотая шапка, имеющая форму буддийской ступы. На ногах мерцали серебряные бальные туфельки. Эти ноги в туфельках опирались на протянутые руки двух серебряных обезьян с огромными белоснежными перепончатыми крыльями. Обезьяны парили в небе, бережно поддерживая девочку. Их морщинистые лица были исполнены благоговения.

Парторгу нехотать вспомнилась фраза из Евангелия, услышанная когда-то в детстве в деревенской церкви: «Низвергниша в бездну и ангелы Господни подхватят тебя...»

Тело девочки казалось выточенным из слоновой кости. Она стояла совершенно неподвижно, глядя вверх, туда, где зиял крошечный разрыв в темно-синих сплошных облаках, и там, над облаками, что-то жемчужно розовело – то ли рассвет, то ли закат. Отблеск этого утренне-вечернего света блестел в ее отчетливых зрачках. В одной руке она держала своего заводного песика, в другой – знакомый парторгу узелок.

Но Избушка мчалась куда-то, и девочка вместе со всеми своими атрибутами быстро уменьшалась и таяла в темной синеве небес. Вскоре видна была лишь золотая искорка, горящая на золотой шапке. Потом и она погасла.



Глава 25

Партизанщина

Поручик нарезал хлеб, положил малосольные огурцы на тарелку.

Дунаев, чистый после бани, гладко выбритый и причесанный, в свежей русской рубашке, сидел за столом.

Шел я как-то по дороге и увидел хуй,
Это нам товарищ Ленин шлет воздушный поцелуй, –

продекламировал Поручик, подражая едко-слащавому голосу Бакалейщика, затем подмигнул Дунаеву. Тот потер голову обеими руками, повернул голову сначала вправо, потом влево. Шея почему-то плохо двигалась и казалась онемевшей. Во рту царствовал какой-то странный привкус, довольно приятный, как от земляники. Однако ужасно хотелось есть. Дунаев схватил с тарелки огурец и стал жадно жевать. Вкус восхитительный. Съел второй огурец, третий. Даже не заметил, как тарелка опустела. Холеный заботливо пододвинул ему дощечку с нарезанным черным хлебом и миску с маринованными грибами. Дунаев все это тут же съел.

– Вижу, нагулял ты в Крыму аппетит, – сказал Поручик. – Оно и понятно: в море накупался, на солнце повалялся. Хорошо отдохнул-то?

Парторг, уже привыкший к «юморку» Холеного, кивнул и ответил, дожевывая хлеб:

– Да, отдохнул хорошо. Даже потеть перестал. Только проиграли мы сражение-то. Узелок с нашими моряками у девчонки остался. У феи.

– Во-первых, не «мы проиграли», а ты проиграл, – язвительно оборвал его Поручик. – Два раза ты получал в руки Узел и два раза терял его. Считай, два Узла на Большом Сгибе завязал. Или, иначе говоря, Морской Узел, двойной. Это тебе, парторг, еще аукнется. Но и ИМ аукнется тоже, не беспокойся. Убивающий домик ежели кто в небесах увидит – не жилец он на этом свете. Поэтому этот домик летает там, где гибель всему. Ну да ты, не будь дурак, по

нему Избушкой хрястнул. Избушка-то посильнее будет. Потому как Доска супротив Бревна – не воин. А потом говорят, кто внутри Убивающего домика побывает, тот вообще никогда не умрет. Это как внутри Смерти самой побывать, то потом уже никакая смерть не возьмет.

– Что же, я теперь никогда не умру? – спросил Дунаев. – Я же внутри домика был, даже чай там пил, с печеньем.

– А может, и не умрешь. Кто ж тебя знает? Хитер ты, Дунай. Хитер, как сом придонный. – Поручик погрозил ему узловатым пальцем.

Дунаев вовсе не чувствовал, что уж так он в самом деле «хитер», но слышать это ему было приятно.

«Да и все, кто в Севастополе сражался, теперь бессмертны, потому как они тоже внутри домика были, в Узле...» – подумалось ему.

– Для кого сражение, а для тебя – курорт, – сказал Поручик, помешивая в чугушке, где что-то варилось (судя по запаху, щи). – Вот отдохнул, теперь пора за дела приниматься. Работать надо.

Состояние Дунаева было далеко не отдохнувшее, однако он самоотверженно выпрямился и сказал:

– Я готов. Говори, чего делать надо.

– Говори, говори!.. – проворчал Поручик. – Вот щей поешь. – С этими словами он налил Дунаеву в глубокую тарелку горячие, дымящиеся щи.

Несмотря на намеки Поручика, что вот, дескать, сейчас что-то начнется, какая-то якобы «важная работа», потекли пустые, ничем не заполненные дни. Шли затяжные дожди, небо постоянно было затянуто тучами. Из Избушки они почти не выходили, разве что несколько раз парились в бане. А обычно сидели в горнице, причем Поручик в основном читал газету. Иногда он начинал рыться в кладовке, где у него хранились, по-видимому, неисчислимы припасы, и приносил оттуда, с гордым и значительным видом, какую-нибудь пустячную редкость – старую банку монпансье, или окаменевшие цукаты, или коробку хороших, дорогих папирос, выпущенных в продажу около 1924 года и настолько пересохших, что, куря их, Дунаев думал, что курит пыль. Поручик обучал Дунаева пускать колечки. Вообще он учил его множеству вещей – готовить еду, плотничать (в сенях был поставлен стол специально для плотницкого и столярного дела), чинить кастрюли и старую утварь, набивать пухом подушки и перины, задавать корм домашним животным – свиньям, кроликам и прочей живности.

– Вот раздобуду кой-какого матерьяльда и научу тебя, голубчик, шапки шить! – весело говорил Поручик, сноровя ужин при ярком свете печки и керосиновой лампы. Парторг сидел за столом и старательно прилаживал пуговицу к пыльнику.

«Так я скоро совсем бабкой стану! – думал тоскливо Дунаев. – Что ж это такое? Наверно, у Поручика все в голове перевернулось, раз он Севастопольский бой курортом называет, а всю эту кухню – работой и делами! Черт бы его побрал совсем! А впрочем... Может, это он меня так перещелкиваться учит? Переключаться? Чтобы не была голова забита только войной, чтобы мог отвлечься на мирный труд! Но все-таки неясно что-то... Война-то идет!»

– Поручик, расскажи, что на фронтах? Как боевая обстановка? – не утерпел парторг после ужина, когда Холеный, по обыкновению, раскрыл газету. Холеный поднял на него светлые глаза.

– Обстановка по сноровке! – весело отвечал он. – А я было, грешным делом, подумал, что уж совсем ты войну забыл. Ан нет. Еще гуляет удаль-то в буйной головушке, мысли на войну сворачивает. Воин, воин ты все-таки, сто хуев тебе в тачку! Ну ладно. Где война, там и солдат. И вот тебе задание. Кора нужна. Береста. Буду тебе показывать, как берестяные тучечки мастерить. Найди березу потолще, да только отдирай кору большими, широкими полосами, и побольше, ебать – не услышать! С богом!

И тут Поручик достал мешок, широкий нож, скребок, варежки из кожи и все это вручил Дунаеву.

... Темный лес стоял, наполненный влагой, вода хлопала под болотными сапогами, крупными каплями обдавало парторга, когда он задевал еловую или осиновую ветки. Был поздний вечер, но Дунаев отлично видел в темноте особым, «ночным зрением». Вот и первая береза. Дунаев стал сдирать со ствола мокрую кору, она поддавалась плохо, нож срывался со скользкой белизны, несколько раз повредив варежку. Ему приходилось помогать скребком, но часто он просто отрезал в этом месте кору, не отодрав целой полосы. Все же кое-как он снял несколько приличных полос, сложил их в мешок, уже намокший от влаги, и в унынии отправился дальше. Так он и двигался от березы к березе, пока не увидел вдалеке какой-то странный, мерцающий, красноватый огонек. Парторг так и застыл. «Приближение», – подумал он и увидел среди стволов костер под навесом из еловых разлапистых веток, сквозь которые шел дым. Больше ему ничего не удалось различить – заслонял лес, мешая увидеть сидящих у костра. «Фронт далеко, на востоке, здесь совсем тихо. Кто ж тут по лесам шатается, костры жжет?» – удивился он. Вдруг в памяти отчетливо воскресло: он висит на сосне, сверху из кроны что-то орет Поручик, ветер раскачивает ветви, так что кажется: вот-вот послышится свист падения. И вот с этой головокружительной и опасной высоты он вдруг видит в едкой зелени леса полянку, небритых людей с автоматами, которые волочат по земле упирающееся розовое тело свиньи. Партизаны!

Недалеко от того места, где Дунаев бессмысленно столбенел и корчился, действительно располагались землянки небольшого партизанского отряда, которому суждено было увековечить себя благодаря трилогии одного писателя, написанной много лет спустя.

Известно всем, кто читал эту трилогию, что командовал отрядом Ефрем Яснов. Из-за затяжных дождей боевые действия отряда уже несколько дней как были почти полностью парализованы. Бойцы отсиживались в землянках. Каждый вечер Ефрем Яснов выходил из своей землянки и стоял несколько минут под дождем, вслушиваясь в звуки мокрого леса. Его поразительно острый слух неизменно улавливал нечто, исходящее откуда-то с юго-западной стороны. Это был еле-еле проступающий неопределенный мелкий звуковой хаос. Казалось, что кто-то покрикивает, шепчется и как будто глубоко вздыхает, словно во сне. Яснов знал лес. Он хорошо знал жизнь его шумов: эти странные ночные эффекты, звуки-фантомы, порождаемые ветром, водой, прихотями рельефа, эхом и причмокиванием болот. Звуки-обольстители, складывающиеся в фиктивные сигналы, ложные крики о помощи, в шорох отсутствующих врагов. И все же, хотя он знал все это, как это знает каждый партизан, все же это тонкое подтекание мелкой звуковой гадости с юго-западного края тревожило его. Тревога нарастала от вечера к вечеру, пока однажды он вдруг не услышал где-то в глубине леса мужской крик. Можно было различить слова: «Вафел! Вафел! Бабушка елдовая!» – и какие-то другие ругательства. Немедленно были высланы люди с оружием. После нескольких часов осторожных поисков они нашли в пологом овражке человека. Сначала они даже не заметили его: он лежал неподвижно, пригнувшись к черному трухлявому пню, и был с ног до головы настолько покрыт грязью, что его трудно было отличить от мокрой, разбухшей земли. Затем он зашевелился. Его подняли. Под слоем грязи угадывался человек в городской одежде, одетый во что-то вроде дождевика. На груди болтался облепленный грязью бинокль. Человек был без сознания. Глаза держал закрытыми, на вопросы не отвечал и только невнятно бормотал и глубоко вздыхал.

Его принесли в лагерь, положили в одной из землянок. Яснов и партизанский врач Коконев осмотрели его, но поняли только, что человек, по всей видимости, умирает. Попытались спасти его. Растирали тело водкой. Коконев сделал укол пенициллина и на всякий случай еще один – морфия. Коконев был врачом-самоучкой и лечил, что называется, «с плеча». Результаты, впрочем, бывали хорошие. Через два дня, увидев, что пациент жив, Коконев вколол ему фенотин, после чего больной смог встать и явиться на допрос в землянку командира.

За самодельным столом сидел Яснов, рядом крутил самокрутку замполит Захаренков. У полевого телефона дежурил Терентьев, бывший сельский учитель. Коконов, даже не снимая грязного медицинского халата, одетого поверх униформы, развалился в кресле, неизвестно какими судьбами занесенном в лесную глушь.

Дунаев заговорил возбужденно, не дожидаясь, пока ему станут задавать какие-либо вопросы. Первые его слова были более или менее отчетливые, однако затем внятность ушла из его речи. Сбоку, на деревянной доске, были разложены вещи, найденные у него: мешок с берестой, скребок, нож, кожаные варежки, бинокль.

– Ну, что тут гадать, командир? – сказал Захаренков, как будто продолжая прерванный разговор. – Все же ясно. Человек свой, русский. Видимо, был контужен тяжело. Надо его выходить, а потом уже разбираться.

Осторожный Терентьев сказал, что, хотя, конечно, надо выходить человека, однако же оставлять его без охраны невозможно, поскольку никто не знает, чего от него можно ожидать.

– Да вот Алексей Терентьевич, – указал Яснов на Коконова. – Он же все равно будет с ним возиться, вот пусть и присматривает. Забот у него сейчас особых нет, раненых нет. У вас, товарищ Коконов, личное оружие при себе?

– А как же! – ухмыльнулся Коконов, отвернул полу грязного белого халата и похлопал по блестящей кожаной кобуре маузера.

– Вот и отлично, – кивнул Яснов. – Этот человек на вашем попечении. Не спускайте с него глаз.

Дунаев хотел говорить, он хотел много, много сказать, но его больше не стали слушать, отвели обратно в «санаторную» землянку, где Коконов размашисто, и как будто не глядя, сделал ему укол снотворного, после чего куда-то ушел.

После укола Дунаев провалился в пустой черный сон без образов и событий и через неизвестное время проснулся в темноте. Он по-прежнему лежал в землянке; видимо, наступила ночь и сюда не проникало ни лучика. Пахло землей и сыростью. Затем он услышал, что кто-то осторожно входит в землянку, стараясь ступать как можно тише. Послышался звук раскрывания шкафчика и легкое позвякивание. Дунаев включил «ночное зрение». В глубине землянки кто-то копался в аптечке Коконова, аккуратно перебирая лекарства. Дунаеву почудилось что-то знакомое в этой согбенной фигуре, одетой в ватник. Парторг узнал Поручика. Тот был в очках.

– Атаман! – воскликнул Дунаев от неожиданности. – И ты здесь?

– Не ори! – шепотом осадил его Поручик. – Не видишь, что ли, что я ворую лекарства у товарища Коконова, еби его земля травой. Мне тут кое-что может даже очень пригодиться. Не зря же тебе здесь торчать. Кстати, изволь, голубчик, не распускать язык: мне вчера пришлось специально на тебя Косноязычную Помеху настраивать, чтобы ты в штабе у Яснова лишнего не наболтал. А то распустил тут, понимаешь, нюни: «Ребятюшки», «родные», «братишки» и прочее. Не хватит ли, Дунаев, соплей?

Дунаев, несколько оторопевший от непривычной резкости Поручика, привстал со своего ложа и сделал несколько шагов. Он чуть не упал. Ноги его не слушались, и вообще он чувствовал себя совсем разваливающимся. Память отказывалась воспроизводить события последних дней. Он стал судорожно тереть лоб, словно надеясь высечь из него искру просветления.

Дунаевым теперь владело ощущение, что тело его упразднено, а на его месте существует одинокий набор волшебных умений, приемов и техник – результат обучения у колдуна Холеного. Все эти «приближения», «перескоки во времени», «просачивания сквозь стены», три добавочных вида зрения («исступленное», «ночное» и «кочующее»), все эти «летания» и «прыжки», все эти «боевые изыски засранной древности» – все это существовало теперь на месте его исчезнувшего сознания, действовало помимо его воли; это был маленький, до боли смешной ад щекокущих друг друга умений. Стоит ли, впрочем, употреблять слово «ад» в слу-

чае, когда страдания отсутствуют? «Приближение» теперь набиралось, когда хотело, и каждый шаг казался прохождением сквозь стену, хотя никаких стен не было.

«Одной смерти не бывать, а трехсот не миновать», – пролепетала Машенька, видимо, чтобы подбодрить Дунаева. Поручик же не обращал на него ни малейшего внимания: придерживая одним пальцем очки, которые висели на полусгнившей веревочке, сделав чрезвычайно серьезную и сосредоточенную мину, он копался в лекарствах. Некоторые пузырьки и коробочки с ампулами он сразу прятал в карман ватника, другие подолгу рассматривал, поднося к самым глазам, затем осторожно ставил на место.

– Это же наши... наши... партизаны, – наконец выдавил из себя парторг. – Как же можно по-подлому вот так пиздить лекарства? У тебя что, атаман, совести нету? Они же в тылу у врага. Борьба нелегкая, и так живут в землянках, как нелюди. А если заболит кто или ранят кого? Врач лекарств хватится, а их нет... И так небось все на счету. Что он будет делать?

– Коконов-то? – усмехнулся Поручик. – Что он будет делать, спрашиваешь? Да то же самое, что он сейчас, в эту секунду, делает. Да и вообще, какой он, в пизду, врач? Был здесь у Яснова в отряде хороший врач, Арзамасов, но его немцы убили. А Коконов – это не врач, даже совсем... далеко не врач. У него один взгляд – в сторону Черных. Слышал, небось, про Черные деревни?

– Что-то слышал, – ответил парторг. – Но только не понимаю я: этот Коконов, он распиздай, что ли? Ему же командир приказал с меня глаз не спускать, а он сделал укол и смотался куда-то.

– Ну ладно, покажу тебе, куда Коконов ходит, – рассмеялся Поручик. – Вскикавай мне на плечи.

Поручик легко вскинул Дунаева себе на плечи, предварительно привязав ему к спине и животу по одному сложенному одеялу. И они «поехали». Плавно они выскользнули из землянки, проехали буквально в двух шагах от вооруженного патруля и понеслись в лес, постепенно набирая скорость. Поручик именно не шел и не летел, а ехал, словно по невидимым рельсам. Шел проливной дождь, но на них не попадало ни капли. Поручик мчался по прямой, не разбирая дороги, не огибая деревьев, проходя прямо сквозь стволы, причем Дунаев каждый раз, не ощущая материальности деревьев, тем не менее чувствовал острый вкус древесины во рту. Они развили такую скорость, что лес, ночь и ливень образовали нечто вроде беспросветного свистящего туннеля, по которому совершалось их скольжение. Вдруг впереди, в темноте, замаячило светлое пятнышко. Холеный стал сбавлять скорость. Постепенно стал виден белый халат человека, пробирающегося сквозь лесные заросли. Без сомнения, это был Коконов. В луче «ночного зрения» он был различим в мельчайших деталях: мокрый до нитки халат, сапоги, облепленные комьями глины, гимнастерка под халатом, пересеченная крест-накрест портупьями, прилипшие ко лбу волосы, с которых капала вода.

Читавшие знаменитую трилогию, конечно, помнят странную судьбу врача-самоучки, одну из многих судеб, сплетавшихся с другими в партизанском лесу. Им известно лучше, нежели Дунаеву, о том, кто таков Коконов, кем он был и кем он будет. Они знают о том, как он самоотверженно спасал крестьянских детей в охваченных эпидемией деревнях. Знают о его тайной ненависти к доктору Арзамасову, и о том, как он целовал босые холодные ноги этого старого врача, когда тот уже висел в петле. Знают они и о том, что Коконову предстоит попасть в плен к немцам, стать предателем и власовцем, воевать против родного народа в рядах РОА и погибнуть от руки советского солдата в самом конце войны. Однако то, что увидел Дунаев, подглядывая за Коконовым, читателям знаменитой трилогии неизвестно.

Врач-самоучка, видимо, хорошо знал дорогу, во всяком случае, он шел по ночному лесу достаточно уверенно, раздвигая кусты, находя одному ему ведомые приметы своего пути. Поручик с парторгом на плечах бесшумно следовал за ним. Дождь внезапно кончился, и лес

стал редеть. Через какое-то время они вышли к деревне. Такой деревни Дунаеву еще не приходилось видеть, однако он сразу понял, что это одна из тех «черных деревень», о которых он слышал впервые еще от Волчка. Даже удвоенное (его и Поручика) «ночное зрение» не могло высветить тот абсолютно плотный мрак, из которого были сложены избы, плетни, заборы. Безлунная ночь посветлела по сравнению с мраком этой деревни и стала похожей на чернила, разбавленные водой. Деревня казалась вырезанной из черной бумаги. В остальном она ничем не отличалась от других деревень: видны были силуэты обычных изб, печных труб, виднелся колодец-журавль. На заборе четко вырисовывался спящий петух, напоминающий кусок угля. Фигурка в белом халате подкралась к одной из изб.

– Глаша! Глашенька! – тихонько позвал врач. Затем раздался стук камешка, ударившего о стекло. Было слышно, как кто-то осторожно отворяет окно, брякнул ставень. Девичий голос спросил шепотом:

– Алеша, это ты?

– Я, Глашенька.

– Сейчас, погоду, голубчик, я только косынку наброшу.

Через минуту послышался шорох платья, снова брякнул ставень – от силуэта избы отделился силуэт девушки. На самом деле это был не силуэт – просто девушка, точно так же как и изба, состояла из абсолютно плотного мрака.

Белая фигурка Коконова слилась с черной фигурой девушки в объятии. Послышался звук поцелуя.

– Глашенька, любимая моя, еле дождался свидания, так все мучился, все успокоиться не мог! – страстно прошептал Коконов.

– Тише, тише, отца с матерью разбудишь, – испуганно зашептала девушка в ответ. – Пойдем лучше уже, я цветов нарвала.

Девушка показала врачу силуэт букета. Тот упал на колени, стал целовать ее руки: «Я так скучал... – послышался его шепот. – Я скучал по тебе всю жизнь. В детстве у меня была любимая черная курица. Я ходил за ней на цыпочках. А потом... потом в школе... учитель вызвал меня к доске... И я ничего не смог ответить ему, понимаешь?»

– Алешенька! Родной мой! Не трави ты так свое сердце, я ведь тоже переживаю, но терплю ведь, виду не подаю. Ну, пойдем уже, а то мои старики с первыми петухами подымаются, боязно мне домой к рассвету не вернуться.

Обнявшись, они пошли куда-то. Поручик следовал за ними, держась так близко, что Дунаев чувствовал аромат, исходящий от большой охапки свежесрезанных цветов, которые несла девушка. Увидеть цветы было невозможно – они были совершенно черные и сливались с девушкиными руками и платьем.

Они прошли сквозь деревню, затем миновали перелесок и стали спускаться во что-то вроде низины или овражка. Внизу было нечто, напоминающее поле, слегка заслоненное низкими деревьями. Деревья постепенно расступались, и Дунаев вдруг увидел, что все поле занято колоссальным изображением воина-партизана. Изображение было сделано из земли в виде рельефа. Парторг не мог поверить своим глазам, однако ошибиться было невозможно: огромный земляной партизан в ушанке и тулупе, с автоматом наперевес, был распластан по поверхности поля.

Легкое свечение лежало, словно мерцающая роса, на клубнях земли, насыпных холмиках и грядах, из которых состояло изображение партизана. Дунаев наладил канал телепатической связи с Поручиком (какой-то «технический гений бреда» подсказывал ему, что этот канал проходит через нежное среднее ухо Машеньки) и спросил: «Что это?»

Поручик ответил двусмысленно: «Кое-кто говорил мне, что памятники изготавливаются заранее. Их появление опережает подвиги, увековечить которые они призваны. Вначале они ненавязчивы, затем напоминают старинные поделки, затем начинают походить на явления

природы или на аномалии рельефа. В конце концов пористый камень или зацелованный гранит замещает собой возбужденную мякоть этих монументальных тел, а степенное почитание потомков приходит на смену случайным радениям предвкушающих. Тех, что, если так можно сказать, держат нос по ветру».

– А как же немцы? – поинтересовался Дунаев. – Мы же в глубоком тылу у них. Как же они не видят, что ли, этого? Должны же увидеть, хотя бы с самолетов?

– Немцы к Черным деревьям не ходят и не летают над ними. Да и как над ними полетаешь? Ты посмотри вверх – сплошная земля. Ты разве не заметил, как мы к деревне подошли, так дождь сразу кончился, а деревья сразу ниже стали и чернее. Это потому, что здесь земля сама под себя заходит, как в заворотных сказах сказывается.

Дунаев задрал голову вверх и действительно увидел над собой земляной слой. Кроме этого увидел еще нечто странное: в земле сверху была вырыта кабинка, напоминающая квадратную могилу. В ней гнезился человек в кожаной куртке и кепке. В руках он держал кинопроектор, из которого и исходил тот зыбкий и липкий свет, покрывающий фигуру Партизана.

– Это кто? – спросил Дунаев «по каналу».

– Это Кинооператор, – ответил Поручик и прибавил малопонятное: – Надобно будет и нашей внученьке посмотреть, хотя бы и возвратным глазком, на ту кашу, которую мы все тут завариваем.

Коконов и Глашенька опустили на колени у огромных ступней Партизана и стали раскладывать на его ногах черные, словно бы нарисованные тушью, цветы. Затем, взявшись за руки, они медленно пошли по телу Партизана. Дойдя до его груди, где распаивался овчинный тулуп, образуя глинистый овражек, они легли на землю и обнялись. Объятия их становились все более и более страстными, пока не перешли в совокупление. Коконов в своем халате почти сливался с мерцающим фоном, зато Глашенька виднелась отчетливо (свет, падающий на ее тело, поглощался мраком), однако казалась расчлененной на несколько кусков, так как распластавшийся халат Коконова прикрывал середину тела.

Врач-самоучка, которому в будущем надлежало стать предателем, а затем трупом, и девушка, относительно которой никто не знал, предстоит ли ей смерть, сливались в страстной любви на груди рыхлого изваяния. Дунаев чувствовал, что от их страсти в окрестных лесах и овражках накапливается и растет мощное непонятное возбуждение. Это возбуждение в результате разразилось криком как бы тысяч голосов, раздавшимся со всех сторон. Казалось, что кричат невидимые толпы, сгрудившиеся под поверхностью мха, на дне болот, у тайных грибниц и корней. Иступленный крик поднимался к земляному потолку. Орали:

– ДАВАЙ КИНО!

Дунаев вдруг ощутил (с тем головокружением, какое бывает, когда во сне переворачивается пространство), что прямо под ними находится колоссальный кинозал, а они, как мухи, висят на обратной стороне экрана, покрытого грязью.

– Под нами кинозал! Под нами кинозал, еб вашу мать! – заорал парторг, изо всех сил вцепляясь в шею Поручика, чтобы не упасть вбок.

– ДАВАЙ КИНО! ДАВАЙ КИНО! – гремели окружающие лощины, леса, ямы и болота.

Сверху, в ответ на это, застрекотал аппарат, и сквозь все тело Партизана, сквозь халат Коконова заструилось дрожащее черно-белое изображение. Крик утих. Воцарилась тишина, наполненная только стрекотом проектора, стонами девушки и гулками звуками поцелуев.

Это были документальные кадры, посвященные партизанской борьбе в русских, украинских и белорусских лесах. Дунаев увидел множество суровых людей с автоматами и винтовками, пробирающихся по лесным тропам, увидел взлетающие на воздух мосты, увидел, как минируют железнодорожное полотно и как немецкие товарняки сходят с рельсов, как сталкиваются и опрокидываются вагоны. Затем все перекрыл огромный образ Родины-Матери с пла-

ката «Родина-Мать зовет», он нахлобучил на полевое тело Партизана, и теперь казалось, что уже не мужчина, а суровая женщина бежит с автоматом наперевес.

– Вот она, Партизанщина! – с гордостью вымолвил Поручик, указывая Дунаеву широким жестом на поле.

Вслед за плакатным изображением по полю заскользили слова. Проекции огромных букв расплывались и скользили по земляным кочкам, рытвинам и буграм. Дунаев читал и повторял прочитанное, беззвучно шевеля губами:

«...в целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и разъездах. При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику...»



Глава 26 На подступах к Москве

Ты видишь: в тех местах свирепствует судьба,
И сердце цепенеет и крошится.
Но держит всех незримая Скоба,
Что в коврике зеленом копошится.
Не вытравить тот сладкий липкий след
И эти знаки полудетской ласки,
Что навсегда останутся, как бред,
Как в темноте рассказанные сказки.
Невинность тайн, теснящихся вовне.
Сортира сон, посыпанного хлоркой.
Невинность грязи, что уснет к зиме,
Подернута сверкающею коркой.

Да, несмотря ни на что, выпал снег. Уже несколько недель он пытался овладеть лесом, но снова и снова возвращался едкий теплый ветер, и снег превращался в дождь, размывающий в грязь робкие снежные накопления. И вот наконец ударили настоящие морозы и снег расположился в лесу полноправным хозяином. Он укрыл деревья и землю под деревьями, заботливо укутал все заветные тропинки.

После посещения Черных деревень Поручик, вопреки ожиданиям парторга, не отвез его в Избушку, а вернулся с ним обратно в партизанский лагерь, где и оставил на прежнем месте в «санитарной» землянке.

– Будь покамест здесь, – сказал он, прощаясь. – Ты же все хотел, помню, партизанский отряд сколотить. Вот тебе, детка, отряд – поиграйся малость, чтобы силенок поднабрать для Великой Битвы. Великая Битва подступает, надо встретить ее достойно, поклониться ей в пояс, поднести, что называется, угощеньице. И самому быть к ее приходу, как говорят,

Смазанным, заверченным,
Пересоленным, перченым.

Только вот... (тут Поручик лукаво зажмурился) ты все хотел организаторской работой заняться. А тут, в отряде, не знаю, будет ли тебе работа. Здесь все вроде бы есть: и командир неплохой, и замполит. Ну да ты, главное, вперед не лезь и не болтай. Усек? Не разводи, голубчик, никакой пропаганды. Здесь и без тебя все распропагандированные. А спрашивать тебя никто ничего не будет – об этом уж я постараюсь. А Черные деревни не забывай, я их тебе не зря показал. Если встанет вопрос: «Где спрятаться?» – то это лучшее место. Избушка-то, знаешь ли, место лиловое, ненадежное, а Черные деревни не подведут: туда за тобой не только никакие немцы, но даже ОНИ не полезут. А люди, что там живут, – люди простые, русские. Может быть, тупее немножко, чем в других местах, но душевные, хлебосольные. Так что у них всегда отсидеться можно. Только глаза лучше тряпкой завязывать. А то от этого мрака может зрение испортиться, придется к врачу за очками бежать.

Сказав это, Поручик ушел, а парторг прилег на свое ложе, устланное овчиной, накрылся полушубком и задремал.

Через несколько часов его разбудил Коконов, который щупал ему пульс. Убедившись, что пульс у пациента нормальный, Коконов не стал применять более никаких средств и сам завалился спать в другом конце землянки.

...Утром Дунаев, посвежевший и бодрый, вышел из землянки на белый свет и умылся из рукомойника, привязанного к стволу дерева. Сквозь ветки пробивалось солнце, ярко сверкало в его лучах свежеснеженный снег. Дунаев растерся снегом, ощущая себя заново родившимся.

– Вот это дело! Это солдатик, мать твою! – услышал он голос за спиной. Повернувшись, парторг увидел старого партизана – деда в ушанке и тулупе с автоматом наперевес, довольного тем, что он наблюдал.

– Как звать-то, милоч? – ласково спросил дед.

– Володей звать, Дунаев. Парторгом был до войны, – охотно отвечал Дунаев, надевая гимнастерку. – А тебя как величать?

– А я дед Савва. Ну, пора тебе покушать чего-нибудь. – И дед повел парторга в другую землянку, где дал ему хлеба, сала и картошки.

После завтрака Дунаеву выдали кое-какое оружие.

– Будем сегодня минировать, Володя. Ночью поезд должен идти со стройматериалами. На нем и полк пехоты едет, на фронт. Свежие фрицы на подмогу своим идут. Ну да не дойти им до своих. – И дед, рассмеявшись, закашлялся старческим смехом.

Они собрали все необходимое, взвалили ящики с минами за спину и углубились в густой, беспросветный лес. Пройдя по прямой несколько километров, вышли к обрыву над рекой. Через реку, справа от них, к северу, проходил железнодорожный мост. Отсюда железная дорога шла прямо на Москву, через Смоленск и Минск.

Дед Савва сделал Дунаеву знак, приложив палец к губам. В конце моста, на другой стороне реки, расхаживали взад-вперед четыре немецких солдата в касках и с автоматами, в длинных зимних шинелях. Они останавливались при встрече, похлопывали друг друга по спине толстыми рукавицами и снова расходились к перилам моста. Иногда они озирались по сторонам, в том числе и в ту сторону, где сейчас хоронились партизаны. Дед Савва прошел еще

немного к началу моста, присел под ель и позвал Дунаева взмахом руки: «Возьми кирку и мину. Надо, брат, перебежать мост и с той стороны залезть к рельсам поближе. Выкопать ямку и мину схоронить. Засим обратно вертайся. Я буду с ящиком ждать и с этой стороны мину поставлю. Ну, беги, сынок...» Прошептав все это на ухо парторгу, Савва перекрестил его, поцеловал в лоб и подтолкнул к мосту. Все чувства Дунаева обострились, он, пригнувшись, схватил кирку и мину и нырнул в чащу. Затем он выполз на мост и лег посередине между рельсами. Прямо под рельсой он вырыл углубление, куда заложил мину. На другой стороне реки издали раздался крик, один из мостовых стражей тоже что-то крикнул, как бы в ответ. Приподняв голову Дунаев увидел, что солдаты убежали. Он слез с моста и подбежал к деду Савве, только что заложившему мину. Вместе они подняли ящики и вышли на мост. Со страшной быстротой они обмотали рельсы проволокой, присоединенной к минам, и заложили штук двадцать мин, чуть ли не до середины моста. Они едва успели добежать до сторожки в начале моста, как послышались крики и топот. Вслед за этим можно было различить гудок далекого поезда. Партизаны спрятались в сторожке и выглядывали в шелку, как бегут немецкие солдаты. Вместе с теми, кто сторожил мост, были еще два солдата и офицер. Раздались выстрелы. Стреляли по ним. Но было уже поздно. Фигурки бегущих солдат и вынырнувший на мост паровоз – все это существовало в последний раз рядом с той минутой, когда вспыхнуло красное солнце. Огонь и дым взметнулись и полетели во все стороны...

Было ясно, что гитлеровцы вышлют карательные силы и прочешут всю местность вдоль железной дороги. Поэтому решили идти к Минску, на юго-запад – к следующему мосту. Полдня ушло на сборы, землянки замаскировали так, чтобы немцы не смогли найти. Вечером, когда ярко-красное солнце бросило в лесу глубокие синие тени, отряд вышел в дорогу. Шагали гуськом.

Сначала навестили одну старую лыжную базу. Базу охраняли белорусы, бывшие на службе у фашистов. Партизаны, обмотанные белыми простынями, бесшумно подкрались и схватили полицаев. Ни слова не сказав, их удавили, трупы повесили на березах. Затем отомкнули склад, встали на лыжи и пошли быстрее. Глубокой ночью сделали короткий привал. Каждый отпил по глотку из фляги со спиртом, съел по галете, отобранной у немцев, выкурил по самокрутке. Хотелось спать, но нельзя было. Встали и побежали дальше. Двигались быстро. Дорогой удалось взорвать еще два железнодорожных моста, сжечь и расстрелять три полицейских участка, совершить нападение на транспортную колонну, взорвать две водонапорные башни.

Из Польши вышла специальная дивизия СС, обученная вести карательные экспедиции в зимних условиях. Она координировалась с другой, Минской дивизией. Чтобы не попасть в окружение, отряд ушел к северу, буквально прошмыгнув под носом у врага. Партизаны шли быстро, вскоре были уже далеко и теперь повернули к западу, чтобы обогнуть Минск и направиться другим путем к северу, на старые места. Отряд был хорошо вооружен и обладал всем необходимым для выживания. Местное население помогало им, доставляя продовольствие, обманывая и дезориентируя немцев. К тому же партизаны часто захватывали немецкие склады и арсеналы. Отряд уничтожал все, что мог, и продвигался, оставаясь неуловимым. Не давая ни себе, ни немцам передышки, они предприняли несколько довольно крупных диверсий в районе Могилева.

У Дунаева в сознании уже много дней стояла головокружительная, но однообразная картина – мелькающие стволы, еловые ветки, концы лыж с загнутыми вверх концами, снег и снег... Он забыл о жизни, ел и спал автоматически, действовал четко и безукоризненно. Порой, на привале, ему хотелось вступить в политический спор с замполитом Захаренковым (в Дунаеве

просыпался парторг), но он помнил о наказе Поручика, держал язык за зубами, шутил и сплевывал после самокрутки.

Дунаев все шел и шел на лыжах, погруженный в глубокую внутреннюю летаргию, словно бы ожидая какого-то толчка, ожидая знака для очередного пробуждения. Ели по обеим сторонам лыжни стояли огромные, до самого бледного неба, покрытые толстыми шапками снега. Тишина замораживала мозги, только равномерный скрип лыж и бегущая впереди фигурка с автоматом за спиной – больше ничего не заполняло цепенеющей пустоты.

«Что же происходит на фронте?» – пробежала боковая, слабая мысль в сознании парторга. Он не знал этого. Фронт был далеко.

А между тем наступление на Московском направлении нацисты готовили как «генеральное», решающее. Для сокрушительного удара по советским войскам, стоявшим на пути к Москве, фашистское командование сосредоточило в трех ударных группировках три полные армии, действующие по трем направлениям. Три танковые группы поддерживались большими частями усиления – всего 77,5 дивизии (более 1 млн человек), почти 14,5 тыс. орудий и минометов, 1700 танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 2-й воздушный флот и 8-й авиационный корпус, имевшие 950 самолетов. Войсками командовали генерал-фельдмаршалы Бок, Клюге, генералы Штраус, Гудериан, Гот и другие.

К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила все приготовления к операции. Мощной группировке врага советское командование могло противопоставить значительно меньшие силы и средства. Западный, Резервный и Брянский фронты, во главе которых стояли генерал И. С. Конев, маршал С. М. Буденный и генерал А. И. Еременко, имели 95 дивизий (около 850 тыс. человек), 780 танков, 545 самолетов и 6800 орудий и минометов. Первой операцией «Тайфун» начала южная ударная группировка противника. 30 сентября она нанесла удар по войскам Брянского фронта из района Шостка-Глухов в направлении на Орел и в обход Брянска с юго-востока. 20 октября перешли в наступление остальные две группировки из районов Духовщины и Рославля. Их удары были направлены по сходящимся направлениям на Вязьму с целью охвата главных сил Западного и Резервного фронтов. В первые дни наступление противника развивалось успешно. Ему удалось выйти в тылы 3-й и 13-й армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы – окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов.

Глубокие прорывы танковых группировок врага, окружение ими значительных сил трех фронтов, незаконченность строительства рубежей и отсутствие войск на Можайской линии обороны – все это создало угрозу выхода противника к Москве.

В ночь на 5 октября Государственный Комитет Оборона принял решение о защите Москвы. Главным рубежом сопротивления была определена Можайская линия обороны, куда срочно направлялись все силы и средства. Тогда же было решено сосредоточить усилия всех партийных и советских органов, общественных организаций на быстрейшее создание новых стратегических резервов в глубине страны, их вооружение и подготовку для ввода в сражение.

Для уточнения фронтовой обстановки и оказания помощи штабам Западного и Резервного фронтов в создании новой группировки сил для отпора врагу в районы событий прибыли представители Государственного Комитета Оборона и Ставки: В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. М. Василевский. Они направили на Можайскую линию из числа отходивших войск до пяти дивизий. Ставка приняла меры по переброске сил с других фронтов и из глубины страны. С Дальнего Востока к Москве спешили три стрелковые и две танковые дивизии.

Десятого октября Государственный Комитет Оборона по предложению группы военных сосредоточил командование Западным и Резервным фронтами в одних руках. Их войска были включены в Западный фронт, во главе которого был поставлен Г. К. Жуков, командовавший

до этого Ленинградским фронтом. Членом Военного совета фронта оставался Н. А. Булганин, начальником штаба фронта – В. Д. Соколовский. Было принято решение построить на непосредственных подступах к Москве еще одну линию обороны – Московскую зону.

Войска, оказавшиеся в Вяземском окружении, вели мужественную борьбу с врагом. Они наносили контрудары и прорывались из кольца окружения. Активные боевые действия советских войск в окружении оказали серьезное влияние на развитие событий. Они сковали в районе Вязьмы 28 немецко-фашистских дивизий, которые застряли здесь и не могли продолжать наступление на Москву.

Передовые танковые дивизии Гудериана, устремившиеся от Орла к Туле, натолкнулись в районе Мценска на сопротивление 1-го особого стрелкового корпуса генерала Д. Д. Лелюшенко. Здесь танкисты 4-й и 11-й танковых бригад, руководимые полковником М. Е. Катукковым и подполковником В. А. Бондаревым, впервые применили действия танков из засад, давшие большой эффект. Задержка противника у Мценска облегчила организацию обороны Тулы. К 10 октября развернулась ожесточенная борьба на фронте от верховьев Волги до Льгова. Враг захватил Сычевку, Гжатск, вышел на подступы к Калуге, вел бои в районе Брянска, у Мценска, на подступах к Понырям и Льгову. Наибольшего успеха в последующие дни удалось добиться северной ударной группировке противника, которая 14 октября ворвалась в город Калинин. 17 октября Ставка создала здесь Калининский фронт под командованием генерала И. С. Конева. Членом Военного совета был назначен корпусной генерал Д. С. Леонов.

В борьбу на Калининском направлении втянулись все силы 91-й немецкой армии, которая, таким образом, оказалась выключенной из наступления на Москву. Тула стала героической непреодолимой преградой на пути южной ударной группировки врага. Войска 50-й армии под командованием генерала А. Н. Ермакова, Тульского района ПВО, при поддержке отрядов тульских рабочих отразили все атаки гитлеровцев.

Девятнадцатого октября в Москве и прилегающих к ней районах было введено осадное положение.

Советское командование нашло силы, чтобы преодолеть серьезное осложнение, случившееся в октябре на подступах к Москве. Западный фронт пополнился за счет резерва Ставки и других фронтов 11 стрелковыми дивизиями, 16 танковыми бригадами, более 40 артиллерийскими полками. Командование фронта использовало их для прикрытия важнейших направлений, ведущих к Москве, – Волоколамского, Можайского, Малоярославецкого и Калужского. К концу октября на фронте от Селижарова до Тулы действовало уже 10 армий двух фронтов. Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь земли, сначала затормозили, а потом и остановили противника, создав сплошной фронт обороны. Противник за месяц наступления продвинулся на 230–250 км, захватил Калинин, Волоколамск, Можайск, вышел на реку Нара и, наконец, к Туле. Это был предел его октябрьского наступления. Чтобы возобновить его, противнику пришлось провести двухнедельную подготовку. Эта пауза была использована советским командованием для дополнительного усиления фронтов и укрепления обороны на ближних подступах к столице.

Приближение зимы подстегивало немцев. Они продолжали спешить и 15 ноября возобновили наступление. Ударные группировки противника, включавшие почти все танковые и моторизованные дивизии группы армий «Центр», нацелились на обход Москвы с севера – на Клин, Солнечногорск и с юга – на Тулу, Каширу. Мощный танковый удар северной группировки противника пришелся по войскам 30-й и 16-й армий, которыми командовали генералы Д. Д. Лелюшенко и К. К. Рокоссовский. В центре фронта наступление противника отражали 5-я и 33-я армии генералов А. Л. Говорова и М. Г. Ефремова, а в районе Тулы – 50-я армия генерала И. В. Болдина.

Москва приняла грозный вид. Она оцетинилась надолбами, ежами, на окраинах выросли баррикады, в стенах домов зачернели амбразуры, на окнах появились светомаскировка и

бумажные полосы крест-накрест. На подступах к городу работали десятки тысяч москвичей. Они рыли траншеи и противотанковые рвы, оборудовали артиллерийские позиции. Среди них преобладали женщины. За их спиной, в опасной близости, находилась Москва. Советские воины стояли насмерть. Их героизм носил массовый характер. «Велика Россия, а отступить некуда – позади Москва» – эти слова панфиловцев родились в ходе смертельной схватки с врагом у разъезда Дубосеково. Они стали девизом всех защитников столицы.

Навсегда останутся в памяти народной подвиги прославленных стрелковых дивизий: 316-й под командованием генерала И. В. Панфилова, 78-й – полковника А. П. Белобородова, 32-й – полковника В. И. Полосухина, 312-й – полковника А. Ф. Наумова, 239-й – полковника Г. О. Мартиросяна, 1-й гвардейской мотострелковой дивизии – полковника А. И. Лизюкова, кавалерийской группы – генерала Л. М. Доватора, танковых бригад, возглавляемых М. Е. Катукowym и Ф. Т. Ремизовым, и многих других героических частей и соединений, сражавшихся на подступах к Москве. Большой вклад в оборону Москвы внесли войска ПВО. Они успешно отражали боевые налеты противника на столицу, прикрывали поле боя с воздуха, участвовали в борьбе с танками и пехотой врага. Артиллеристы-зенитчики и летчики Московского ПВО уничтожили за четыре месяца, с начала налетов вражеской авиации на Москву, более 1300 самолетов. В воздушных боях на подступах к столице летчик В. В. Талалихин впервые в истории совершил ночной таран, а летчик А. Н. Катрич – первый высотный таран. В боях за столицу летчики совершили 24 воздушных тарана. Несмотря на близость фронта, Москва благодаря надежному зенитно-артиллерийскому и авиационному прикрытию не понесла существенного ущерба от фашистских воздушных пиратов. Кровавопролитная, изнуряющая борьба продолжалась всю вторую половину ноября. Севернее Москвы врагу удалось прорваться к каналу Москва-Волга и переправиться через него в районе Яхромы, на юге – обойти Тулу с востока и выйти к Кашире. В ответ на опасное продвижение фашистских войск Западный фронт активизировал свои действия. С 27 ноября его войска начали наносить контрудары по наиболее опасным группировкам врага. Передовые части 1-й ударной армии под командованием генерала В. И. Кузнецова, выдвигавшейся из резерва Ставки, разгромили противника на восточном берегу канала у Яхромы, а усиленный 1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала П. А. Белова нанес по фашистам удар в районе Каширы и отбросил их к Мордвесу. Это были первые, пока еще местные успехи, но они уже предвещали изменение характера борьбы за столицу.

Командование группы армий «Центр» не уловило начала изменения обстановки. Оно рассматривало контрудары Западного фронта на севере как сильные «сковывающие атаки», а на юге – как намерение советских войск удержать рубеж Оки западнее Тулы.

Продолжая наступление, противник 2 декабря овладел Крюковым, 3 декабря – населенными пунктами Белый Раст и Красная Поляна (в 25 км от Москвы). На центральном участке фронта 1 декабря он предпринял прямой удар на Москву от Наро-Фоминска через Апрелевку. Это были напряженнейшие дни. Враг, подбадриваемый близостью цели, ожесточенно рвался вперед. Но силы героических защитников столицы постепенно нарастали. Западный фронт получил в свое распоряжение 1-ю ударную, 20-ю и 10-ю армии.

Четвертого-пятого декабря на фронте под Москвой наступил перелом. Наступление противника захлебнулось. Немецко-фашистскому командованию стало ясно, что Москву не взять. Еще 3 декабря Гальдер указывал на то, что прекращать наступление и переходить к обороне опасно. А 4 декабря он вынужден был заявить: «Если фельдмаршал фон Бок считает, что нет никаких шансов нанести противнику большие потери северо-западнее Москвы, то ему предоставляется право прекратить наступательные действия».

Оборонительный период битвы под Москвой закончился. Надежда противника захватить столицу и центральные промышленные районы Советского Союза рухнула. Так был усмирен

гитлеровский «Тайфун» – последняя ставка нацистских генералов на достижение целей выработанного ими плана «Барбаросса».



Глава 27

Сны перед битвой

Рыжебородый гигант, бывший при «жизни» всего лишь тенью прошлого (пусть даже с витальными маслянистыми губами и хохотом, застывшим на века в скандинавских глазах), умирает. Умирая, он оставляет записку. Сквозняк перемещает эту записку с поверхности письменного стола на ковер. Там ее находит игрушечная собачка, но не заводной Тото с вращающимся ключиком в толстой спине. Речь идет о другой собачке – на колесиках, с розовой шелковой лентой вокруг шеи. Вот она обнаруживает записку, наезжает на нее всеми четырьмя облупленными колесиками. На мятой бумажке написано характерным почерком полуграмотного: Шостка, Глухов, Брянск, Рославль, Духовщина, Вязьма, Можайск, Мценск, Льгов, Сычевка, Гжатск, Поньри, Яхрома, Тихвин, Нара, Великие Луки, Волоколамск, Малоярославец, Кашира, Селижарово, Клин, Солнечногорск, Крюково, Мордвес, Дубосеково, Белый Раст, Наро-Фоминск, Апрелевка, Ховрино, Красная Поляна.

Двое прохожих пробирались московскими задворками. Вокруг, в заснеженных садиках, спали черные и желтые деревянные дома, висели покосившиеся под снегом заборы.

Шли они не долго. Тот, что был пониже ростом, постучал дробным быстрым стуком в дверь небольшого дома. Над крыльцом нависала громоздкая, обросшая сосульками наледь. Сверху, на крыше, сверкала жестяная изогнутая труба, похожая на рукав рыцарских лат, из которой поднимался в ясное небо неподвижный пар.

Открыла женщина. Охнула (впрочем, без настоящего удивления) и побежала накрывать к чаю. Попив жидкого, но горячего чаю, один гость быстро ушел куда-то. Другой прилег на старый кожаный диван, вытертый кое-где до белизны, и вдруг уснул.

Как-то раз, ночью, когда все партизаны спали, к парторгу в землянку вдруг заявился Поручик – веселый, свежий, в советской офицерской униформе – и заявил, что надо срочно собираться в Москву, по делам.

– Жить будем у Прасковьи Никитичны, что у Пятницкого рынка, – деловито прибавил он.

Все, что случилось потом, Дунаев вспоминал ошарашенно. Поручик обещал перебросить его напрямик в Москву с помощью приема под названием «Гладкому Покупателю за Полцены». Для этого сначала отправились к Избушке. Парторг должен был отойти довольно далеко от Избушки, разбежаться и изо всех сил врезаться в бревенчатую стену, ориентируясь на глазок, оставшийся на месте сучка в одном из бревен стены. Само вхождение в «глазок» называ-

лось у Холеного – «Без сучка, без задоринки». Предварительно необходимо было очень долго, часами, концентрироваться на «глазке», представляя себе, что это вход к председателю колхоза «15 лет Октября» Горюшину, вход, поперек которого лежит огромная свинья. Потом важно было мысленно пустить в воображаемую свинью большой, начищенный до блеска артиллерийский снаряд и, после того как раздастся «визг свиньи», немедленно бежать и врезаться в стену. Дунаев все это отчетливо себе представил, разбежался и изо всех сил ударился головой о бревенчатую стену. Ничего, однако, не произошло. Дунаев только почувствовал ужасную боль и упал на землю, схватившись обеими руками за голову. Поручик, естественно, сгубался пополам от смеха. Парторга охватила злость:

– Так ты из меня мудака делаешь? – заорал он, побагровев. – Я к тебе со всем доверием, понимаешь, как к учителю, любую пиздохрень исполняю без разговоров, а ты издеваться, что ли, вздумал надо мной?!

Ответом ему был смех.

– Ах, так! – окончательно рассвирепел парторг. – Ну тогда смотри, хочешь из меня мудака сделать, буду мудаком. Буду, блядь, об эту стену колотиться, пока не расшибусь. Тебе самому потом выхаживать придется.

С этими словами он снова разбежался и врезался в бревна Избушки с громким криком «Эх!». Пошатнувшись от боли, отошел на подгибающихся ногах, снова разбежался и ударился о стену, стараясь как можно сильнее врезаться головой, чтобы обязательно получить сотрясение мозга. Гнев и страстное стремление к самоуничтожению полностью овладели им. Однако, разбежавшись, он вдруг отчетливо увидел, что одно из бревен лукаво и трезво вглядывается в него своим «глазком». В следующее мгновение парторг налетел на стену и проскользнул «без сучка, без задоринки» в некую фанерную комнатку, где за столом, под портретом Сталина, сидел толстый председатель Горюшин и что-то писал. Подняв глаза на парторга, он широко улыбнулся и привстал навстречу вошедшему:

– А, наконец, ну заходи, заходи, родимый! Мне уже сказали, что в Москву тебе пора ехать. Ну мы щас выпишем тебе командировочку! Так что, оборудование-то дадите аль нет? К весне готовиться, понимаешь, надо. Природа не терпит!

– А... так... надо дать... – растерялся Дунаев.

Председатель, который стоял перед ним, был совсем не похож на реального, от него просто разило небытием и какой-то прозрачностью, сквозь него «дуло». Но при этом вел он себя бойко, человечно. Это действовало, хотя и было ясно, что никакого председателя нет.

– Понимаем-понимаем, – закивал головой председатель. – Конечно, об этом с вашими хозяйственниками надо побалакать, они же у меня снабжение просят, все уши прожужжали! А какое сейчас снабжение может быть – картошка да сало! Но я с тобой, парторг, хочу поделиться – оборудование нам позарез надо, просто хоть убей! И как можно скорее! Вот давай с тобой договоримся – если оборудование поставите, то продукты забирайте за полцены. Идет?

– Идет... – как во сне, пробормотал Дунаев.

Ну вот и отличненько! – рука председателя выписывала командировочный лист. – А когда вернешься, хозяйственникам скажи, чтоб машину отряжали к нам. Понял?

Дунаев взял лист и, сложив вчетверо, положил в карман.

– Ну давай, Петрович! – председатель пожал ему руку через стол. – Счастливого тебе пути. Воротишься – заходи почаще, не забывай!

Дунаев, совсем одеревеневший, особенно от «рукопожатия», вышел из комнатки на крыльцо. Был вечер. После натопленного «кабинета» председателя стало холодно. У крыльца стоял «газик», из него дымил самокруткой и скалил зубы шофер Серега.

«Кто-то меня перещелкивает», – вдруг подумал Дунаев и сам испугался этой мысли.

И тут же все стало наклоняться и мелко трястись, загудело и, как говорится, «стартовало».

Когда он встал, вокруг действительно был московский двор близ рынка. Поручик был тут же. Они пошли куда-то дворами. Условным стуком «Бегство Керенского» Поручик постучал в деревянную низкую дверь. Прасковья Никитична отворила, их приходу не удивилась и сразу побежала сноровить чай. Попив чаю, Поручик быстро ушел, сказав, что по делам. Дунаев отчего-то прилег на жесткий кожаный диван, протертый во многих местах до белизны. И случайно уснул.

Некстати стал наступать его сон.

Ему снился (видимо, под впечатлением испытанного в Черных деревнях) кинозал, в котором двое людей смотрели хронику. Один из них был королем небольшого государства – то ли на Балканах, то ли в Латинской Америке. Король привиделся высокого роста, толстый, веселый и брутальный, отличающийся, по всей видимости, безудержным и беззаботным деспотизмом. С ним был его первый министр: ладно скроенный, бледный, с набриолиненным пробором господин. Отсвет с экрана скользил по двум жестоким, испорченным лицам – оба во фраках и орденах словно бы сошли с политической карикатуры, нарисованной ядовитой тушью Дени, Моора или Кукрыниксов. Они просматривали хроникальные кадры, отснятые накануне, во время какого-то парада или официальной церемонии. На экране король проходил среди разряженных войск, в горностаевой мантии: цветы, дети, военные и правительственные автомобили возникали и таяли среди немого, шероховатого мерцания. Однако видно было, что премьер-министр всматривается в экран с тайным, нарастающим напряжением, мучительно сузив свои хищные и в то же время усталые глаза.

Дунаеву стало ясно, что ожидается нечто невероятно важное, переворачивающее множество судеб – нечто такое, о чем не подозревает беспечный тиран. Внезапно на экране возникла фигура Кинооператора. Он был таким же, каким его видел парторг близ Черных деревень: кожаная куртка и кепка, в руках – кинокамера. Лица его в тот раз разглядеть не пришлось, а в этот раз (парторг даже вздрогнул во сне) вместо лица было белое засвеченное пятно, похожее чем-то на шаровую молнию.

«Это его, наверное, Военкор засветил! – подумалось Дунаеву. – Они ведь с Кинооператором вроде как коллеги, одного поля ягоды: вот он и засветил товарища, чтобы не шлепнули али там случайная пуля не задела».

Однако, видимо, дело обстояло не так просто. Во всяком случае, премьер-министра внутренне просто перекосило, весь он словно бы наполнился белым гноем разочарования. Чтобы скрыть острейшую досаду, ему пришлось больно закусить тонкие губы. Оказывается, из-за нелепого технического дефекта сорвалось тончайшим образом продуманное и подготовленное самим премьер-министром покушение на жизнь деспота. Король должен был умереть в ту секунду, когда на экране появится лицо Кинооператора. Однако из-за пятна все сорвалось.

Веселый тиран ничего не заметил, не почувствовал даже отблеска опасности: так иногда безоблачно бездействует знаменитая интуиция власти. С хохотом он хлопнул своего сановника по спине:

– Не стоит расстраиваться из-за пустяков, дружище. Испорченный кадр вырежут потом при монтаже. Все отлично получилось! Вам причитается орден.

– У меня и так все тело в орденах, ваше величество, – сказал премьер-министр, маскируя переполнявшую его ненависть под шутку с помощью вымученной кривой улыбки.

Король ответил ему жизнерадостным хохотом и словами:

– В таком случае я прикажу повесить вам по мальтийскому кресту на каждую ногу.

В следующий момент, после перескока во времени, Дунаев увидел эти ноги, обутые в черные лакированные ботинки, уже с болтающимися на них мальтийскими крестами на шелковых лентах. Ноги шли.

Теперь во дворце происходило нечто вроде подготовки к празднику или карнавалу: тиран в парадном одеянии быстро перемещался по изукрашенным залам в сопровождении богатой свиты и гостей. Многие были в масках, в цветах, осыпанные конфетти, петардами и прочими атрибутами радости.

В этом быстром и пестром перемещении они почему-то оказались в пространстве большого хозяйственного двора, среди невзрачных подсобных строений, пыли, сорняков, алюминиевых баков, стелющихся над землей труб, выкрашенных серебряной краской. Ни с того ни с сего король запахнулся в мантию и уселся на случайный, рассохшийся стул посреди пыльного двора. Остальным по его приказанию слуги поднесли кресла и пуфы. Оказалось, что двор перегорожен надвое крупноячеистой железной сеткой, здесь ожидалось что-то вроде небольшого предпраздничного сюрприза. И действительно, в глубине двора, за сеткой, слышались звуки дикарской ритмической музыки, и там показалась фигура танцующего шамана. Если говорить о частях человеческого тела, то видны были только худые, вымазанные краской, извивающиеся руки и ноги. Все остальное тело было скрыто высоким, покачивающимся, многоступенчатым столбом, где пестрели расшитые шторы, бахромчатые колокольчики, маски и прочее.

Ритм шаманского танца был столь радостным, взвинчивающим, что король стал подскакивать на месте, дергаться и шлепать себя ладонями по коленям, локтям и предплечьям. Так же поступали отдельные члены свиты – подобные королю, высокие и толстые, с небольшими головами и невероятно длинными ногами (видимо, королевская родня – так называемые «свойки»). Остальные держались неподвижно, с напряженными, как бы ожидающими лицами.

Дунаев убедился тем временем, что главный герой сна – небольшой мальчик в маске, сын премьер-министра. Этот мальчик, росточком с четырехлетнего, стоял рядом со своей няней. Сквозь прорези карнавальной маски виднелись только его холодные, умные глаза, следящие с недетским напряжением за ситуацией. Его прищуренность была как у отца.

Снова трубы, крашенные краской.
Много есть объедков и висков.
Для детей, прикрывших лица маской,
Есть десяток острых коготков...

Шаман танцевал все быстрее под нарастающий грохот бубнов. Наконец, король не выдержал, вскочил и полностью отдался самозабвенному танцу. На ходу он стал срывать с себя одежду, пока не обнажился полностью. Оказалось, что он – не человек. Все тело его было покрыто густым, волнистым, темно-кремовым мехом, как у драгоценных пушных животных. Такими же оказались и «свойки», также сорвавшие с себя одежду и присоединившиеся к танцу. Эти «меховые», с огромными, вывернутыми наизнанку (как у кузнечиков или кенгуру) ногами, танцевали захватывающе весело, в диком экстазе, наслаждаясь каждым прыжком, притопом и подпрыгиванием. Ликуя, забыв обо всем, они бросались на землю и, хохоча, валялись и барахтались в мягкой пыли, перепрыгивали друг через друга, кувыркались, строили гримасы смеха и наслаждения.

Однако напряжение зрителей возрастало. И музыка звучала все быстрее и тревожнее. В момент наивысшего экстаза худая рука шамана отдернула шторку в том месте, где вроде бы у него должно было располагаться лицо. Однако вместо лица оттуда выглядывало дуло автомата. Дунаев услышал несколько автоматных очередей.

Повторяя жест шамана, сын премьер-министра сдвинул на лоб маску и слегка прикрыл рукой глаза, чтобы не видеть жестокого зрелища – истребления «меховых». На этот раз покушение, подготовленное его отцом, удалось осуществить – деспот и его родня оказались уничтожены.

– Наконец-то пала эта кровавая династия, – произнес маленький мальчик. – Народ ждал этого события веками. Теперь мы, наш род взойдет на престол.

Ему ответила няня – типичная гувернантка или бонна начала века, напоминающая «англичанок» в богатых дореволюционных домах. Не поворачивая головы, не меняя постного и назидательно-строгого выражения своего лица, она сказала:

– Вы – просто маленькая мерзость. Вам только четыре года, но вы и не знали, что такое детство. У вас нет игрушек, нет домашних животных. С пеленок ваш болезненно раздутый мозг вовлечен в плетение дворцовых интриг, заполнен лишь одним – стремлением к власти. Сегодня отгремел один дворцовый переворот, а у вас уже готов план следующего. Через несколько дней должен сработать новый заговор, и вы сами встанете во главе государства. Судя по всему, ваше правление обещает быть еще более жестоким и непристойным, чем предыдущее. Трудно подобрать слова, чтобы выразить все отвращение к вам.

Мальчик выслушал ее очень внимательно. Затем он стал пятиться, отступать, незаметно теряясь в толпе, просачиваясь сквозь нее. Оказавшись за спинами придворных, он повернулся и побежал в глубину темно-зеленой аллеи, ощущая, что несколько пар пристальных глаз заметили его исчезновение. Когда его фигурка растворилась в густых тенях, по всему «экрану» прошла завершающая сон надпись: «Борьба за власть только начинается».

...Дунаев пробудился в каком-то закоулке, среди мраморных колонн, уходящих ввысь и теряющихся в полутьме. Он будто бы лежал на отполированных до блеска белых мраморных плитах, в местах соединения проложенных черным мрамором. Станный свет пропитывал все вокруг. Рядом свисали какие-то тяжелые, темно-синие гардины, полуприкрывающие мозаичные стены. Дунаев, вместо того чтобы заинтересоваться, куда же он попал, внезапно и очень быстро заснул. Ему приснилось далекое будущее. Все было другим: одежда, транспорт, дома. Различия усугублялись еще и тем, что действие происходило в Германии. Дунаев, Поручик и какие-то другие люди (возможно, «мастера», магические адепты, о которых в начале обучения Дунаева упомянул Поручик, а может быть, и совсем другие люди), долго прожив в Германии и вроде бы заняв в ее обществе привилегированное положение, вдруг почему-то как бы «рассердились» на общество и «поссорились» с ним, заняв положение «привилегированных изгнанников». Общество же вовсе не «ссорилось» с этими людьми и старалось как-то «помириться» с этой группой, привлечь ее на свою сторону, принять обратно в свое лоно. Дунаев жил в зоопарке, в отдельном маленьком домике. Еду ему доставлял служитель, но часто он питался в зоопарковом кафе, где его кормили просто, но очень хорошо. Зоопарк был полузаброшенный, старый. И вообще возникало ощущение всеобщей запущенности, как будто повсюду люди почти перестали работать и застыли, без праздников и радости, в бездеятельном оцепенении. Будто приближался конец света и все ощущали бесполезность каких-либо усилий. И правда, первые признаки чего-то беспрецедентного уже начали просачиваться в действительность. Однажды Дунаев гулял вдоль пустого бассейна, внутри которого были построены большие и сложные скалы с подводными гротами. Однако сейчас воды не было, а по камням ходила служительница в косынке и халате и поливала из шланга пыльные скалы. Внезапно из-под земли вылезла какая-то туша, похожая на слона, моржа или кита, но без всяких отличительных признаков или органов. Нечто вроде кожаной волны. Эта волна накрыла женщину и осталась, громоздясь, лежать на камнях, издавая невнятный скрежет. Сбежавшихся служителей, казалось, охватил ужас. Чувствовалось, что происходит что-то страшное, необъяснимое. «Это РАЗВЕДИ-РУКАМИ!» – во сне подумал Дунаев. В другой раз он гулял возле круглого бассейна, похожего на арену цирка. С одной стороны росли два дерева, как занавес в цирке, сухие и безлистные. Все окутывала еле заметная светлая дымка. Вдруг со дна бассейна нечто «вихростое» вспрыгнуло на бортик и поскакало. Понять, что это, было сложно. Как Дунаев ни вглядывался, он видел только что-то вроде белых петушиных хвостов на шарнирах, без

головы – хвосты и сзади, и спереди, и по бокам, а сверху – маленький, белый и тоже пернатый карлик, будто бы размахивающий секирой, лезвие которой было из молока. С нее даже летели капли, поблескивая в дневном свете. Все это создание, представлявшееся единым, несло, испуская оглушительное, душераздирающее «Ой-ой-ой-ой-ой-ойойойойойойой-ой-ой-ой!». Дикий, леденящий ужас вселял этот хохочущий крик, что-то даже не сумасшедшее, а сверхъестественное было в нем. Крик порождался движением существа из заливчатских перьев, более того – звук и это существо были одним и тем же (а не одно испускало другое).

Существо было материализацией этого нечеловеческого, судорожного вопля, то убыстряющего, то замедляющего свое «Ойойойойой-ой-ой-ой!!!».

Отстраненно Дунаев посмотрел на окаменевших от безумного мистического ужаса людей вокруг, и вдруг в его сознании возникло отчетливое определение того неизъяснимого, что он видел перед собой, будто некий голос внятно и громко сказал:

– Попиздушка.

«Да это же Попиздушка!» – почему-то рассмеялся Дунаев и проснулся. Однако было темно. Это снился ему следующий сон. Тьма была приятной, восхитительной, непроницаемой – пришлось даже прицокнуть языком от удовольствия. В ней блуждали какие-то шаловливые и трогательные сквознячки. Но, главное, в этой тьме раздавалось пение, восходящее откуда-то снизу, из неведомых глубин. Сообщили, что это поют морские раковины. Очень красивые, нежные, нечеловеческие голоса, поистине чудесное пение! Затем стала слегка проступать какая-то видимость: казалось, что он в вагоне с задраенными окнами. С закругленных уголков сочился слабый, тусклый свет. Вагон сидячий, заграничный, комфортабельный, с бархатными креслами. Людей было немного, они сидели разреженно и неподвижно, но все это были индейские вожди в огромных головных уборах из перьев. Видимость то исчезала, то появлялась. Дунаев увидел, что индейцы, как по команде, поднимают луки с вложенными в них стрелами и начинают целиться в него, Дунаева. Затем снова сгустилась тьма, в которой происходила какая-то возня. Через некоторое время возня стихла. В вагон стало проникать тусклое пасмурное сияние. В этом свете парторг увидел, что индейцы убиты и сложены в проходе огромной кучей, из которой во все стороны торчат перья, луки и стрелы. Люди, расправившиеся с индейцами, расхаживали по вагону, пряча оружие, отирая кровь с ножей и стряхивая густую пудру с лиц. Как ни странно, это были клоуны в разноцветных шароварах, с нарисованными улыбками на лицах.

– Скоро поедим? – хрипло спросил Дунаев у одного из них.

– Теперь уже скоро, – ответил тот озабоченным, серьезным голосом.

Дунаев проснулся. Он лежал на продавленном старом диване в маленькой городской квартире. Рядом какая-то тетка, худая и пучеглазая, в белой пуховой кофте, пила, отдуваясь, горячий кипяток из блюдечка. За окошком виднелись пустые заснеженные рыночные ряды. Попив с теткой кипятку (эта тетка была не сама Прасковья Никитична, а ее сестра), парторг вышел и пошел куда-то вроде бы «гулять».

Вышел на Чистопрудный бульвар, посмотрел на пруд подо льдом, на голые деревья, пожегся. «Проснулся я или нет?» – спросил он себя равнодушно. Уж больно тяжелая была голова. К тому же вдоль домов, на уровне его плеч, проходила труба шириной в руку. Дунаеву показалось, что труба обтянута красным бархатом. Вдруг его что-то зацепило за шиворот пыльника и потянуло. Парторг взлетел. Он летел в 10 метрах над землей, но летел не по своей воле, а будто что-то тащило его. «Крюк, – подумал парторг. – Меня крюк зацепил». Он успел различить вокруг бульвар, видимо Петровский, потом какие-то дома и дворы, затем Садовое кольцо с чернеющими зимними садами. Пролетев Слободские районы, он попал вроде бы на Сокол. Полетели над Ленинградским шоссе, после пошли окраины, пригороды, овраги, окружная железная дорога. Мелькнуло серым морщинистым пятном Химкинское водохранилище, величественное здание Северного речного вокзала, напоминающее парход. Пролетая

над селом Ново-Алексеевка, Дунаев зацепился подолом пыльника за крест на куполе сельской церквушки. «Крюк» продолжал тянуть. Дунаев схватился обеими руками за крест. «Господи, помилуй!» – как-то машинально и случайно вырвалось у него. «Крюк» сразу же сделался видимым. Огромный сверкающий крюк теперь стоял прямо перед ним, он уходил своим «корнем» в нежную, золотисто-розовую пучину кружевного манжета. Затем начинался красный бархатный рукав старинного камзола с золотым шитьем и огромными позолоченными пуговицами.

...Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвут пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет...

Вспомнились почему-то стихи Гумилева, забытые давно и, казалось, навсегда. Это популярное некогда стихотворение «Капитаны» любила читать вслух жена Дунаева. В юности ему тоже нравились эти стихи, но потом выяснилось, что автор их – шпион и контрреволюционер. Стихи ушли из памяти и вот вдруг явились снова, как будто на праздник. Да уж, ничего не скажешь, эти «розоватые брабантские манжеты», это «золото сыплется с кружев» – все это отомстило за своего расстрелянного сочинителя: распухло, закрыло собой полнеба, шелестело и пучилось на ветру, напоминая грядки белокочанной капусты, залитые вареньем из лепестков роз.

Странно, порою среди самых кромешных, невысказанных и нелепых приключений своих Дунаев обнаруживал собственное сознание пустым и праздным, копающимся в каких-то досужих, посторонних пустяках. Так, сейчас, вцепившись побелевшими пальцами в крест, созерцающая крюк, кружева, изъеденный молью красный бархат и слушая звук постепенно рвущейся на нем ткани пыльника, парторг мысленно увяз в праздных попытках припомнить остальные куплеты этого стихотворения.

«Капитаны... Капитаны...» – повторял про себя Дунаев, однако больше ничего не припоминалось – только пусто вертелось на языке, дразня мозг.

«Странно, Москва ведь город континентальный, отчего же здесь все какая-то морская хуйня на душу лезет, – подумалось ему. – Не оттого ли это... не оттого ли, что Москва – это ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ?!» – в этот момент он оглянулся на запад и увидел за собой на горизонте шпиль Речного вокзала, напоминающий вонзившуюся в небо иглу, увенчанную звездочкой. Тут же его осенил кусочек куплета:

...И иглой на какой-то там карт
Отмечают свой пройденный путь...

На какой же карте? Испорченной? Просоленной? Клеенчатой? Однако вспомнить определение к слову «карта» Дунаеву уже не пришлось: ворот пыльника наконец с треском оторвался и крюк, бросив парторга, стал стремительно уменьшаться, удаляясь в северо-восточном направлении.

«В сторону Крюкова пошел», – догадался Дунаев.

Вскоре он совсем исчез. Дунаев вновь был предоставлен сам себе.

Не умеет он летать, ему было бы непросто спуститься с церковного купола, где он болтался, словно шут на ярмарке. Чтобы отдохнуть и размяться, он покружился немного возле церкви вместе с воронами, затем опустился на землю. Вокруг было совершенно безлюдно, запущенно. За красной кирпичной оградой церкви расстилались пустыри, болотца с ивами, овражки с низкорослыми, корявыми фруктовыми садами. Двери храма были чуть-чуть приоткрыты. Дунаев зачем-то вошел. Внутри было довольно темно, только сверху, сквозь синее

стекло, сочился слабый свет, в котором поблескивали оклады икон, лампы и канделябры. Дунаев поймал себя на мысли – не помолиться ли перед битвой?

Оглянувшись по сторонам, не смотрит ли кто, и убедившись в том, что, кроме святых иконописных ликов, за ним никто не наблюдает, Дунаев быстро опустился на колени посреди церкви, робко и неуклюже перекрестился, потом поклонился до земли, коснувшись лбом холодного влажного пола. Слов он никаких не произнес: слова молитв давно выветрились из памяти, а городить отсебятину ему не хотелось. Ощущая смесь неловкости, стыда и облегчения, Дунаев вышел из церкви и пошел куда глаза глядят, не разбирая дороги, продираясь сквозь грязные кусты, с которых сыпался липкий снег, сквозь овражки, поросшие мертвыми черными вишнями, мимо пустых изб, сараев и кособоких верандочек с бесцветными стеклами. Ему было теперь все равно, куда идти. Он больше не искал битвы, зная, что она сама найдет его. Не искал он и спасения. Сердце России, священная московская земля окружала его, похожая на кусочек мелкого и грязного льда с узорами, завалившийся в самый центр, куда сходятся сокровенные токи и течения со всей необъятной Родины, со всех ее небес, изнанок,строек, деревень, гор, полустанков, подземелий и железных дорог. За этот кусочек льда ему не жаль было бы пожертвовать не только жизнью, но даже светлицей в Избушке, той светлицей, которую ему еще никогда не приходилось видеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.